

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА *Р* БОЛЬШИЕ КНИГИ

Владимир
Дудинцев

БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ
НЕ ХЛЕБОМ
ЕДИНЫМ

« А З Б У К А »

Русская литература. Большие книги

Владимир Дудинцев

Белые одежды. Не хлебом единым

«Азбука-Аттикус»

1986, 1956

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

Дудинцев В. Д.

Белые одежды. Не хлебом единым / В. Д. Дудинцев — «Азбука-Аттикус», 1986, 1956 — (Русская литература. Большие книги)

ISBN 978-5-389-22363-9

В настоящее издание вошли два наиболее известных романа Владимира Дудинцева: «Белые одежды» и «Не хлебом единым». Это романы о людях науки, трудившихся в сложные, жестокие времена, когда за убеждения приходилось платить свободой и жизнью. Это увлекательные истории о тех, кто преодолевает все испытания, не изменив себе, не поддавшись мнению большинства, сохранив духовное здоровье — честь и достоинство. Этим людей можно будет узнать по белым одеждам на высшем суде.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

ISBN 978-5-389-22363-9

© Дудинцев В. Д., 1986, 1956
© Азбука-Аттикус, 1986, 1956

Содержание

Белые одежды	6
Часть первая	7
I	7
II	20
III	34
IV	45
V	57
VI	73
VII	90
VIII	108
Часть вторая	117
I	117
II	133
III	149
Конец ознакомительного фрагмента.	158

Владимир Дудинцев
Белые одежды
Не хлебом единым

© В. Д. Дудинцев (наследник), 2022

© Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2017

Издательство АЗБУКА®

* * *

Белые одежды

Н. А. и А. А. Лебедевым

Сии, облеченные в белые одежды, кто они и откуда пришли?
Откровение Иоанна Богослова

Часть первая

I

Стоял тихий сентябрь. Воскресное утро, может быть последнее ласковое утро уходящего лета, тихо, как младенец, играло солнечными пятнами и тенями. Громадный институтский парк дремал, раскинувшись на двух холмах, которые здесь назывались Малой Швейцарией. Он был весь разбит поперечными и продольными аллеями на правильные прямоугольные клетки. С одной стороны в конце каждой поперечной аллеи светилась пустота, там угадывался провал, и оттуда, из легкой дымки, иногда доносился низкий рев парохода. Там была река. С противоположной стороны вдалеке среди зелени мелькали розовые стены корпусов сельскохозяйственного института.

Вдоль главной – Продольной – аллеи, которая шла почти по краю провала, сидели на решетчатых скамьях студенты с книгами. Уже начался учебный год. Далеко внизу между деревьями прыгал волейбольный мяч, время от времени аллею пересекал бегун в синем обтягивающем трико или в трусах – студент или жилистый профессор.

По этой чисто подметенной аллее между двумя рядами старых лип брел в это утро и поглядывал по сторонам человек в клетчатой, ржавого цвета ковбойке с подвернутыми рукавами и в светло-серых тонких брюках. Был он лет тридцати, невысокий, узкий в поясе, шел, сложив руки за спиной. Широкое, но худощавое лицо его с довольно заметным внимательным носом было подвижно, русая бровь иногда поднималась с изгибом – и это говорило о привычке постоянно размышлять, свойственной некоторым ученым. Была в его лице особенность: резко выделенный желобок на верхней губе переходил и на нижнюю и заканчивался глубокой кривой ямкой на подбородке – получалось, что нижняя часть лица как бы перечеркнута этой отчетливой вертикалью. Шаги этого задумчивого человека были неторопливы, и тем не менее он догнал и оставил за собой двух странных пожилых бегунов – мужчину и женщину, обтянутых синими шерстяными трико, в белых кедах. Пара эта бежала трусцой, то есть топталась почти на месте. У мужчины розовый пробор проходил сразу же над ухом, жидкие желтовато-седые волосы прикрывали плешь. Старость цепко держала его в когтях. У женщины спортивный костюм выдавал непропорционально распределенную полноту: все ушло в верхнюю часть широкого, без перехвата, корпуса, в широкие плечи. От нее веяло волей и слегка глупостью.

Они вели беседу. Когда человек в ковбойке, узнав мужчину и поджав локоть, с почти-тельным поклоном огибал их, бегун посмотрел на него, полуочнувшись, и продолжал свою речь:

– Он фиксирует по Навашину. Двенадцати часов достаточно... Ему нужно быстро – тысячи гибридов, и все проверь...

Женщина сказала:

– На его микротоме можно получить срез на толщину клетки. Хорошо хромосомы считать. На помойке подобрал нами же списанные части, отремонтировал сам – и пожалуйста... Мог и ты ведь...

– Не так просто. Все в микрометрическом винте. Он заказывал винт в Москве у какого-то мастера...

И человек в ковбойке сразу понял, о чем они говорили. Это были цитологи – специалисты по исследованию растительных клеток. От их разговора чуть-чуть потянуло и вейсма-низмом-морганизмом, который месяц назад был торжественно осужден на августовской сес-

сии Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук. Шевельнув бровью, человек в ковбойке быстро оглянулся на бегунов, легко поклонился мужчине и опять не был замечен.

Потом он долго шел по аллее, размышляя о своих делах, которых было много. Аллея вывела его на лысый бугор, к его вершине, где была вкопана в землю простая лавка, и человек сел на нее – лицом к горящему внизу под солнцем разливу реки, к синим бугристым далям за рекой: там синела Большая Швейцария.

Этот человек имел отношение к науке о растениях и знал много разных вещей. Знал, например, что есть такое понятие спящая почка. У яблони ее не видно, но садовник умелой обрезкой дерева может заставить ее пробудиться, и тогда на гладком месте вдруг выстреливает новый побег. Старый знакомый человека в ковбойке селекционер-садовод Василий Степанович Цвях, любитель затейливо мыслить, однажды сказал ему, что и у человека бывает что-то похожее на это явление. Ты можешь прожить долгую жизнь и даже отойти в лучшие миры, так и не узнав, кто ты – подлец или герой. А все потому, что твоя жизнь так складывается – не посылает она испытаний, которые загнали бы тебя в железную трубу, где есть только два выхода – вперед или назад. Но может и послать. Человек в ковбойке никогда не пробовал примерить эту мысль к себе, но поговорить с хорошим собеседником на тему о спящих в нас загадках был готов всегда.

А между тем ему предстояло увериться, что именно в эти дни он делал свой первый шаг в ту среду, которую имел в виду садовод, – в условия, благоприятные для пробуждения какого-то спящего качества. Может быть, он даже чувствовал тугое увеличение проснувшегося ростка, но не отдавал себе в том отчета – еще не осмыслил явления, – оно бежало впереди осваивающей мысли. В те самые минуты, когда человек, сидящий на лавке, обдумывал свои дела, спящая почка уже тронулась в рост, и он уже двигался к своей железной трубе, которая в этом городе ждала его, чтобы определить, кто он – ищущий истину отчаянный смельчак или трус, прячущий под себя свои жалкие пожитки. Удивительно, что это была настоящая огромная железная труба и ей, кроме прямого дела по ее специальности, была уготована другая – историческая служба.

Шаги и голоса в аллее заставили человека в ковбойке обернуться. Это была все та же пара синих бегунов – они уже не трусили рысцой, а шли, и это получалось у них значительно быстрее. Поднявшись на бугор, они сели на ту же лавку.

– Вот так, – сказал мужчина, вытирая платком лоб и шею. – Так что ты все увидишь сама. И притом в недалеком и хорошо обозримом будущем.

– Боишься? – вполголоса спросила женщина.

– Трясусь, как балалайка.

– Тебе-то ничего не будет...

– Я полагаю, что твоя *эйфория* безосновательна, – пригвоздил он ее с неповторимым кряхтеньем, тоном сноба. – Последнее слово не за тобой, а за их преосвященством. А их преосвященство не любят еретиков. – Тут бегун очень весело посмотрел на незнакомца в ковбойке. Тот, дружелюбно улынувшись, в третий раз чуть заметно поклонился, и с этого момента бегун стал говорить только для него: – Ты помнишь, каков был Торквемада? – сказал он женщине, глядя на ее молодого соседа. – Ну, Торквемада, великий испанский инквизитор. А помнишь, чем он отличался? Религиозным энтузиазмом, богословской начитанностью...

– Ну, ты тут на своем коне. Кроме тебя, конечно, никто этого не знает и никто не читал энциклопедию, – сказала женщина, взглянув на незнакомца соседа.

– Напрасно *персифлируешь*. Великая мастерица персифляции, – сказал бегун уже прямо мужчине в ковбойке.

Тот улыбнулся и развел руками:

– Я не знаю этого слова.

– Лесть, искусно маскирующая насмешку. Насмешку я не замечаю, а лесть принимаю. Торквемаду я упомянул здесь не напрасно. Я имею в виду не того Торквемаду, который устраивал в Испании знаменитые костры инквизиции, а другого – того, которого я здесь учил до войны цитологии, у которого принимал зачет и который стал теперь первосвященником и приедет, видимо, завтра в заведение, где я работаю. И будет учинять в нем великий трус. Этот Торквемада хоть и новичок в своем деле, но, по отзывам знающих людей, стоит того, испанского. Он тоже фанатик и начитан, великий богослов в своем деле, и под его влиянием находятся кардиналы...

– Видите ли, для справедливости сравнения надо сказать, что Торквемада испанский ничего себе не брал, в отличие от других инквизиторов, и был суровейший аскет, – заметил человек в ковбойке. – Постился он по-настоящему...

– Бедным еретикам от этого не было легче, – сказала женщина.

– Никак не легче, – согласился синий бегун. – У Дарвина есть такое соображение: в Испании несколько столетий каждый человек, способный мыслить, попадал на костер. Отсюда пошел упадок мысли в стране. Я думаю, что и диктатура Франко появилась не без причинной связи с историческими обстоятельствами. Так что никакой *детумесценции* нам ждать не приходится.

– Простите...

– Я хочу сказать, страсти будут не затухать, а разгораться. Лев и кроткая лань, которые до этого кое-как терпели друг друга...

– Надеюсь, я беседую со львом? – уважительным тоном спросил незнакомец в ковбойке.

– Вот видите, и вам не чужда персифляция! Нет, нет! Какой же я лев... Вообще, львов я давно не видел... Словом, приготовимся к допросам и пыткам.

– Даже к пыткам?..

– Ну, разумеется, Железной девы там не будет. Но, знаете, мы живем сегодня, по крайней мере мы, биологи, как собачки у Павлова. Правда, в нашем эксперименте установка несколько отличается. От каждого ученого отходит резиновая трубка, по которой притекают соки, питание. Все трубки сходятся в определенном центре. Некий академик может нажать, скажем, мою трубку, и готово – я захирел и бряк кверху лапками. Конечно, сразу не нажмет. Но уменьшит сечение, это бывает. А еще чаще – ласково к ней прикоснется, нажмет слегка и отпустит. Я тут же закричу: «Не буду! Каюсь!»

Женщина уже дергала бегуна за рукав, уже оба поднялись, чтобы идти, а тот все не мог остановиться:

– Наш Торквемада будет перебирать эти трубки, ласково их касаться, а люди будут трепетать. Чем это не Железная дева?

Тут они раскланялись, пара отошла на несколько шагов, синий бегун еще раз поклонился, и они затрусили по аллее.

Человек в ковбойке некоторое время с растерянной улыбкой смотрел им вслед и даже повторил вполголоса:

– Торквемада...

Потом он взглянул на часы – было чуть больше десяти – и поднялся. Куда пойти? Впереди был целый день. Он медленно побрел по аллее – так, чтобы не догнать синих бегунов, которые трусили вдали. «Железная дева», – подумал он, покачивая головой, и представил себе это средневековое орудие пытки, нечто вроде железного – в человеческий рост – футляра для скрипки, усаженного внутри гвоздями. Тут повеяло ветерком, и, обогнав его, пронесся длинными скачками еще один бегун – худенький, невысокий, с прижатыми локтями. Он был в нитяном тренировочном костюме, тоже синем, но поблекшем от стирок. На спине темнело пятно пота. Его фигура быстро уменьшалась, и по этому можно было судить о скорости. Слегка сбочив на одну сторону – бывает такая кавалерийская посадка, – бегун пересек аллею и рухнул в про-

вал, сбежал по страшной крутизне на самое дно, где взлетал волейбольный мяч, и его фигура замелькала среди сосен, поднимаясь на другой склон, запрыгала ритмично, словно ее дергали на нитке. Человек в ковбойке долго смотрел ему вслед. Он узнал бегуна – когда-то слушал его лекции по генетике в этом самом институте. Это был академик Посошков. Семь лет назад – в первый год войны – он женился на своей молоденькой аспирантке. Ему тогда было шестьдесят лет. В институте ходила легенда: будто в загсе, куда он, принарядившись, привел невесту, регистраторша, подняв на них глаза, прыснула, не удержав смеха. «Разница большая?» – спросил он. «Ага», – ответила та, краснея. «Ну так смотрите», – сказал академик. Он коротко взмахнул руками и прыгнул на ее стол – утвердил свои лакированные туфли точно по обе стороны чернильницы. Выждав паузу, он опять взмахнул руками и, не оборачиваясь, изящно спрыгнул со стола назад, попал точно на то место, где стоял раньше. «Я бы хотел, дорогая, чтобы еще кто-нибудь из приходящих сюда женихов смог проделать эту штуку». Глядя на ритмично прыгающее среди далеких сосен голубое пятнышко, бывший ученик академика чувствовал, что начинает верить в эту легенду. «Сложный человек Светозар Алексеевич», – подумал он, вздыхая и хмурясь. Академик Посошков когда-то, в тридцатых годах, был одним из известных менделистов, сторонником того учения в биологии, на котором и гитлеровский режим ухитрился построить свои расистские бредни. Конечно, никто не считал академика расистом. Если было бы иначе, ему бы несдобровать. Но все же о нем поговаривали с угрозой те, кто любит нажимать на педаль и готов пустить в ход словечко «враг». А куда денешься? Этот менделизм-морганизм (иные добавляли еще к этим словам и «вейсманнизм») содержит ведь тезисы, которые можно использовать. И использовали! Кто же может в двадцатом веке толковать о каком-то наследственном веществе! Чувшь какая-то! Все же академик вовремя отрекся от заблуждений и читал студентам свой пересмотренный курс, убедительно ругая монаха Менделя, правда немного громогласно. Академик Лысенко – вождь мичуринской науки – никак не мог простить ему старые грехи – видно, за то, что Посошков был уж очень матерый менделист. И еще потому, что после своей перестройки и отречений он как-то быстро угас, отошел от боевой науки. Но каяться не забывал. В последний раз на августовской сессии прямо-таки кричал с трибуны. Обещал поддерживать авторитет академика Лысенко, президента агробиологов. Извинился и перед другим корифеем – академиком Рядно. Преподавал он новую – мичуринскую – биологию толково, и из его слушателей вышло много хороших ребят, убежденных противников всякой схоластики. Видимо, отрекся по-настоящему. Но отрекся ли в самой глубине души? Хотелось бы верить ему. Впрочем, сообщали, что вслед за отречением он разогнал половину обеих кафедр генетики, почти всю проблемную лабораторию. Вот и посмотрим, дорогой Учитель, как ты их разогнал...

Так думал, глядя вслед неутомимому старику, человек в ковбойке. А далекое голубое пятнышко все прыгало между соснами, поднимаясь выше и выше. Бывший ученик академика не знал еще, сколько драм и живых страстей бегут на этих тонких ногах...

«Небось и он считает, что я Торквемада, – не очень весело подумал человек в ковбойке. – А может быть, он как раз и родил это хорошенькое сравнение. Тем более надо к нему зайти, поведать учителя. Да кроме того, он еще и проректор. Через час он наверняка будет уже дома».

Он не спеша зашагал по аллее, свернул к розовевшему вдаль институтскому корпусу. «По отзывам знающих людей, – вдруг вспомнил он слова синего бегуна, беседовавшего с ним, – нажмет и отпустит! – Вспомнил и тряхнул головой в сторону и вниз, и даже оскалился от стыда. – Значит, заметили во мне эту ласковость инквизитора! В чем же она выражается? Откуда взялась?»

Он шел и не замечал никого – ни тех, кого обгонял, ни тех, кто настигал его, несясь спортивной рысью. Он уже шагал по асфальту, в полосе усиленного движения. Мимо него пролетали на невиданных самодельных роликах лыжники с палками, тренирующиеся и летом,

катились навстречу коляски с младенцами. Два человека узнали его и поклонились, но он не заметил их.

– Федор Иванович! Федя Дежкин! – позвал кто-то над самым его ухом, и он очнулся. Мягкий лысоватый блондин из рыжих – бывают такие прозрачные гребешки – шел рядом, плечо к плечу с ним, и приветливо улыбался, разведя руки, словно для объятий. «Вот у кого ласковость!» – подумал Федор Иванович, узнав в соседе полковника госбезопасности Свешникова. Забытая привычка сама растянула худые щеки Федора Ивановича, и был момент, когда оба собеседника стали вдруг похожими друг на друга.

– А-а! Михаил Порфирьевич! Сколько лет, сколько зим! Небось уже генерал?

– Не-ет, все еще полковник. Это ваш брат – сегодня окончил вуз, а завтра, смотришь, уже кандидат, уже ревизует своих профессоров. Я слышал, вы приехали вейсманистов-морганистов шерстить?

– Начальство поручило...

– Ну как, бытие все еще не определяет сознания? Вы по-прежнему настаиваете?

– Уже не настаиваю, Михаил Порфирьевич. Стал старше, умнее. Но вам могу признаться: да, думаю я по-прежнему, так, как думал. А вы по-прежнему меня не понимаете.

– До сих пор! Отрицаете значение бытия!

– Простите. Я отлично сознаю, что являюсь результатом множества предшествующих процессов. Если бы не было моего бытия, не было бы и моего сознания. Но я против плоского заучивания классических формул. Против механических представлений. Результат воздействия бытия на меня будет зависеть и от моей личности. Меня нельзя сбрасывать со счета, я не молекула воды. Можно ли яснее сказать? Я настаиваю вот на чем: на воздействие бытия яотреагирую самым неожиданным для многих образом.

– Посмотреть бы!

– А что – мы ведь еще проживем. Еще увидимся. Согласитесь, что августовская сессия академии была классическим фактором общественного бытия. Так вот: один академик на ней признал свои ошибки и полностью покался. Пал на колени перед нашим законодателем. Другой органист, доктор наук, каялся с оговорками. А некий профессор на весь зал закричал: «Обскуранты!» – и был выведен на улицу. Видите, они не по-вашему, а всяк по-своему проявили свою суть в равных условиях.

– Но бытие может устроить вам серьезный экзамен.

– Михаил Порфирьевич, бытие своей манерой ставить нам такие пестрые и сложные задачи предполагает разные реакции. Оно само утверждает, что все мы – разные. На его экзамен яотреагирую самым неожиданным образом. Так, что само бытие удивится.

– Вы только этого с другими не развивайте. Со мной можно. А с другими не стоит.

– Не могу. Развиваю с каждым, кто любит поговорить.

– Ваш опыт должен бы вас научить...

– А что? Вы имеете в виду дядика Борика? Что-нибудь натворил?

– Нет, Борис Николаевич, слава богу, в порядке, он даже стал кандидатом наук. Но ведь это не чья-нибудь, а ваша неосторожность навлекла на него неприятности. И в судьбе его остался, так сказать, шрам... Так что хоть с этой стороны сделайте выводы. Вы где остановились – в квартире для приезжающих?

– Да, – несколько растерянно, механически ответил Федор Иванович.

– Давайте не избегайте меня. Надо нам как-нибудь, как семь лет назад, обстоятельно поговорить. О свободе воли, о добре и зле... Я уже соскучился по нашим беседам.

– Да, конечно... Понимаю...

Они простились, как и раньше прощались, чувствуя непонятное замешательство, и полковник в штатском костюме табачного цвета пошел вперед ускоренной, озабоченной походкой. Складки на спине задвигались крест-накрест, заюлил узенький зад – самое узкое место в

фигуре полковника. И, как семь лет назад, голова Свешникова опять показалась настороженному Федору Ивановичу кастрюлей с двумя оттопыренными врозь и вверх ручками.

А с дядиком Бориком вот что получилось. Еще до войны, когда Федор Иванович учился здесь, у него завелся друг – этот самый Борис Николаевич Порай, преподаватель с факультета механизации. У Федора Ивановича всю жизнь были друзья на десять – пятнадцать лет старше его. И всю жизнь Федор Иванович любил философские беседы. Получилось так, что студент заразил преподавателей этой самой мыслью о великой самостоятельности нашего сознания, о сложной, не прямой подвластности нашей личности формирующим воздействиям со стороны бытия. Дядик Борик с улыбкой стал звать Федю не иначе как Учителем, устроил среди преподавателей дискуссию. И вдруг его пригласили в так называемый шестьдесят второй дом и оставили там. Студент Дежкин немедленно отнес в этот дом свое заявление, разъясняя всю суть дела и справедливо беря ответственность на себя. Он искал следователя, а попал к какому-то начальнику – к полковнику Свешникову. Заявление приняли, со студентом побеседовали и отпустили. И с тех пор полковник стал здороваться с ним на улице, норовил упрочить знакомство. Дядик Борик все-таки посидел у них месяца три.

Но откуда этот Михаил Порфирьевич, пусть он даже полковник госбезопасности, откуда он узнал о том, что кандидат наук Дежкин приехал «шерстить вейсманистов-морганистов»? Ведь всего лишь четыре дня назад Федор Иванович сам еще не знал, для чего его вызывает академик Рядно! Кто принес сюда известие? Все те же «знающие люди»?

Четыре дня назад утром он пил свой холостяцкий чай в своей холостяцкой московской комнате, полутемной от близости другого дома, когда сосед по многокомнатной коммунальной квартире позвал его к телефону.

– Сынок? – это был хриплый носовой тенор Кассиана Дамиановича Рядно. За этот голос один недруг академика, тоже академик, сказал о нем: «Хрипун, удушенник, фагот». И это был действительно тот носоглоточный деревянный голос, который бывает слышен иногда в симфоническом оркестре. – Сынок? – спросил академик. – Ты что делаешь? Чаек пьешь? Значится, так: допивай спокойно чаек – и бегом ко мне. Я там буду через час. Давай пей чаек...

Кассиан Дамианович появился в приемной точно через час. Снял белый пыльник и, не глядя, ткнул куда-то в сторону от себя – его сейчас же приняла секретарша и унесла вешать в шкаф. Высокий, очень худой академик, колеблясь всем крепким телом, как лось, прошел к себе в кабинет и по пути сделал Федору Ивановичу властным пальцем знак – иди за мной.

Весь кабинет был увешан и уставлен выращенными академиком чудесами. В углах стояли снопы озимой пшеницы, которую народный академик, как его называли газеты, переделал в яровую, и яровой, получившей свойства озимой. В дальнем углу скромно топорщился снопок с огромными колосьями ветвистой пшеницы, на которую возлагал особые надежды Трофим Денисович Лысенко и которая, как известно, не удалась. С этой пшеницей работал и академик Рядно, и тоже безуспешно. На стенах кабинета висели отформованные из папье-маше и раскрашенные желтые помидоры – копии полученных на одном кусте с красными путем прививки. Висели большие фотографии в рамках: знаменитый кавказский граб, на котором вырос лесной орех – лещина, и сосна из Прибалтики, породившая ветку ели. На специальной полочке, в центре стены, лежали крупные розовые клубни картофеля – знаменитый «Майский цветок», сверххранний и морозостойкий сорт, полученный ученым путем прививок и воспитания в сложных погодных условиях.

Федор Иванович оглядел все фотографии и отвел глаза. С некоторого времени им овладели сомнения. Насчет граба, породившего лещину, он твердо знал, что никакого порождения тут нет, что это простая прививка, шалость лесника. Он все не отваживался поговорить об этом с академиком. Но «Майский цветок» всегда прогонял его сомнения. Это был настоящий новый сорт, чудо селекции.

Академик не спеша причесал прямые серые волосы, начесал их вперед. Потом наложил на лоб ладонь с растопыренными пальцами. Быстро и резко повернув ладонь на невидимой оси, Кассиан Дамианович отнял руку – там теперь красовалась челка, которая приняла форму завихряющейся туманности. Об этой челке недруг-академик давным-давно, лет тридцать назад, тоже сказал свое слово: «Эта туманность предвещает рождение сверхновой звезды». И не ошибся.

Академик Рядно, крикнув, уселся за свой стол. Тут же секретарша внесла стакан горячего чая в подстаканнике. Академик бросил в стакан большую таблетку, молча долго мешал ложечкой. Потом отхлебнул, пробуя свое лекарство и стуча при этом золотыми мостами. Как будто конь шевелил во рту стальной мундштук.

– Хочешь прокатиться? – спросил он вдруг, отставляя стакан. – Давай, сынок, собирайся. Правда, ты недавно был в командировке, но ничего. Время горячее, нам надо ездить. А потом будем отдыхать. – Тут он отхлебнул чаю, постучал зубами и отставил стакан. – Время очень горячее. Поедешь – сам увидишь. Да и видел уже. Происходит борьба идей. Идеалисты, мракобесы идут в наступление. Там, куда ты поедешь – а ты поедешь в город, где учился, – там, сынок, давно сложилось целое *кубло* вейсманистов-морганистов. После сессии, которая больно трахнула по их теориям и по ним самим, они заняли оборону. Но они знают, сволочи, куда направить удар. Они замахнулись на завтрашний день нашей науки – на нашу смену, на молодые умы. Отравляют...

Наступило молчание. У академика были крупные, вылезающие вперед желтоватые зубы, и он время от времени натягивал на них непослушную верхнюю губу. Он недовольно смотрел в окно – прищурясь, глядел в глаза врагу.

– Там есть профессор – ух, Федя, старая, битая крыса. А второй – академик. Твой учитель, между прочим. Он, конечно, клялся, плакал на сессии... кричал... Ему теперь ничего не остается, кроме мертвой обороны. Как и тому, профессору. Только первый сам лезет, ты только подставь – он сам сядет на вилы. А академик – тот сложнее. В драку не лезет. Лекции перестроил, читает нашу науку. Пусть читает. А что он думает – сегодня мы можем пока оставить его мысли в покое. Пока. Пусть себе думает. Может, если еще одного воспитает мне такого, как ты, может, и простим. Ради этих двух я тебя не послал бы. У меня, сынок, есть сведения, что там действует подпольное *кубло*. Молодежь – студенты, аспиранты... А возглавляет их – есть там такой Троллейбус. Дошло до меня. Запомни – Троллейбус. Это не фамилия, а просто студенты прозвали. Фамилия выскочила из головы. Ну да ты узнаешь. Их компанию ты вряд ли сумеешь накрыть... А вот Троллейбуса – этого мне поймай. Интересно, что это за фрукт. Посмотреть бы. Он, конечно, тоже надел маску. Говорят, прививки делает – по нашей дороге вроде пошел. Как его разоблачить – ты там на месте подумай. До бесед с ним не очень снисходи. Знаешь, как Одиссей... Уши воском залепи и действуй. – Тут академик, ласково сощурив глаза, весь подался к Федору Ивановичу. – Что с тобой, сынок? Твой вид мне не нравится. Совсем не похож на Гектора, которого Андромаха снаряжает в бой. Не приболел? Или, может, выпил вчера? Бывает же и такое... А?

Федор Иванович действительно был бледен и вял, и настроение у него было такое, что хоть бросайся в ноги к шефу с покаянием: иссяк родник веры! Вчера почти до полуночи он, может быть в пятый или шестой уже раз, читал книжку Добржанского «Основы наследственности», которую прятал на дне своего чемодана. Странно – знаком с книжкой лет семь, но почему-то лишь вчера простые рассуждения, которые академик Рядно так весело высмеивал, – эти простые рассуждения вдруг испугали Федора Ивановича, и он, вытирая вспотевший лоб, впервые сказал себе: это все надо проверить.

– Так что? Едем или не едем? – спросил академик. – Я могу послать и Саула. Уже чуть было не послал. Он в двух городах уже побывал, рвется в третий, ему драку только подавай. И личные интересы у него там есть. Амурные. Я просто подумал: сынок пусть поедет. Тут

такой случай, что тонкость нужна. Интеллигентность. Пусть, думаю, посмотрит, поглядит, где молоко науки сосал. Где двойки хватал.

Услышав имя Саула Брузжака, Федор Иванович тут же решил все:

– Поеду, Кассиан Дамианович. Погляжу, где двойки хватал.

И академик Рядно, еще раз посмотрев на него, протянул ему журнал:

– Возьми вот в дорогу, посмотри. Там есть две статьи – Ходеряхина и Краснова. Это наши ребята. Они там тебя ждут. Познакомишься. У них есть бесспорные достижения. Только помни – там встретишь и тонких казуистов. Умеют приспособить эксперимент к целям метафизики. Помнишь, что у Киплинга говорит закон джунглей? Сначала ударь, потом подавай голос.

Он умолк и стал смотреть с лаской на Федора Ивановича. Потом достал из кармана большой клетчатый платок – собрался протереть лежавшие на столе очки. Протянул руку к очкам, но в этот момент из платка просыпалась на стол земля. Академик развеселился:

– Хух-х! От черт! Это ж я так и не вытряхнул платок! Понимаешь, вчера на лекции достаю платок, и оттуда вот так – земля! Это я по делянкам лазил и вот – набрался... Любит старика земля, а? Так и лезет везде.

Растроганно качал головой, смахивая землю на пол. Потом положил палец на край стола.

– С тобой поедет Вася Цвях. Ты знаешь, он мужик боевой, выдержанный, член партии. Ты помоги ему написать доклад. А он тебе поможет. Давай, сынок, собирай чемодан.

К сожалению, академик так и не вспомнил фамилию того, кто возглавляет подпольное «кубло». «Ладно, – подумал Федор Иванович. – От меня не скроется этот Троллейбус».

И отправился в путь. И перед ним полетела весть, пущенная «знающими людьми»:

– Едет Торквемада. Начитанный, цепкий, ласковый Торквемада.

Погуляв по парку, побывав внизу около реки и обойдя все переулки между трехэтажными институтскими зданиями и службами, Федор Иванович взглянул на часы и отправился на ту улицу, что ограничивала опытные поля института. Громадное хозяйство было обнесено провололочной сеткой на столбах, и против этой ограды, среди высоких сосен, стояли, прячась друг от друга, одинаковые кирпичные домики с мансардами. Здесь жили профессора и преподаватели. Он сразу нашел дом академика Посошкова, открыл калитку и, пройдя между кустами роз, позвонил у дубовой двери. Открыла молодая, довольно рослая, почти белая блондинка, с двумя толстыми короткими косами, которые упруго торчали врозь, и с глазами, как бы испачканными черной ваксой. У нее были очень нежные голые руки с цыпками на локтях. «Она», – подумал Федор Иванович. Его провели в большую комнату, увешанную картинами. На видном месте висел портрет молодой работницы в красной косынке на фоне знамен и фабричных зданий. Федор Иванович сразу узнал работу Петрова-Водкина.

Под портретом на низком столике лежало несколько книг, и среди них вызывающе красовалось крамольное сочинение: Т. Морган. «Структурные основы наследственности» – с синим библиотечным штампом наискось: «Не выдавать». Застыв, Федор Иванович невольно расширил глаза.

Тут же спохватившись, он отвернулся и встретил внимательный взгляд блондинки, которая сразу опустила густо осмоленные ресницы.

Раздались четкие, быстрые удары бегущих ног по скрипучим ступеням. В этой комнате, оказывается, была лестница, ведущая на мансарду. Вздрагивая прижатými локтями, вниз бежал академик Посошков – все в том же выцветшем тренировочном костюме.

– Да? – сказал он, не узнавая гостя. И тут же просиял. – Эге, кто к нам приехал! Кто к нам приехал! Федя Дежкин! Кандидат наук Федор Иванович Дежкин! Здравствуй, дружок... – Он мягко посмотрел на жену, и она вышла. – Садись, Феденька. Можешь не рассказывать, все знаю. Приехал немножко потрясти вейсманистов-морганистов. Правильно! Наконец-то Кас-

сиан Дамианович взялся и за нас... У нас тут говорят, что ты у него правая рука. Ему бы еще и левую такую...

«Тогда бы вейсманисты-морганисты запищали», – хотел с обидой закончить его мысль Федор Иванович. Но ничего не сказал, только, чуть покраснев, уставился на академика. Тот не уступил: закинувшись в кресле назад, стал как-то сверху рассматривать своего бывшего ученика черными, как маслины, мягко горящими глазами. У него было очень худое, с зеленоватыми ямами на щеках, почти коричневое лицо и коротко подстриженные серые усы.

– Время, Феденька, время, – сказал он. – Все-таки семь лет. За семь лет, говорят, все вещества в организме проходят обмен. Замещаются...

– Количественно, – возразил Федор Иванович. – Но не качественно.

Академик, видно, принял эти слова за намек на его вейсманистско-морганистское прошлое – дескать, горбатого могила исправит. Шире раскрыл готовые к драке глаза.

– Если вы действительно считали меня когда-то добрым человеком, если не ошибались, – Федор Иванович сказал это со страстью, – то таким я и уйду в могилу. Человека нельзя сделать ни плохим, ни хорошим.

– А как же исправляют...

– Светозар Алексеевич, не исправляют, а обуздывают. Усмиряют. Для кого существует аппарат насилия? Для тех, кого нельзя исправить.

– Да... – Академик вскочил с кресла и быстро прошелся по комнате. Еще раз посмотрел на Федора Ивановича. – Узнаю тебя, Федя. Это ты.

Вошла женщина. Они встретились глазами – академик и она, и Светозар Алексеевич, встав, склонив седины, сделал приглашающее движение:

– Чудеса! Самовар уже вскипел. Прошу к столу.

Поднимаясь, Федор Иванович нечаянно взглянул на столик с книгами. «Т. Морган» уже был прикрыт мичуринским журналом «Агробиология», где академик Рядно был одним из самых главных сотрудников.

Открывая стеклянную дверь, академик обнял Федора Ивановича.

– В Бога еще не уверовал?

– В Бога – нет. Но кое-что открыл. Для себя. Ключ вроде как открыл. Чтоб руководить своими поступками и разбираться в поступках других.

– Ого!.. Очень интересно. – Светозар Алексеевич взглянул на него сбоку. – Давай-ка садись, бери пример с Андрюши Посошкова.

За белым квадратным столом, красиво и по правилам накрытым для четырех человек, уже сидел белоголовый мальчик в холщовом матросском костюмчике и водил ложечкой в тарелке с оранжевой смесью: там был накрошен хлеб и залит жидким яйцом. Увидев гостя, мальчик встал и поздоровался, прямо взглянув ему в глаза.

– Вот видишь, здесь севрюга, – сказал академик, когда все сели. – Ты давай, давай, для тебя поставлено. Вот здесь – холодная телятина, прекрасно зажарена. Заметь – желе. Из нее натекло. А моя материя, – тут он снял тарелку с поставленной около него стеклянной банки, там был творог, – моя материя вступила в стадию решающей борьбы за сохранение своего уровня организации...

– Но вы же молодой! Вы же тянете на сорок пять лет!

– Тяну? Может быть, может быть... В школе мне объяснили закон сохранения энергии. И я всю жизнь старался эту энергию экономно расходовать...

«Не из соображений ли экономии ты уклонился от борьбы?» – подумал Федор Иванович.

– А как же ваши кроссы? – спросил он.

– Экономия – это уход от ненужных, бессмысленных драк, – сказал академик, как бы прочитав мысль гостя. – А кроссы – это борьба с энтропией. Лень, сон, покой – все это способствует энтропии, распаду, нашему переходу в пыль. Чтобы противостоять, приходится расхо-

довать энергию! Так оно и получается – между двумя огнями. С одной стороны, экономия, с другой – расход. Ты, Федя, действуй. Обязательно вместе с куском захватывай побольше желе. Вот этот кусочек возьми – прекрасная вещь! – вдруг сказал он и горящими глазами проследил, чтобы был взят этот кусочек и чтобы на него был положен дрожащий ломтик желе. – Ну как?

– Мм! – благодарно промычал Федор Иванович с набитым ртом.

– А мне уже нельзя... Бери еще кусок. Бери, бери, – сказал академик, кладя себе творог. – Да, ты, видимо, прав. – Он прямо и с вопросом взглянул в глаза. – Доброго человека не заставишь быть плохим.

– Страх наказания и нравственное чувство – разные вещи, – сказал Федор Иванович, разрезая телятину и совсем не замечая, с каким особенным вниманием вдруг стал его слушать академик. – Страх – это область физиологии. А трусость – область нравственности...

На это академик вопросительно промычал сквозь творог. И еще выразительнее посмотрел.

– Трусость – это не просто страх. Это страх, удерживающий от благородного, доброго поступка. Трусость отличается от страха. Мотоциклист не боится разбиться насмерть. Носится как угорелый. А на собрании проголосовать, как требует совесть, – рука не подымается. Труслив. Хороший человек преодолевает в себе чувство страха, физиологию. Но если угроза очень страшная, такое может быть... Хороший человек и тот может дрогнуть. Это уже будет не трусость, а катастрофа. Но это не изменит его нравственное лицо. Человек останется тем, кем он был до своей гибели. И будет искать искупления... Я, конечно, имею в виду сверхугрозу, превосходящую наши силы.

– Я не согласна с вами, – сказала вдруг блондинка. – Все равно это будет трусость. И никакого оправдания...

– Не согласны? – спокойно сказал Федор Иванович, задумчиво взглянув на нее. – А если у вас кто-нибудь отберет вашего ребенка...

– Верно, верно, Федя! Молодец! – с необъяснимой энергией одобрил его академик, которого эти вещи сильно занимали. Он не почувствовал, что свою адвокатскую тираду Федор Иванович произнес специально для него и для его жены. Сам же «адвокат» смотрел на дело иначе. Он не простил бы себе такой катастрофы. – Серьезные вещи говоришь, Федя, – сказал Светозар Алексеевич. – Я думаю так: у человека, задумавшего кончить жизнь самоубийством, должен исчезнуть физиологический, как ты говоришь, страх. И трусость, подчиняющая его всякой палке, всякому кнуту. Но нравственное чувство будет продолжать повелевать. Он получает свободу от всего, кроме своей совести. И будет стремиться искупить вину. Меня, Федя, часто заставляет задуматься фигура Гамлета. Когда он узнал, что ранен отравленной шпагой, с него как бы свалились все оковы, связывающие доброго человека на этой земле. Он перестал быть подданным короля, стал гражданином Вселенной. Из него мгновенно испарилось все, что зависит от внешнего бытия...

Тут пришла очередь Федора Ивановича прислушаться. Для него это был новый аргумент, и он всей душой потянулся к интересной беседе. Но блондинка со звоном бросила нож на тарелку.

– Перестань! Даже страшно становится, когда он о Гамлете своем начинает. Как будто с жизнью прощается. Неужели нельзя о чем-нибудь еще!

– Да-а... – Светозар Алексеевич затуманился и притих. – У... у такого человека очень интересное правовое положение.

– Разрешите вам налить чаю, – сердито сказала блондинка Федору Ивановичу.

– Простите меня, пожалуйста, как вас зовут?

– Ольга Сергеевна.

Волосы у нее были прямые и белые, как строганая сосновая доска, и две ее толстые короткие косы по-прежнему пружинисто торчали врозь, как две плетеные булки. Она подала Федору

Ивановичу чашку белой рукой с большим фиолетовым камнем на пальце. Принимая от нее чай, Федор Иванович почувствовал странную тишину в комнате и взглянул на академика. Светозар Алексеевич спал, уронив усталую голову. Слюна стеклянной струйкой скатилась на грудь, скользнула по выцветшему трико. Ольга Сергеевна поднесла палец к губам.

Через полминуты старик открыл глаза и некоторое время сидел так, приходя в себя. Вдруг совсем очнулся и пристально посмотрел на Федора Ивановича, на жену – заметили ли? Нет, никто не заметил. Гость положил себе еще кусок телятины. Ольга Сергеевна заглядывала в маленький электрический самовар. Мальчик пил свой чай, опустив глаза.

Успокоившись, старик положил за худую щеку ложку творогу.

– Ключ! – сказал он, шевеля усами, и задумчиво вытаращился на ложку. – Интересные вещи, Федя, говоришь. Ты что, уже проверил действие?

– Нет еще. Но в руке, похоже, держу.

– Да-а... Ты у нас сможешь его проверить. – Во взгляде академика опять появилась изучающая пристальность. Он немного боялся Федора Ивановича, и его клонило все к тому же – к цели приезда его ученика. И Ольга Сергеевна поглядывала на гостя с заметной тревогой. – Тебе, Федя, в твоём нынешнем положении этот ключ будет просто необходим, я так думаю, – сказал академик, помолчав. – Только не появится у тебя излишняя уверенность в правоте? Ключ ведь можно применять и при неправильной основе. В основе ты уверен?

– Мы с вами, Светозар Алексеевич, что вы, что я, одинаково в ней, в нашей научной основе, уверены, – краснея, сказал Федор Иванович. – Уж если учитель уверен, куда деваться его прилежному воспитаннику...

Академик закинулся на стуле, как он уже делал один раз, посмотрел на гостя как бы сверху.

– Ты, Федя, твердой рукой подвел меня к вопросу, на который надо отвечать стоя. Тем более что вы – член комиссии. – Он не заметил, как перешел с гостем на «вы». – Вот, слушайте: я полностью осознал вред, который могут причинить науке мои...

«Заблуждения или трусливые колебания?» – Федор Иванович ясно прочитал этот вопрос в быстром и вызывающем взгляде Ольги Сергеевны, брошенном на мужа.

– ...заблуждения, – твердо отчеканил Светозар Алексеевич. – И я честно не раз заявлял об этом с трибуны.

Попробуй поговори с чутким человеком. Никто не смог бы осторожнее коснуться больного места в душе академика, чем это было сделано. Притом сам ведь полез вперед со своей болячкой. Но, оказывается, и так касаться нельзя. Тем более при даме. Федор Иванович побагровел.

– А что я говорил! – мягко сказал он. – Я же говорил! Хорошего человека... Даже в экстремальных условиях... сделать плохим нельзя. Нельзя!

Они, конечно, тут же и помирились, и оба, затуманившись, обсудили феноменальную способность человека объясняться с себе подобными на тончайшем уровне.

– Конечно, другого такого ювелира, как я или как ты, не было и не будет. Ни во времени, ни в пространстве, – сказал Светозар Алексеевич. – Чудеса!

Спросить академика о Троллейбусе Федор Иванович остерегся. Тихий голос шепнул ему издалека: помолчи об этом.

Часа через два Федор Иванович быстро шел по одной из аллей парка, направляясь домой, то есть к одному из розовых зданий института, где ждала его комната в квартире для приезжих. Вдруг его внимание остановила редкостная фигура – осанистый и вельможный бородач, стоявший на перекрестке аллей. Чесучовые серебристо-желтые брюки, чесучовый балахончик с рукавами до локтей, алюминиевые туфли на женских каблуках, кремовая фуражечка с капитанской кокардой. Фигура у него была довольно статная, но с чрезмерным прогибом в талии

– прогиб этот повторял линию тяжелого, отвислого живота. Бородач за чем-то с интересом следил.

– Иннокентий! – крикнул Федор Иванович. Он узнал местного поэта Кондакова.

Поэт показал счастливую, похожую на подсолнух рожу:

– Ты? Какими судьбами к нам?

И они пошли вместе по аллее, оживленно и громко беседуя. Федор Иванович вскоре заметил, что громкая речь поэта – притворство, что их разговор совсем Кондакова не интересует, что он взволнован чем-то. Потом поэт сделал рукой знак: «Минуточку!» – и, заработав локтями, вилляя, ускорил шаг. Вот в чем дело – впереди шла молодая женщина. Поэт что-то негромко сказал ей. Она не ответила. Он ускорил шаг и еще что-то сказал. Она ответила с небрежным полуповоротом головы. Поэт догнал ее и забежал с одной стороны и с другой. Бедняжка споткнулась, он тут же поддержал ее под локоток. Быстро переменил шаг и засеменял с нею в ногу, отставив зад. В конце аллеи женщина остановилась и долго говорила ему что-то педагогическое. Потом пошла дальше, а он остался стоять, поникший, – правда, ненадолго. Ликующий подсолнух его физиономии опять развернулся навстречу Федору Ивановичу.

– На охоту вышел? – спросил тот.

– Как ты догадался? – Поэт показал все свои кукурузные зубы.

– Так у тебя же, наверно, есть...

– Про запас. Природа не терпит остановок. Послушай, как тебе понравится это? – Он замычал, вспоминая какие-то строки, и, загоревшись, стал декламировать, успевая поглядывать и по сторонам:

Вот какой я – патлатый,
Синь в глазах да вода,
На рубахе заплаты,
Но зато – борода!

Пусть не вышел в герои
В малом деле своем, —
Душу тонко настрою,
Как радист, на прием.

И ворвется в сознание,
И навек покорит
Шум и звон созиданья,
Обновления ритм.

Басом тянут заводы
Новый утренний гимн,
Великаны выходят
Из рабочих глубин.

Все серьезны и строги,
И известно про них,
Что в фундамент эпохи
Ими вложен гранит;

А в полях, где сторицей
Возвращается вклад,

Где ветвистой пшеницы
Наливается злак,

Та же слышится поступь,
Тот же шаг узнаю,
И огнем беспокойство
Входит в душу мою:

Где же мой чудо-молот?
Где алмазный мой плуг,
Чтобы слава, как сполох,
Разлеталась вокруг?

И, задумавшись остро,
Думой лоб бороздя,
Выплываю на остров,
Слышу голос вождя.

Он спокоен и властен,
Он – мечта и расчет.
Не нашедшему счастья
Озаренье несет:

Нет, не только гигантам
Класть основу для стен!
Нет людей без талантов,
И понять надо всем,

Что и винтик безвестный
В нужном деле велик,
Что и тихая песня
Глубь сердец шевелит.

Ну и как? – Поэт взял Федора Ивановича под руку.

Тот знал, что надо говорить поэтам об их стихах:

– Здорово, Кеша. Особенно это: «На рубахе заплаты, но зато – борода». Твой портрет!

– Ты что, остришь?

– Да нет, ничего ты не понял. Ведь ты же не одежду описываешь, а характер, характер!

– Ну ладно, с этой поправкой принимаю. Еще что-нибудь скажи.

– Ты имеешь в виду речь Сталина, где он про маленьких людей? Очень здорово! Очень хорошо: «Великаны выходят из рабочих глубин».

– Молодец. Еще скажи. Хорошо критикуешь.

– «Алмазный плуг» – ты это, по-моему, у Клюева стибрил. У него есть такое: «плуг алмазный стерегут»...

– Еще что? – Кондаков отпустил локоть Федора Ивановича.

– Еще про ветвистую пшеницу. Пишешь, о чем не знаешь. Про нее рано ты сказал. Злак еще не наливается. Она ведь не пошла у нашего академика. Могут тебе на это указать...

– Самый худший порок в человеке – зависть, – сказал Кондаков.

– При чем же здесь...

– Федя, не надо. Не надо завидовать. Стихи уже посланы в набор.

Поэт, не прощаясь, резко повернулся и зашагал по аллее, и вид его говорил, что оскорбление может быть смыто только кровью.

Кондаков умел оставлять в собеседнике неопределенный тоскливый балласт. Все еще чувствуя в душе эту тоску, Федор Иванович вошел в комнату, которая в этом городе была отведена под жилье для приезжей комиссии.

II

На следующий день, в понедельник утром, в уставленном высоченными тяжелыми шкафами кабинете кафедры генетики и селекции сидели, раскинувшись в креслах и на стульях, завкафедрой профессор Хейфец – с белым измятым лицом и жгучими восточными глазами, проректор академик Посошков, заведующий проблемной лабораторией доцент Стригалева и два цитолога – супруги Вонлярярские. В самом темном месте кабинета все время бежало вверх фиолетово-голубое пламя спиртовки – хорошенькая девушка в очках, научный сотрудник Лена Блажко, варила в большой колбе кофе, разливала по пробиркам, похожим на вытянутые вверх стаканчики, и с изящными полупоклонами, как гейша, подавала собеседникам. Над столом профессора висел большой портрет Менделя. Монах в черной сутане с узким белым воротничком спокойно смотрел сквозь очки, скрестив руки на груди, держал какую-то книжку, заложив в нее палец. Рядом висел в такой же – дубовой – раме портрет Моргана. Старик с бородкой выглядывал из-за биноклярного микроскопа, сдвинув очки на кончик носа, скептически смотрел на кого-то. На кого? На яркий цветной портрет Трофима Денисовича Лысенко, который разместился в большой раме напротив. Академик рассматривал в лупу колос ветвистой пшеницы «Тритикум тургидум». По слухам, он ходил с этой пшеницей к самому Сталину. Он будто бы обещал приспособить ее для наших полей, и это должно было дать пятикратное увеличение урожая. Пшеничка-то не пошла, а менделисты-морганисты не пропустили случая, высказались: мол, это дали о себе знать законы генетики, против которых боролся Лысенко, не очень удачно присоединив к своему знамени и имя Мичурина. Эта-то пшеница, похоже, и заставила ученого американца выглянуть из-за микроскопа, собрать на лбу несколько морщин.

В кабинете были уже сказаны первые слова о начавшейся на факультете ревизии, теперь наступила пауза, все задумались, прилебывали кофе.

– У вас все в порядке – в ваших записях? – спросил профессор Хейфец, ложась локтями на свой широченный стол, разворачиваясь всем корпусом к Стригалева. – Имейте в виду, вы сильно под боем.

– Я все проверил еще раз, – сказал Стригалева, обугленный худощавый брюнет с длинными нитями седины в непричесанных лохмах. Он был по-летнему в белой рубашке с засученными рукавами. – Дайте мне, Леночка, кофейку. – Он протянул к Лене плоскую, длинную, волосатую руку.

И Лена, не взглянув, ответила красивым тонким жестом: сейчас, сию минуту вы получите свой отменный, прекрасный кофе. И уже подавала с наклоном головы полную пробирку.

– Я боялся, что пришлют этого... карликового самца, – проговорил с улыбкой академик.

Карликовым самцом здесь называли часто приезжавшего в институт Саула Брузжака, «левую руку» академика Рядно, за его маленький рост и всем известную скандальную связь со студенткой – рослой, тяжелого сложения девицей.

– Эта Шамкова, она, по-моему, уже аспирант. Саул ее двигает, – сообщила Вонлярярская.

– Она у меня, – пробормотал, хмурясь, Стригалева. – Не знаю, что из нее получится.

– Дивны божии дела! – проговорил профессор. – Известно, что у некоторых пауков, где замечена карликовость самцов, самки пожирают своих супругов... По миновении надобности...

– Ну, Саула не очень-то сожрешь, – заметил академик.

– То, что Рядно прислал этого Дежкина, надо еще осмыслить, – проговорил профессор.

– Он был у меня вчера, – сказал Светозар Алексеевич. – Он далеко не дурачок. Довольно тонок и правильно реагирует... Очень хорошо улыбается. Говорит, открыл ключ к пониманию добра и зла. Правда, развивать не стал...

– *Эритис сикут диш, сциентес бонум эт малюм*, – сказал, кряхтя, Вонлярлярский.

– Переведите, пожалуйста, – попросила Лена.

– Станете яко боги – будете ведать добро и зло.

– Это змий сказал, надо не забывать, если даже говоришь о человеке, который открыл ключ к пониманию добра и зла, – слабо улыбнулся Стригалева, показав стальные зубы. – А вы-то, Стефан Игнатьевич, что это вы парадную форму надели? Новый костюм, бантик...

– Оделся в чистое, – сказал Вонлярлярский. – По морскому правилу.

– Чтоб идти ко дну? – спросил профессор Хейфец, и все жиденько засмеялись.

– Паникеры, – баском сказала Вонлярлярская.

– Я не закончил, – проговорил академик Посошков. – Он не дурачок, но в правоте уверен железно.

– Если не дурак – значит у него есть какая-то сложная собственная концепция лысенковской галиматии, – профессор покачал головой, – значит он раб этой доктрины. Приехал к нам помочь... Излечить от заблуждения, вернуть в лоно...

– С христианской любовью, без кровопролития, спасительным, все исцеляющим огнем, – сказал Вонлярлярский.

– Каяться не буду, – тихо проревел профессор. – Санбенито не надену.

– И зря, – заметил академик, мягко сверкнув глазами. – Сейчас не пятнадцатый век.

– Как понять? – Профессор обернулся к нему.

И тут все затихли. В дверь негромко стучали. Раздались четыре мерных удара. Лена взглянула на профессора, тот кивнул, и она повернула в массивной двери тяжелый старинный ключ. Вошел Федор Иванович Дежкин – явно с каким-то важным делом.

– Легко на помине, – сказал он, оглядывая всех. – Поклон уважаемой конференции. Простите, я должен сделать заявление. Можно? Вы не приглашали на это заседание ни меня, ни моего старшего коллегу Василия Степановича Цвяха. Тем не менее мы против своей воли оказались среди вас, хотя и без права голоса. У вас здесь перегородка... Фанерная, по-моему... А мы там бумаги листаем, уже часа полтора. Я уполномочен сказать вам, что у нас нет дурных намерений, что пользоваться вашими промахами мы не хотим.

– Давайте представимся, – сказал академик Посошков, поднимаясь из своего кресла, изящный, как юноша, в своем темно-брусничном костюме. – Это профессор Натан Михайлович Хейфец. Это кандидат Федор Иванович Дежкин, в прошлом наш студент. Это наш завлаб – генетик и селекционер Иван Ильич Стригалева, доцент, доктор наук...

Громоздкий и худой, как дикарь, Стригалева распрямился, словно выбираясь из клетки, и показал стальные зубы, и что-то толкнуло Федора Ивановича. Он уже видел когда-то давно такое измятое лицо и стальные зубы у одного геолога...

– Иван Ильич, – сказал Стригалева. – Доктор, только неутвержденный.

– Это Леночка Блажко, кандидат...

– Тоже неутвержденный, – отозвалась Лена с улыбкой и полупоклоном.

– А это наши цитологи...

И сразу поднялся навстречу новому человеку чистенький старичок с пестрым бантом на шее – вчерашний синий бегун.

– Торквемада... – шепнул ему Федор Иванович.

– Ваше преосвященство... – чуть слышно пробормотал бегун с еле заметным поклоном, как бы приложившись к руке Федора Ивановича. Тут же он выпрямился и громко назвал себя: – Вонярярский, Стефан Игнатьевич. Как это я мог не узнать своего студента!

– Леночка, кофе гостю, – сказал академик.

А Леночка уже несла полную пробирку, и жесты ее, как иероглифы, которые Федор Иванович сразу прочитал, говорили: «Хоть вы и ревизор, я вас нисколько не боюсь и даже полна любопытства».

– Такая у нас кофейная посуда, – сказал академик.

– Я примерно догадываюсь, что это за посуда. – Федор Иванович принял от Лены кофе, еле сдержав ухмылку. – Она у вас, конечно, носит ритуальный характер...

Как раз в это время маленькая искорка плавно опускалась перед ним и наконец села ему на мизинец. Это была мушка-дрозофила – знаменитый объект изучения у органистов. Она несколько раз раскрыла крылышки и сложила, пробежала вправо, пробежала влево и исчезла.

– Кажется, дрозофила меланогастер, – сказал Федор Иванович. – Правда, я не очень в этом...

– Фруктовая мушка, могла запросто с улицы прилететь, сейчас лето, – небрежно заметил Стригалева.

– Мне показалось... у нее были красные глаза, – возразил с улыбкой Федор Иванович. – Я читал Добржанского.

– Составим акт? – угрожающе-устало сказал профессор Хейфец.

– Уж и акт! Однако у мушки был такой же вызывающий вид. Она заодно с вами!

– Вся природа заодно с нами, – сказал профессор. Он уже лез на вилы.

Академик подошел к нему, положил руку на плечо.

– Натан Михайлович, не забывайте, вы лежите в обороне.

– Кто лежит в обороне? – раздался зычный голос от двери. Там стояла невысокая тяжеловесная женщина с тройным блинчатым подбородком, как бы в тройном ожерелье, да еще с двумя нитками красных крупных бус. – Это вы в обороне? Федор Иваныч! Дай-ка посмотрю, чем они тебя поят. Это же пробирка, в которой формальные генетики разводят своих мух! Ничего, пей, этим нас не проймешь! Так кто лежит в обороне?

– Анна Богумиловна, теперь, когда вы пришли, уж, наверно, мы зароемся все в землю, – сказал профессор Хейфец.

– Федор Иваныч! Светозар Алексеевич! Какая же это оборона! Зачем они повесили портрет нашего президента с ветвистой пшеницей, когда знают, что у академика с нею неприятности?

– А вот зачем, – ответил профессор. – Открыто критиковать вас нельзя. Так пусть ваши собственные позы, слова и дела будут вам критикой. Не хватает еще, чтобы мы за вас думали, как оберечь вас от позора.

Федор Иванович покраснел.

– Неужели вы так твердо уверены в своем?

– Да нет, свое-то мы знаем пока очень слабо. Мы хорошо, прекрасно знаем ваше. Оно было актуально двести лет назад. Когда смотрели не в микроскоп, а в линзу Левенгука.

– Тогда и мне придется высказать свою точку зрения. Мне кажется, что ваша наука идет на ощупь от факта к факту, как бурят землю геологи. Все глубже и глубже. Вам кажется, что скважина идет прямо, а ее повело куда-то в сторону. В какую сторону повело, повело ли вообще – не знаете. Знай бурите, думаете, что прямо.

– Ну, сейчас так не бурят.

– Вы как раз так и бурите. Наставляете звено за звеном и последовательно бурите. А мы...

– Диалектически? Скачкообразно?

– Натан Михайлович! Запрещенный прием!

– А ваш художественный образ?

– Это я в пылу. А в общем-то, я даже могу вам показать все наше расписание ревизии наперед. Завтра, например, я приду к Ивану Ильичу, буду смотреть его журнал и работы. Вам остаются сутки на подготовку. Если бы наши отношения строились не на товарищеских началах, я бы этого не сказал. Это я к тому, что нам с вами надо оставить эти взаимные подковырки.

– Что же касается нашей науки, – забасила Анна Богумиловна, – она совсем на других основах... Мы перекидываем мосты. Опираемся на диалектику, которая является наукой универсальной и дает нам законы движения всего сущего в материальном мире. Мы строим по имеющимся точкам фигуру и находим те точки, которые еще не известны. Они могут быть очень далеко впереди. Практики получают пшеницу...

– Анна Богумиловна, ветвистую, – как бы умирая, пролепетал профессор.

– Пшеницу, – поддержал ее Федор Иванович. – А ваша наука будет заполнять частные пробелы. Как в каркасном доме – уже сделана крыша, а проемы еще заполняются кирпичом.

– Ваш академик нас лучше назвал – трофейной командой.

Профессор теперь устало полулежал, навалившись на свой стол. Когда зашла речь о диалектике, он сразу поник, утратил интерес к спору. Светозар Алексеевич, закинувшись назад, словно любовался своим бывшим учеником и перебирал сухими пальцами на подлокотнике.

– Ваше преосвященство, дайте знамение, – негромко, но все же внятно сказал Вонлярлярский, и лицо его, похожее на увядший, подсыхающий плод, осклабилось. Он перешел черту, и это задело Федора Ивановича.

– Знамение получите, получите. В надлежащее... – Он тут же почувствовал, что сказал что-то очень двусмысленное и скверное. Запнувшись, он покраснел и отчетливо заявил: – Все, что я сейчас здесь наговорил, – глупость, плод запальчивости. Все слова беру назад и прошу у всех прощения. И еще одну пробирку кофе.

Сказав это, он просяще улыбнулся. И все вокруг примолкли, увидев, как вдруг необыкновенно похорошело его лицо. Оно не было гладким, даже производило впечатление жесткой суровости. Может быть, поэтому нечастые его улыбки радовали собеседника, как долгожданные просветы, паузы для отдыха. Ему не раз говорили об этом свойстве его улыбки, и, боясь, как бы она не стала чарующей и фальшивой, боясь начать пользоваться этим своим несчастным даром, он совсем почти не улыбался, держал себя под контролем.

– Конечно, такая полемика мало помогает выяснению истины, – сказал смущенно Вонлярлярский, оглянувшись на Анну Богумиловну. – А если посмотреть на нашу работу с позиции *контенанса*, все в этой комнате – последовательные в своей основе мичуринцы.

Короткий смешок подбросил профессора, полулежавшего на столе. Натан Михайлович радостно посмотрел на украшенный сложным пробором затылок Вонлярлярского.

– Кроме меня, – раздельно проговорил он. – Такой *контенанс* меня не устраивает.

– Пойдем отсюда, – заколыхалась Анна Богумиловна, таща Дежкина к двери. Он оглядывался, разводил руками. – Пойдем, пойте-ом! Надо работать, они заморят тебя своим *контенансом*. Ты же обещал смотреть мою пшеницу! Я же – Побияхо, Анна Богумиловна, ты забыл меня?

И пришлось комиссии идти в ее комнатку на втором этаже, уставленную снопами, пахнущую, как овин после сбора урожая. Василий Степанович Цвях, седой, весь мускулистый, твердый, больно стиснул в коридоре руку Федора Ивановича:

– Молодец! Я все слышал. С ходу между глаз им врезал!

Но чего-то недоговорил. Посмотрел, пожевал губами и сам себя пресек.

А в кабинете долго стояла остывающая тишина. Потом профессор Хейфец, устало охнув, вышел из-за стола, головой вперед протопал к двери. Были слышны его шаги в коридоре – он заглянул в соседнюю комнату, отгороженную фанерой. Вернувшись, запер дверь.

– Он, по-моему, порядочный человек. В первый раз встречаю у лысенковцев. Светозар Алексеевич, что может делать у них такой рыцарь? Диву даюсь...

– Он еще студентом такой был, – сказал академик.

– Мне он тоже нравится, – проговорил Стригалева.

– В том-то и беда, – продолжал профессор. – Мне он кажется страшно опасным. Такие вот святые монахи и были главными сжигателями. И винить нельзя – святые побуждения!

– Это верно, монах, – вздохнул Вонлярлярский. – Доминиканский монах.

– Нашу бы Леночку прикомандировать, – сказал профессор. – Чтобы пококетничала с ним. Чтоб узнала, когда нам, как говорится, собирать сухари...

– Ну уж вам-то и сухари... – бросил с места Стригалева.

– А вы, Иван Ильич, готовьтесь. У вас ведь есть еще ночь.

– А что готовиться? У меня прививки. Все делаю, как велит корифей. И результаты те же...

Все засмеялись.

– Конечно, развязать ему язычок – это было бы хорошо, – сказал профессор, и все посмотрели на Лену.

Она, склонив набок голову, грела колбу с кофе. Да, я слышу, слышу, говорила ее поза.

Часа в четыре дня Федор Иванович и его «главный» – Василий Степанович Цвях, сильно уставшие от своей контрольной деятельности, подходили к двухэтажному, такому же розовому, как и остальные, кирпичному зданию. Здесь жили работники института, а на первом этаже среди стен метровой толщины членам комиссии была отведена сводчатая келья. Ревизоры из Москвы прошли между домами и многочисленными сараями к сильно осевшему в землю каменному крыльцу. Около крыльца, на земле, стоял кубический каркас из планок, обтянутый проволоочной сеткой. Там, сбившись в кучу, о чем-то азартно хлопотали десятка два грязно-белых цыплят. Над клеткой склонилась уборщица тетя Поля.

– Что делают, что делают, шпана окаянная! – запричитала она, увидев своих гостей. – Ну прямо как люди!

– Что случилось? – спросил Василий Степанович, как старший в комиссии.

– А вот посмотри сам, что делают. От роду два месяца, а уже кровь им живая нужна. Ну прямо как люди. Кыш-ш!

Стая разлетелась по клетке, хлопая крыльями, и Федор Иванович увидел блюдце и около него увядшего цыпленка с окровавленной головой.

– Гребешок у него клюют. Сейчас вот заберу этого – так нового ведь найдут! Безобидная, называется, птица...

– Действительно, – удивился Цвях. Впрочем, его заботили более важные вещи, и, остановившись на крыльце, он вдруг сказал: – Хоть она и доктор наук, эта Побияхо, а в пшеницу ее я не верю. Что-то быстро очень она переделала свою яровую в озимую.

– Но пшеница хороша, – заметил Федор Иванович.

В комнате Цвях, тряхнув одной и второй ногами, ловко сбросил ботинки и с удовольствием растянулся на своей койке. Федор Иванович раскрыл перед ним свой огромный потертый портфель, полный длинных папирос, и разъяснил, что он сам набивает гильзы, потому что любит особую смесь табака, туда входят некоторые известные ему травы, в том числе и *мелилтус оффициналис*. Узнав, что это обыкновенный донник, Цвях сказал:

– Я предпочитаю «Прибой». Но попробую.

Они оба задумались. Федор Иванович, прежде чем лечь, подошел к телефону – его привлек обрывок бумаги с крупными каракулями: «Туманова ишо позвонить».

Минут через сорок телефон зазвонил. Низкий, полный женский голос, торжествуя, пропел:

– Это ты, пропащий? Паралич тебя расшиби! Приехал еще позавчера, и носу...

– Антонина Проко-офьевна! – закричал Федор Иванович, приседая от радости. – Антонина Прокофьевна!

– Постригся, говорят, в монахи, получил звание кандидата, такие перемены, а чтоб старым друзьям ручку...

– Антонина Прокофьевна!

– ...ручку чтоб, всю в перстнях, пахнущую сандаловым деревом, без очереди протянуть для поцелуя старым друзьям...

– Я сегодня же...

– Почему я тебе и звоню. Сегодня в моей хате сборище. Чуешь? В семь! Будет хорошая компания, приходи. В семь, не забудь. Лучше, если придешь в полшестого. Чтоб мы могли поговорить.

– Только я не один...

– Знаю. Товарищу Цвяху скажи, чтоб тоже приходил. В семь. А сам в полшестого. Будет и дядик Борик. Посидим втроем...

Это звонила Туманова, в прошлом артистка оперетты. Когда-то она начала было выходить в знаменитости, но непредвиденные обстоятельства изменили всю ее жизнь, и теперь почти пятнадцать лет она лежала с параличом обеих ног, зарабатывая статьями в газетах и журналах.

– Идем сегодня в интересное место, – сказал Федор Иванович своему товарищу.

К половине шестого он, побродив по городским улицам, застроенным двух- и трехэтажными старинными домами, вступил в кварталы Соцгорода с его одинаковыми пятиэтажными зданиями, сложенными из серого силикатного кирпича. Он нашел нужный дом, поднялся на третий этаж и у темной двери нажал кнопку звонка. Из-за сетки, закрывающей круглый зев в двери, раздался знакомый поющий радиоголос:

– Это ты-и-и?

– Это я, – сказал он.

Последовал железный щелчок, и дверь отошла. Он шагнул в коридор. Две старухи молча застыли у входа на кухню, как два темных куста с опущенными ветвями. Он пересек узкую комнату и, миновав никелированное кресло на велосипедных колесах, вошел в квадратную, светлую. Зеленый волнистый попугайчик тут же, порхнув, сел к нему на плечо.

Туманова полулежала на высокой кровати черного дерева среди нескольких больших подушек. Хорошо расчесанные старухами черные, как бы дымящиеся волосы тремя черными реками разбегались по розовым и белым с кружевами подушечным холмам. На белом, утратившем упругость мучнистом лице, на дерзко-алых губах постоянно жила насмешка над судьбой. В коричневатых тенях укрывались, приветливо сияли черные глаза.

Федор Иванович поцеловал ее в щеку и в висок. Наклоняясь, он увидел в ее волосах знакомую платиновую веточку ландыша с бриллиантовыми крупными продолговатыми цветками. Когда-то цветков было восемь, и все бриллианты были разных оттенков. Баснословная драгоценность подтаяла за эти семь лет, осталось только пять бриллиантовых цветков – белый, фиолетовый, розовый, зеленоватый и желтый. На месте остальных висели пустые платиновые чашечки.

– Куда же три алмаза дела? – спросил Федор Иванович нарочно грубым тоном. – Там же был и черный...

– Бы-ыл, бы-ыл! – ответила она таким же грубоватым тоном курящей фронтовички. – Целая история! Мой мужик-то, душа из него вон... Жени-ился!

Есть у некоторых врачей манера говорить с больными – громкий голос, бодрый тон, шутки. Мол, ничего страшного не случилось. А тут больная, да еще сильно обиженная, разговаривала со здоровым человеком таким же докторским веселым тоном, чтобы, чего доброго, не вздумали ее жалеть...

– Женился, паразит! Мужичья природа. Она завсегда свое возьмет! А уж кого облюбовал, ты бы посмотрел. В серьгах... Так я ему свадебный подарок. Машину купила. Мужичье и есть мужичье, машину любят больше, чем жену! Ну раз так – получи... Два камушка ушло. А потом родилась кроха, еще один продала. Крохе на зубок, хи-хи!..

– Ты мне про него раньше не говорила.

– А что было говорить? Был счастливый брак.

– Он здешний?

– Здешний. Каждый день в окно могу любоваться, как на работу идет.

– Тоже Туманов?

– Не-е, я не стала брать его фамилие, – она любила такой стиль разговора, – потому как фамилие его мне не понравилось. Самодельное. И вообще он был порядочный мерзавец.

– А что же ты...

– Такая вот была. Как розовая глина мягка под любящей рукой. Мне нельзя было делать аборт, потому как у меня после трамвайной катастрофы... Я говорила тебе? Ведь пятнадцать лет назад я угодила, меня угораздило, Федяка, в настоящую катастрофу. У-у! С жертвами! После нее-то и началось – ногу нет-нет да и приволокну. А он вот так руку мне на коленку кладет: «Делай, душенька, аборт, я тебе и доктора нашел...» После доктора этого и не встала больше. Самец он, это верно, хоть куда. Сейчас, правда, пожух.

Они замолчали. Волнистый попугайчик хлопотал на плече у Федора Ивановича, кланялся, шептал какие-то слова.

– Вот так, Феденька, я и лежу. До сих пор. Сколько мы не виделись? Семь лет? Иногда бабушки сажают меня вон в ту мансарду, как ее дядик Борик назвал. И мы катаемся по комнатам. Иногда и на балкон выезжаем. Я тут стала, Феденька, со скуки вейсманизм-морганизм изучать. Распроклятого Томаса Моргана достала.

– Не страшно?

– А что бояться? С меня, с инвалиды безногой, что возьмешь? Посадить захочешь – так надо же ухаживать! Я и так уже сижу... И Лысенку вашего тоже штудирую. «Клетки мяса», «клетки сала». Мне кажется, ваши враги ближе к существу. Смотри не напори ерунды...

– Где ж ты Моргана добыла?

– Это я буду отвечать на страшном суде. А тебе, Федяка, если и скажу, то когда-нибудь потом. Когда будешь без юридических полномочий.

Тут в комнате повис райский звук – будто ударили карандашом по хрустальной посудине. Туманова сунула руку под подушку. Рука у нее была полная, красивая... Вытащила микрофон на шнуре.

– Дядик Борик? – пропела она. – О-о! Вы даже вдвоем! Стефан Игнатьевич! Милости просим, тут вас ждут.

Оба вошли, разгоряченные спором, и за ними, как тень, Вонлярлярская. Стефан Игнатьевич поцеловал ручку Тумановой и, запустив палец за бантик на шее, покрутив гладко причесанной лысоватой головой, не разгибаясь – снизу, – пустил своему оппоненту шпильку:

– Может быть, где-нибудь зарыт под землей платиновый эталон добра? Что такое добро? Что такое зло? Дайте сначала *дефиницию*!

– Мы с вами сейчас будем спорить, а Учитель выставит нам отметку, – сказал высоченный Борис Николаевич, с плутоватым и добрым, длинным, как у борзой, лицом. При этом он радостно кивал, здороваясь с Федором Ивановичем, ловя его руку. Он снял свою инженерскую фуражку с кокардой и бережно положил ее на полку с книгами. – Пока мы шли, Федор Иванович, я вспомнил ваше историческое доказательство и уложил его на лопатки. Вот этого. Только ему мало оказалось. Видать, ничего не понял. Давай ему дефиницию. Вот ответьте, Стефан Игнатьевич, нужно спасать тонущего?

– Нужно. Ну и что? – Старенький Вонлярлярский со вздохом облегчения упал на стул.

Уселся и дядик Борик, перекинул ногу через колено, и Федору Ивановичу показалось, что одна нога инженера дважды, как тряпка, оплелась вокруг другой.

– А может быть, не нужно? – Дядик Борик обнажил беззубые десны.

– Ближе к делу! Ну и что?

– А почему нужно?

– Не знаю.

– Вот когда вы мне дадите дефиницию, почему нужно спасать, я вам дам вашу дефиницию – что такое добро.

– Почему, можно и раньше дать, – спокойно сказал Федор Иванович. – Только нужно – как яблоню выкапывают – подходить к стволу, начиная с самых тонких корешков. Вот скажите – вы признаете, что страдание абсолютно?

– С этим, пожалуй, согласиться можно. – Вонлярлярский наклонил голову, будто пробуя что-то на вкус. – Да, я согласен.

– Можно мне? – капризничая, вмешалась Туманова. – Феденька, а если мне нравится, чтоб болело?

– Тогда это не будет страдание! Это будет наслаждение! Ты не путай: причины страдания – да, могут быть разными. Но само страдание есть страдание. Оно не может нравиться.

– Я с вами согласен. И даже чувствую, куда вы хотите нас привести.

– Чувствуете, но не то, Стефан Игнатьевич. Вот на вас падает кирпич и причиняет страдание. Что это?

– Зло...

– Вот и неверно. Разве камень может быть злым? Разве в Библии не сказано – не обижайся на камень, о который ты споткнулся? Камень, гвоздь в ботинке – это безразличные обстоятельства, причиняющие вам страдание. И только. А вот если я желаю причинить вам муку и бросаю в вас камень. Как суд назовет этот поступок? Зло-на-меренным! Значит, зло – это качество моего намерения, если я хочу причинить вам страдание. Вот вам дефиниция.

– А если я, намереваясь причинить страдание, хочу через это страдание излечить человека? – спросила Туманова.

– Ну хитра! Все зависит именно от того, чего ты на самом деле хочешь: излечить или причинить страдание. Чего ты действительно хочешь, таково и твое намерение. Может, ты злая и хочешь, чтоб я страдал, а разговоры о лечении – маскировка.

– Феденька, я все поняла.

Борис Николаевич, как ученик, поднял руку:

– А если я хочу вам, Стефан Игнатьевич, доставить приятность – понимаете? То качество такого моего намерения – добро. – Тут он слегка поклонился сначала Тумановой, а потом, подчеркнуто, Вонлярлярскому. – Та же самая дефиниция, но со знаком плюс.

– Дядик Борик у нас отличник. Ему – пять с плюсом, – положил Федор Иванович резолюцию. – Но я, товарищи, не устаю удивляться, откуда эти разговоры об относительности? Ведь доброта и злоба иногда потребляются в чистом виде! Когда мне говорят доброе слово, не дающее ничего полезного для моего кошелька, я ничего не получаю! Ничего, кроме ощущения счастья! То же и со злом. Поймаешь взгляд, адресованный тебе, полный ненависти, и страдаешь. И так было три тысячи лет назад...

– Самый настоящий диспут! – воскликнула Антонина Прокофьевна. – Ты сейчас это все придумал?

– Семь лет носил. Нет, больше. Лет пятнадцать. С тех пор как сотворил свое первое дело, причинившее хорошему человеку серьезное страдание.

Опять в комнате повис поющий звук.

– Леночка! – радостно, но все же по-докторски воскликнула Антонина Прокофьевна. – Давай, давай! Скорей к нам! Охо-хо! Гость повалил!

Вошла Лена Блажко. На ней было сине-черное с мелким белым горошком платье. Вязаную кофту она уже сняла и держала в руке. Потом повернулась и бросила ее на спинку кровати. При этом свободном повороте она будто разделилась на две части – настолько тонким оказался перехват. «Если обнять, – подумал Федор Иванович, – обязательно коснешься пальцами своей груди, круг замкнется».

А она, как бы в ответ, повернулась к нему и посмотрела очень строго сквозь большие очки.

– Здравствуйте, – сказал Федор Иванович, смутившись.

– Здравствуйте, – ответил высоко над ним мужской голос.

Оказывается, сейчас же за нею вошел Стригалева. Он был на этот раз в малиновом свитере, глухо охватывающем тонкую кадыкастую шею. А седоватые вихры так и не причесал с утра.

– О чем гутарили? – спросил он, навалившись плечом на косяк двери.

– Разговор, Ванюша, был интересный, – сказала Туманова. – Жаль, тебя не было. О добре и зле. Кстати, Феденька, у тебя ведь было еще историческое доказательство. Давай-ка... его нам!

– Он доказывает, что добро и зло безвариантны, – задумчиво проговорил Вонлярлярский.

– Но ведь это верно! – воскликнула Туманова чуть громче, чем надо. – Если спас человека – почему спасший ходит кандибобером? Он открыл в себе нечто! Даже если нельзя никому рассказать – все равно!

– Мне кажется, – осторожно заметил Вонлярлярский, – он ходит, как вы сказали, кандибобером, потому что в доброте есть элемент эгоизма. Добрым поступком человек прежде всего удовлетворяет свою потребность в специфическом, остром наслаждении...

– Не то, – сказал Федор Иванович, почему-то темнея лицом. – Добро – страдание. Иногда труднопереносимое.

Все умолкли. Вонлярлярский легонько хихикнул. Стригалева округлил глаза и выразительно повернул голову, словно наставил ухо.

– Потому что добрый порыв чувствуешь главным образом тогда, когда видишь чужое страдание. Или предчувствуешь. И рвешься помочь. А почему рвешься? Да потому, что чужое страдание невыносимо. Невозможно смотреть. Когда мне в медсанбате сестра перевязывала рану, знаете, какое лицо у нее было... Такая была написана боль... Вот примерно так. А приятное ощущение возникает уже потом, когда все сделано. Когда спас и сам не утонул. Тут уж и кандибобером пройдешься! Так что никакого эгоизма в добрых делах нет, Стефан Игнатьевич. Если есть, это не добрые дела.

После некоторого общего молчания Туманова захлопала в ладоши, сверкая перстнями, и объявила:

– Ладно, хватит страданий! Ты, Феденька, идешь на кухню, там бабушки дадут тебе самовар. А остальные мальчики выдвинут на середину стол.

Самовар был из красной меди, весь в вертикальных желобках, он сверкал и шумел. Ручка крана была как петушиный гребень, вся медно-кружевная, особенная; чтобы открыть кран, ее надо было не повернуть, а опустить вниз. Федор Иванович принес самовар и утвердил на столе, который уже накрыли скатертью. Лена ставила стаканы и блюда. Сев в сторонке, Федор Иванович иногда хмуро поглядывал на нее. Он заметил, что у нее красивые темные, но не черные волосы, гладко начесаны на уши и заплетены сзади в хитрый лапоток. Карие глаза опять посмотрели на него в упор через очки. Еще заметил он ее широкие честные брови. «Она, должно быть, на редкость чистая душой, что ни подумает – сразу выдает движением» – такая мысль вдруг пришла ему в голову. Заметил он и чувственную пухлику маленького розового

рта. Но тут же увидел бритвенное движение губ и переносицы, отвергающее плоть. И подумал: «Ишь какая...»

– Что-то стаканы трескаются, – сказал дядик Борик. И за столом он был выше всех на голову. – Давайте, Леночка, налейте мне, а я загадаю, пустят меня за границу на конгресс или нет.

Все весело зашумели.

– Сейчас все полезут гадать. – Стригалева покачал головой. – Давайте, Леночка, наливайте мне тоже. Загадаю: утвердят мне докторскую степень?

В тишине запела струя кипятка. Стаканы не лопались.

– Не утвердят, – сказал Стригалева.

– Паразиты, – поддержала его Туманова.

– А вы будете гадать? – спросила Лена Федора Ивановича.

– Я не верю в судьбу. Еще одно разочарование...

– А во что вы верите?

– Ни во что не верю. Впрочем, налейте, загадаю одну штуку. В виде исключения.

– И что вы загадали? – спросил Вонлярлярский.

– Тайна.

«Если лопнет стакан, то, что мне кажется, – правда, и я на ней женюсь», – загадал Федор Иванович.

– Я тоже загадала на этот стакан, – сказала Лена и опустила кружевной гребень крана. Заклокотал, заиграл в стакане кипяток.

Все молчали. Подождя – может быть, лопнет, – Лена наконец подвинула стакан на блюдце Федору Ивановичу и торжествующе улыбнулась – словно знала все. Он шевельнул бровью и, несколько разочарованный, принял свой чай.

– Налейте теперь мне, – сказала Туманова.

Тут-то и раздался выстрел. Кому-то повезло с гаданием. Федор Иванович огляделся по сторонам, ища счастливого, и вдруг взвыл от ожога – это его собственный стакан лопнул, кипяток вытек на блюдце и промочил его брюки. Стакан целиком отделился от доннышка.

– Ничего себе цена! – шипел от боли счастливый Федор Иванович. – Заглянул, называется, в будущее!

Лена смотрела на него строго. «Что-то подозрительное ты загадал», – говорило ее лицо.

«Неужели и я так говорю лицом и глазами, и она читает?!» – подумал Федор Иванович.

– Федя, у тебя обязательно сбудется, – сказала Туманова. – Это тебе говорит квалифицированная гадалка. Но приготовься. Будет страдание.

– Так как же у вас все-таки обстоит с верой? – спросил Стригалева, глядя в свой стакан.

– Есть, Иван Ильич, три вида отношения к будущему и к настоящему, – с такой же серьезностью сказал Федор Иванович, выставляя вперед три пальца и загибая один. – Первое – знание, – он загнул первый палец, – основывается на достаточных и достоверных данных. Второе – надежда. Основывается тоже на достоверных данных. Но недостаточных. Наконец, третье, что нас сейчас интересует, – вера. Это отношение, которое основывается на данных недостаточных и недостоверных. Вера по своему смыслу исключает себя.

Сказав это, он нечаянно взглянул в сторону Вонлярлярского. Тот пристально изучал его. И тут же, немного запоздав, опустил глаза. Чтобы не смущать его, Федор Иванович отвернулся и встретил серьезный, несколько угрюмый взгляд Стригалева. И этот опустил задрожавшие веки. «Они все боятся меня», – подумал Федор Иванович и отвел глаза. И прямо наткнулся на строгий, внимательный взгляд Лены сквозь очки. Похоже, весь этот вечер Туманова устроила по их заказу – чтоб они «на нейтральной почве» могли присмотреться к Торквемаде. И дядик Борик потому сел рядом и даже иногда приобнимал его – он знал все и хотел поддержать Учителя.

Опять прозвучал хрустальный сигнал.

Это был Василий Степанович Цвях в своем командировочном, темном и несвежем, костюме, краснолицый, мускулистый и седой. Он появился в двери и окинул общество доброжелательным взглядом. Увидел Туманову, пронес свои желтоватые седины к ней, представился и, кланяясь, попятился к двери.

– Извиняюсь, – сказал он, вежливо дернувшись. – Я прервал вашу беседу.

– Васи-илий Степанович! – пропела Туманова баском. – С вашим участием она потечет еще веселей! Вот кого мы сейчас спросим. Вы не слышали нашего спора. Как вы считаете, Василий Степанович, может быть в добре заключено страдание?

– В добре? Вполне. Это была самая любимая тема моего отца. Я запомнил с его слов несколько цитаток. Одна как раз сюда подходит. «Сии, облеченные в белые одежды, кто они и откуда пришли? – Тут Цвях поднял палец. – Они пришли от великой скорби».

– Ого! – почти испуганно сказал Стригалева. – Это он сам сочинял такие вещи?

– Такие вещи не сочиняют, – сказал Василий Степанович с чувством спокойного превосходства. – Их берут из жизни, записывают... И текст сразу становится классическим трудом. Это Иоанн Богослов, был такой мыслитель. Ваш вопрос занимал людей еще тысячу лет назад.

Наступило долгое молчание.

– Василий Степанович... – осторожно проговорила Лена. – Мы тут гадали. Хотите погадать?

– Никогда не гадаю. Даже в шутку.

– Не верите в судьбу, а? – хитро подсказала Туманова.

– Вообще ни во что, – был скромный ответ с потупленными глазами.

Федор Иванович удивленно на него посмотрел.

– Позвольте, но когда-нибудь вы верили? Кому-нибудь... – осведомился Вонлярлярский, трясаясь от старости и изумления.

– Когда-то... Когда совсем не думал. Тут или думай, или верь... Но, товарищи, у каждого накапливается опыт. И у меня, значит, это самое...

– Еще один неверящий! – Туманова захлопала в ладоши. – И вы с нами поделитесь?

– А что делиться, дело простое. – Василий Степанович прошел к столу, уселся и хозяйским движением руки попросил себе чаю.

Лена ответила чуть заметным наклоном головы.

– Я могу позволить себе верить только на основе личного опыта, – сказал Цвях, принимая от нее стакан. – Личного опыта, который, к примеру, говорит: «Дед Тимофей всегда верно предсказывает погоду». Здесь я доверяюсь своему опыту, и получается уже не вера – а почитай что знание. А когда говорить про погоду берется неизвестный мне человек, тут я могу только притвориться для вежливости. Стало быть, никакой веры. Никаких призраков.

– Простите, простите... – послышался голос Вонлярлярского. Эти мысли для него были новы, и он странным образом крутил головой, чтобы они улеглись как надо. – Простите, – сказал он, – как же я могу жить в семье, если «никакой веры»?

– А зачем верить? Ты ведь знаешь, что они тебя не обманут. Простите, я хотел сказать: вы знаете. Так это же лучше, чем говорить им: «Я допускаю, что вы меня не обманете, я верю вам». Особенно если с затяжкой такой скажу. Нет! Я знаю вас! И безо всяких там колебаний, без веры отдаю вам все свое. *Берите!* – Иногда у Василия Степановича прорывался деревенский акцент.

– И в коммунизм нельзя верить, а можно только знать? – не отставал Вонлярлярский, округлив глаза, крутя головой.

Федор Иванович посмотрел на него с укоризной.

– Не можно, а нужно знать, – ответил Цвях. – Этим он и отличается от религии.

– В общем, да, конечно... А вы-то много знаете?

– Если честно сказать, очень мало. Не имею достаточных данных.

– Вот видите... А говорите, верить нельзя. Как же без веры?

– Очень просто. То есть, вернее, сложно. Ищу данные и буду искать, пока не найду.

– И тут данные! Вы не сговорились с Федором Ивановичем? – спросил изумленный Вонлярлярский.

– А чего сговариваться? К этому все придем. Зачем мне верить, что «а» есть «а», если я знаю это. Зачем мне верить, что «а» есть «б», когда я знаю, что это не так. Правда, современная мудрость говорит... Ну, пусть докажет. Верить – это значит передать свой суверенитет. Можно матери. Можно другу. Можно – испытанному авторитету. Испытанному. И все – до определенной точки. Я верю матери, но знаю, что она недостаточно образованна. И когда она говорит об эпилептическом припадке: «Возьми за мизенный палец, поддержи, и все пройдет», я мягко, чтобы не обиделась, обхожу ее совет. И никому я не поверю, кто мне скажет: «Возьми за мизенный палец». Даже если это будет говорить самый что ни на есть... Я вычеркиваю начисто всякую веру и отлично, товарищи, обхожусь одним знанием. А так как я знаю, что его у меня маловато, – тем более.

– То есть как? – изумился Вонлярлярский.

– А так. Не суюсь!

– Феденька, а почему это ты ни во что не веришь, можно узнать?

– Я? Тот же путь. Бывают встречи, столкновения... И налагают печать на всю жизнь.

– На тебе так много печатей? Видно, бедокурил в юности, так я понимаю?

– А кто в юности не бедокурил? – добродушно заметил Цвях. – Все бедокурят.

– Федяка, ты что-нибудь нам... Случай какой-нибудь из опыта...

– Расскажу. – И Федор Иванович посмотрел на Лену. – Пожалуйста, мне стаканчик чаю.

– Может, мужчины хотят водочки? – предложила Туманова. – Могу дать.

– Не-е, – Цвях отвел водку рукой. – С водкой так не поговоришь. Самовар! Наливайте полный самовар! Да чаю еще *заварить*!

Получив свой чай, Федор Иванович помешал в стакане ложечкой.

– Только это будет не та, не первая история, где добро и зло. Ту историю я пока поберегу. А вот некоторую сказку... Про черную собаку... – тут он страшно на всех посмотрел и добавил: —...С перебитой ногой... Черная такая была, аккуратная собачоночка. Она была не виновата, что родилась с красивой блестящей черной шерстью. Как будто черным лаком облитая... Не была она виновата и в том, что люди именно черный цвет называли цветом проклятия и несчастья. И тайной всякой пагубы. Не серый и не желтый какой-нибудь, а черный.

Он не спеша, чувствуя, что все заинтересовались и забыли о своем другом интересе к нему, отпил полстакана чаю.

– Вот так... Было это в Сибири, в тридцатом, кажется, году. Мне было двенадцать, и родители устроили меня на лето в деревню, к знакомому крестьянину...

– Не мешай! – гаркнул Вонлярлярский на жену, сбросил ее руку со своего плеча и уставился на Федора Ивановича.

– Ну, понятное дело, единоличник. Изба, амбар, рига. Спали мы с хозяйским сыном в амбаре на ларе. Хозяин, помню, все говорил о нечистой силе. «Не спите в амбаре, – говорит, – она в основном шебаршит там, где икон нет, – в амбаре да в овине». Ходил я с ними и в поле помогать. Весело работали. Весело и дрались с соседней деревней по праздникам. Да... Дрались-то дрались, а вот ведьму гнать объединились. Обе деревни. Сама ведьма жила в нашей деревне, на краю. Учительницей когда-то была. Все ее боялись. Хозяин говорил: ведьма как ведьма, очень просто. Чувствуете? Он так верил, что это казалось знанием! Ведьма она и есть. Как ночь – перекинется собакой черной и бегаёт по огородам, вынюхивает, значит. А корова потом молока не дает. И не ест ничего. «Не залюбила ведьма нас, – это хозяин говорит, – не подвез я ей дров. Некогда было, да и с ведьмой связываться кто захочет?» Все ему, хозяину,

было ясно... Вот и отправились две деревни и мы всей семьей. Родители, дочка – пятый класс, сын из техникума, шестнадцатилетний, и я, ваш покорный слуга. Чистим оба зубы «хлородонтом», а в нечистую силу верим! Под утро вернулись с победой. Черную собаку подняли на огородах, погнали. Наш Толя бросил удачно палку, перебил ей переднюю ногу. На трех ускакала. А на следующий день ведьма вышла из своей избы, мы глядь – а у нее рука замотана тряпкой. И на перевязи... А потом – через несколько дней – ведьма исчезла куда-то. Изба так и осталась пустая. Никто не селился. Думаю, учительница вышла специально – попугать дураков, посмеяться. Руку я сам видел. Ну а Толю я встречаю лет через восемь – он уже в этом районе пост занимал. В партии уже был. Я ему говорю: «А помнишь, Толя, как ты ведьме руку перебил?» Как он смутился, как заелозил! «Во-он что вспомнил! Глупость то была, детство, нечего и вспоминать». А сам оглядывается – разговор при публике был. Я думаю, у многих людей в жизни была такая встреча с черной собакой. Не только у отсталых крестьян. Гонят – и верят, что гонят ведьму...

– Собака и образованных навещает, – сказала Туманова. – Только тут собака породистая. Черненькая такая болоночка...

– Именно, – подтвердил Цвях. – Тут даже дело не в образовании, а в вытарашенных глазах. Бывает, образованный, а глаза вытарашит раньше, чем подумает. Я помню, в тридцатых годах прямо полосами находила на людей дурь. Безумие такое. Вдруг начинают выискивать фашистский знак, будто бы ловко замаскированный в простенькой и ясной картинке спичечного коробка. Ищут – и у всех вытарашенные глаза. И оргвыводы, понятно, для несчастного художника. Или на обложке школьной тетрадки вдруг высмотрят руку, протянутую к советскому гербу, – чтоб сорвать. И пошло – шепот на закрытых собраниях, отбирают у ребятешек тетрадки. В огонь! Знаний мало, вот и кажется всякое. Верят! В разную чертовщину...

– Вроде вейсманизма-морганизма, – подсказал Стригалева.

У гостей повеселели глаза. Но Цвях этого не заметил.

– Напомни им сейчас, кто остался жив, про тетрадки, про спичечный коробок. «Что-о? – закричат. – Еще что вздумал – в старье копать!»

– Я все же до конца не удовлетворен, – возразил обиженный голос Вонлярлярского. – Что же тогда нам делать с этими прекрасными стихами: «Честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой»?

– Там сказано, Стефан Игнатьевич, во-первых, «если». Если мир дороги найти не сумеет, – возразила Туманова. – А мир отыщет ее в конце концов. Я, во всяком случае, верю...

– Не верю, а надеюсь, – поправил ее Цвях. – А золотой сон – что? Одни будут спать, а другие – шарить у них по карманам. Где вера, там больше всего спешат от верящего что-нибудь получить. Авансом. Деньгами. Или подсунуть бумажку какую-нибудь подписать. Нет, сна не нужно. Только знание.

Когда гости начали расходиться, Туманова подозвала Федора Ивановича, потянула его к себе. Зашептала:

– Дай сюда ухо. Как тебе моя компания? Как тебе эта девочка? Не правда ли, хороша? У нее и жених подходящий, скажу я тебе.

– Кто?

– А вот стоял. Стригалева, ты с ним уже знаком. Они вместе работают над картошкой. У него есть кличка, студенты прозвали. Троллейбус, хи-хи-и! Ты их уж не трогай, когда начнешь свою ревизию. Хватит с него, он ведь уже сидел. За это самое – за Менделя. И твой брат к тому же, фронтовик. Ладно?

Поэтому, прощаясь с Леной, Федор Иванович был сух и даже невежливым образом продолжал разговор с Цвяхом, показывая, что очень увлечен. Это у него получилось само собой – он не смог бы иначе скрыть свое неожиданное страдание. Она же, держа его руку и слегка

пожимая, не отрывала глаз от его лица. Но пришлось все же оторвать, и, надев кофту, она поспешила к двери, за которой на лестничной площадке ее ждал этот угрюмый Троллейбус.

Даже тот, кто хорошо знает этот город, попав на его улицы вечером, каждый раз замечает некую особенность. Если днем город с его преобладающими двухэтажными домами дореволюционной постройки кажется однообразным и сонным, то с наступлением темноты он как бы оживает. Пестрота человеческих судеб, скрывающаяся днем в этих одинаковых грязно-желтоватых стенах, за одинаковыми окнами, отчетливо выступает, как будто ночью-то здесь и начинается настоящая жизнь. Вот яркий, как звезда, свет – как окно больничной операционной. Вот фисташковый – будуар русалки. Вот желтое окно – как стакан слабого чая. Вот – стакан вина. А вот искусственный дневной свет, мертвенный, как в морге. Здесь прячется от суда читающих газеты современников упорный идеалист-кибернетик. Или вейсманист-морганист кует свои вымыслы, идущие на пользу врагам человечества. Из тех, кто смотрел на этот город только днем, никто, конечно, не мог подумать, что здесь может родиться и даже прогреметь знаменитое групповое дело с участием профессоров и студентов.

Федор Иванович и его «главный» – Цвях медленно брели по тускло освещенным улицам, углубленно курили и молчали. И на них произвело впечатление живое разнообразие смеющихся и подмигивающих окон. Они прошли добрую половину пути, когда Василий Степанович вдруг сказал:

– Чем больше читаю, Федя, тем больше вокруг дремучего леса. Словно как поднимаюсь вверх над тайгой, и нет ей конца. А там, внизу, на чистой полянке, было все так ясно! Вот мы говорим, ругаем, насмехаемся, а она возьмет да и подтвердится.

– Кто?

– Кого ругаем. Лженаука...

Они прошли в молчании несколько шагов. Вдруг Василий Степанович остановился.

– Хошь, признаюсь, Федя? У нас за деревней, где я родился, в поле был холм. Вроде кургана. А на нем каменный крест. В двадцатых годах молодежь наша деревенская собралась – накинули на этот крест веревку и сдернули его, сволокли куда-то. Теперь он лежит даже не знай где. И я участвовал – всю жизнь, считай, этим подвигом гордился. А вот теперь маленько из истории узнал. Батый по этим местам проходил, татары. А в курганах-то этих русские кости. Наших защитников. Крест-то был, Федя, к делу поставлен. Видишь, чем я гордился всю жизнь!

Они опять двинулись дальше. Цвях развел руками:

– Куда деваться! Переучиваться? Делать все наоборот и понимать наоборот? А будет ли толк? Стоит ли вносить этот хаос в башку, когда для дела нужна максимальная ясность?

– Вносишь все-таки не хаос, а ясность...

– Так раньше тоже считали – уж куда ясней. И новую ясность ведь пересматривать придется, черт ее...

– А не вносить ясность – еще больше будет хаоса. Тогда надо, в вашем-то случае, историю перемарывать. Вычеркивать заслуги людей, страдания, кровь... В нормальной человеческой душе всегда должны оставаться хоть несколько процентов ее объема – для сомнений. Это чтобы не было потом хаоса...

Спать ложились, не зажигая света. Разуваюсь, Цвях кряхтел:

– Да-а-а... Вот ты ревизовать приехал. Ре-ви-зо-вать! Значит, у тебя этих процентов сомнения нет? Чего молчишь?

Василий Степанович затих, дожидаясь ответа. Но не дождался.

– Ты хорошо сегодня утром выступал, – проговорил он, почесываясь. – Это правда, наша наука другая. Ей свойствен наступательный характер. – Цвях, видно, убедил себя в чем-то и успокоился. – Ни к чему ей эти несколько процентов в душе. Пятая колонна сомнений. Мы

опираемся на надежный фундамент. Потому и в разговоре с ними, это верно, ты умеешь взять нужный тон. Убеждаешь...

– А вот про кукушку – вы это уже слыхали, Василий Степанович? Что она вовсе не несет яиц, а просто скачкообразно возникает как новый вид в яйце другой птицы... Определенного вида... В результате условий питания... На какой же это фундамент может опираться?

– Слышал, слышал. Да, это высказывание и меня, пожалуй, озадачило. Ну да... Но ведь и Иосиф Виссарионович нашего академика не одернул. А уж Иосифу Виссарионовичу не откажешь в знании диалектики.

Сосед затих, Федор Иванович начал согреваться под одеялом. Он уже представил себе Елену Владимировну, как она ходит среди людей – чистая, слегка приветливо кланяясь каждому, с кем встретится глазами... Вдруг ему показалось, что в комнате кто-то шепотом позвал: «Вася, Вася, Вася...» Вздвогнув, он широко открыл глаза и, поняв, в чем дело, рассмеялся. Это Василий Степанович в раздумье чесал волосатую грудь. Потом совместил этот звук с обширным вздохом.

– Галстук не снял. Думаю: что мешает? Надо же, рубашку снял, а галстук остался. Тоже когда-то был черной собакой. Отрекались ведь от него...

Он опять почесал грудь.

– Думаешь, я не повышаю уровень? Знаешь, чем больше повышаешь, тем больше сомнений родится. Вот наследственное вещество. Мы его так легко ругаем. Во всех учебниках. А в чем же еще наследственность, как не в веществе? – Цвях возвысил голос, даже со слезой: – В святом, что ли, духе? Третьего-то места ведь нет!

III

– Вот все говорят: интеллигенция! – громко провозгласила тетя Поля, войдя со щеткой и ведром в комнату, где легким утренним сном спали члены комиссии.

– Опять разоряешься, Прасковья? – спросонок пробурчал Василий Степанович.

– Да еще поэт! – Тетя Поля прыснула и покачала головой. – Сундучок... Хотела выкинуть. Пора, думаю, пятьдесят ему лет, если не боле. Весь растрескался, крышка болтается. Кинула за сарай. Так этот, бородатый, в женских туфлях, тут крутится. Как Золушка. Сначала кругами ходил. Я думаю: что такое, не студентку ли где присмотрел? Потом хватъ сундучок – да ловко как! – и засеменял, засеменял... Беда с вами, с интеллигентами!

– Выдумывай! На что ему сундучок?

– Он знает на что. Пригодится. Вас сегодня когда ждать?

– Сегодня мы уходим в учхоз. До вечера...

Они пришли в учебное хозяйство к девяти. Пройдя ворота, Федор Иванович увидел поле, разбитое на множество делянок. Среди делянок двигались фигуры – студенты и пожилые преподаватели с раскрытыми журналами. По вспаханному краю поля в сопровождении группы студентов ехал гусеничный трактор, волоча какую-то сложную систему из колес и рычагов. Вдали стояли две ажурные оранжереи. Туда и направилась комиссия.

– Наверно, все собрались сейчас там и смотрят на нас из-за стекол, – сказал Цвях. – Ждут.

– Могло бы быть и наоборот, – заметил Федор Иванович. – Могли бы они нас проверять.

– Это ты верно. Если бы ихняя взяла...

Сегодня был первый основной день ревизии – проверка работ в натуре, первый решающий день. Федор Иванович где-то в глубинах своего «я» чувствовал боль – там уже зародилась туманная и болезненная симпатия к Стригалеву – может быть, из-за того, что Троллейбус не только сталью зубов и не только повадками был похож на одного геолога, которого уже не было в живых и по отношению к которому в душе Федора Ивановича осталась кровоточащая царапина неискупленной вины. Ведь Троллейбус к тому же и сидел...

Новая рана назревала, уже начинала чувствоваться – ведь Федор Иванович «рыл яму» не под кого-нибудь, а именно под того, кто был женихом Лены. Прямо как кроткий царь-псалмопевец Давид, который возжелал Вирсавию и потому послал ее мужа Урию в самое пекло войны, чтобы там его убили. «Удивительно, – невесело подумал Федор Иванович, – что ни случится в жизни, какая ни сложится ситуация – ищи в Библии ее вариант. И найдешь!»

Они вошли в боковую дверцу и оказались в теплой застойной атмосфере оранжереи. Действительно, у выхода собрались человек восемь, и среди них – Стригалева в сером халате, как бы наброшенном накрест. Последовали рукопожатия, несколько шуток были выпущены на волю. Как весенние мухи, они не взлетели, а проползли слегка и замерли, дожидаясь тепла. Вежливый смех только усилил напряженность. Федор Иванович сразу определил нескольких «своих», то есть четких приверженцев так называемого мичуринского направления. Они предлагали начать с них и весело листали журналы, готовясь демонстрировать свои достижения.

– Ну что ж, – сказал Федор Иванович и сам почувствовал, что глаза его нервно бегают, ищут кого-то и не находят.

Лены здесь не было. Хотя нет, и она была здесь, стояла позади Стригалева. Но, увидев Лену, он потерял уверенность – ему нельзя было теперь смотреть в эту сторону.

– Пожалуйста, начнем. Чьи это работы? – хрипло проговорил он, подходя к стеллажу, на котором плотно, один к другому, стояли глиняные горшки с темно-зелеными картофельными кустами. Федор Иванович сразу определил, что это прививки, – здесь занимались влиянием подвоя на привой и обратно – по методу академика Рядно.

– Это мои работы, – сказал пожилой бледный человек с угольными бровями и черными, глубоко забитыми, как гвозди, печальными глазами. – Моя фамилия Ходеряхин. Кандидат наук Ходеряхин. Здесь представлены несколько видов дикого картофеля, а также культурные сорта «Эпикур», «Вольтман», «Ранняя роза»...

Он долго, как экскурсовод перед группой провинциалов, приехавших в ботанический сад, показывал культурные и дикие растения. Кусты имели хороший вид. Темные плотные листья блестели.

– Азота многовато кладете, – сказал Федор Иванович.

– Для опытов по вегетативному взаимодействию это не мешает, – парировал Ходеряхин и продолжал свой пространственный доклад.

Федор Иванович, склонив голову, слушал и все плотнее сжимал губы.

– Простите, я вам помогу, – прервал он наконец Ходеряхина. – Вы, товарищ... пишете вот здесь, в московском журнале, о достигнутых вами результатах. «Сорт „Эпикур“, – это ваши слова, – будучи привит на сорт „Фитофтороустойчивый“, приобретает ветвистость куста, листья утрачивают свою рассеченность... – и так далее. – ...Листья сорта „Ранняя роза“ при прививке на „Солянум Демиссум“ становятся похожими на листья этого дикаря» – и тэ дэ...

Он сам слышал, когда читал, посылая эту еще в пути заготовленную торпеду в несчастного Ходеряхина, что собственный его голос стал голосом ласкового и неподкупного Торквемады. И не мог ничего с собой поделать.

– Пожалуйста, товарищ Ходеряхин, покажите нам эти работы, – попросил он.

Ходеряхин, с мукой глядя ему в глаза, выставил вперед горшки с картофельными кустами.

– Правильно, «Эпикур», – сказал Федор Иванович. – А где же утрата рассеченности у долей листа? Вот здесь, в статье, вы даете фотографии, иллюстрирующие изменение рассеченности. Вы, конечно, знаете, что у всякого сорта картофеля рассеченность листьев меняется в зависимости от положения на стебле. У листьев, взятых в середине стебля, она наибольшая и уменьшается к вершине и основанию. Правильно я говорю? Почему же вы... – Федор Иванович сильно покраснел. Он убивал Ходеряхина и одновременно страдал за него. – Почему, спрашиваю я, если вам надо показать повышенную рассеченность, вы фотографируете средний

лист, а если хотите нам подчеркнуть малую, берете лист у основания или у вершины, где вам удобнее? Ведь это называется знаете как? Подгонка данных эксперимента под теорию!

Муху было бы слышно, если бы она пролетела в оранжевое.

– Кассиан Дамианович смотрел эту работу, – сказал Ходеряхин. Глубоко вздохнул и затаился.

– Еще вы пишете вот здесь, в журнале: «Синеклубневый „Фитофтороустойчивый“, привитый на розовоклубневый сорт „Ранняя роза“, меняет окраску клубней подвоя. В одном кусте находим белые, слабо-фиолетовой окраски, бледно-розовые, бледно-фиолетовые...» Дайте, пожалуйста, мне эти клубни. Та-ак. Этот клубень отложите, он потемнел от света. А эти бледные... – Держа в дрожащей руке картофелину, Федор Иванович уставился в лицо Ходеряхина. – Ведь это же «готика»! Вы слышали такое слово? Это же вирусная болезнь, при ней, как сказано в учебниках, клубни удлиняются, число глазков увеличивается, а окраска бледнеет... Это и есть ваш результат прививки?

– Это и есть... – шепнул Ходеряхин, как бы повеселев, упрямо и со злобой.

– Негусто... Боюсь, что нам придется давать еще одну статью о ваших экспериментах. Вы пишете, Василий Степанович? Пожалуйста, пишите. Это важно.

На очереди стояли несколько аспирантов Ходеряхина – каждый около своих растений. Подобравшись, как для битвы, уже не видя ничего, кроме очередного горшка с картофельным кустом и очередного прячущего тревогу лица, Федор Иванович проходил от одного стеллажа к другому и уже не столько проверял, сколько учил молодых людей.

– А вы не пробовали вырезать глазки из клубней цилиндрическим сверлом для пробок? – слышался его уже спокойный, мягкий голос. – Попробуйте, это очень удобно, и привой точно входит в вырез на клубне подвоя.

– Никаких мало-мальски достойных внимания результатов, – вполголоса сказал он Цвяху.

Кто-то все-таки услышал – шепот порхнул среди людей, стоявших поодаль.

– Здесь уже мои растения, – пропел у него над ухом чей-то снисходительный тенор. – Кандидат наук Краснов.

– Знакомая фамилия, – сказал Федор Иванович, задержав взгляд на тонком и извилистом носе вежливо склонившегося к нему лысоватого спортсмена со значком. – Я читал вашу статью, товарищ Краснов...

– Мною... нами было замечено... – начал докладывать спортсмен и, выпрямившись, развернул тяжелые плечи, но привычная сутулость опять стянула их, пригнула книзу, – было замечено, что сорта «Лорх» и «Вольтман», которые росли по соседству с местным сортом «Желтушка» – через дорогу... опылились пылью последнего, которая подействовала и на клубни обоих сортов... Последние стали в большинстве похожи на клубни сорта «Желтушка»...

– Это я все читал в вашей статье, – сказал Федор Иванович и умолк, медленно краснея. Помолчав, спросил: – То есть вы хотите доказать, что если мать – блондинка, а отец – брюнет, то не только их дитя будет черноволосым, но и у матери глаза и волосы должны в ходе беременности почернеть... Таких случаев наука еще не знает. Следующей весной вы, наверно, повторите ваш эксперимент?

– Зачем? – оскорбленно, но сдержанно передернул тонкими девичьими бровями Краснов. – Я уже другой запланировал.

– А известно ли вам, товарищ Краснов, что картофель не перекрестное, а самоопыляющееся растение? Вы же вуз кончали! Пыльце вашей «Желтушки» здесь нечего делать. Это вы представляете себе? Да она и не перелетит через дорогу!

Краснов, странно улыбаясь маленьким ротиком, глядел в сторону. Федор Иванович, окинув его фигуру быстрым взглядом, невольно задержался на громадном красно-фиолетовом кулаке, который двигался вниз, как самостоятельное живое существо. «Что он там делает?» –

подумал Федор Иванович и сразу увидел стиснутый в кулаке теннисный мяч. «Ага, он тренирует кулак», – осенила догадка. Шевельнув бровью, он покачал головой:

– Товарищ Краснов! Я вижу, вы не согласны. Но вы должны это знать: картофель не ветроопыляемое растение. У него пыльца не как у злаков, не может летать. Она тяжелая, как крахмал. И устройство пыльников – они никогда не раскрываются полностью. Там есть такая маленькая пора – и через нее пыльца просыпается по мере созревания, прямо на собственное рыльце. Понаблюдайте, насекомые не посещают цветков картофеля – там нечего брать. И не потому, что пыльца какая-нибудь невкусная. Я сам, еще студентом... Останется, бывало, в пробирке лишняя пыльца картошки – высыпал ее на прилетную доску в улье. Пчелы мигом всю подбирали! Поняли? То, что вы говорите, физически невозможно: тяжелая пыльца, если не прилипнет к рыльцу, отвесно падает на землю. Слава богу, очень рад, что не могу назвать ваш опыт каким-нибудь таким словом... Здесь, к счастью, просто полное незнание того, с чем имеешь дело. Ох, ох, товарищи... Что это – два часа? Нет, на сегодня я уже мертвец...

– Продолжим завтра? – сказал Цвях.

– Вот именно. – Странно мигая одним глазом, шевеля гибкой бровью, Федор Иванович пошел из оранжереи.

Цвях еле поспевал за ним:

– Уж больно ты их... Без снисхождения. Касьяну не понравится. Что это с тобой?

– Но почему он напечатал их статьи в своем журнале! – Федор Иванович остановился. – Почему Касьян их напечатал!

– Ладно, Федя, хватит правду искать. Пошли в столовую.

В столовой Федор Иванович сел за какой-то стол, чем-то закусывал, что-то брал ложкой из тарелки и все смотрел куда-то сквозь стены. Он не видел, что через стол от него прошли и сели Стригалева с Еленой Владимировной и несколько аспирантов. Лена что-то крикнула, и Цвях ответил, а он только оглянулся на них, ничего не понимая.

– Произвели они, однако, на тебя впечатление, – заметил Цвях, принимаясь за лапшевник.

Пообедав, они сели на лавку около столовой и закурили.

– Что будем сейчас делать? – спросил Цвях.

– Я прогуляюсь часок.

– А я, по старой испытанной привычке, пойду лягу поспать. Лапша человека вяжет, он набухнет и спать ляжет.

И как только Цвях скрылся за воротами учхоза, из столовой быстро вышла Елена Владимировна. Федор Иванович в это время подобрал около лавки лежавшего на спине красивого жука-скрипуна. Его облепили муравьи и уже раскидывали умишками, как бы начать его заживо жрать. Федор Иванович старательно обдул муравьев. А думал о Стригалева. «Хорошо, что отложили на завтра», – думал он, рассматривая жука. Это был большой узкий жук с живыми черными глазами, с длинными усами, похожий на интеллигентного дореволюционного авиатора в черном жилете из блестящего шелка, застегнутом доверху. А сюртук на нем был темно-серый, в мелкую светлую крапинку.

– Можно около вас сесть? – спросила Елена Владимировна, садясь. – Что вы тут делаете? Ого, кто у вас!

– Вот видите, жук... скрипун.

Налюбовавшись, Федор Иванович осторожно посадил жука на землю, и «авиатор» бросился наутек, взмахивая ногами, как тростью, и не теряя осанки.

– Как вам наши генетики и селекционеры?

– Выше всяких похвал. Чудеса!

– Какие у вас планы на сегодня? – Она нагнулась и пальцем провела на земле дугу.

Он вопросительно посмотрел.

- Вы не слышали вопроса? – спросила она.
- Я ответил пантомимой.
- А вы словами ответьте. И по существу.
- Сейчас я пойду куда-нибудь. Только природе страдания незримые духа дано врачевать.
- Давайте врачевать вместе. Я покажу вам наши поля.
- Давайте, – сказал Федор Иванович ленивым голосом.
- Она взглянула на него удивленно.
- Может, подождем Ивана Ильича? – спросил он.
- Иван Ильич уже ушел. – Она еще холодней посмотрела на него сбоку, начиная розоветь.
- Тогда пойдемте. – Он решительно поднялся.

И они долго шли молча куда-то, вдоль какой-то канавы. Лицо Елены Владимировны постепенно заливала лихорадочная пунцовость.

– Слушайте, – сказала она, решившись и отойдя от него вбок шага на два. – Вы сегодня не похожи на себя, на вчерашнего. Вонярярский сказал бы, что у вас пропала коммуникабельность. Давайте как пассажиры дальнего поезда, как случайные пассажиры, попутчики... Вы не знаете меня, я вас. Вы ведь уедете.

- А отвечать кто будет за разговор? Тот, кто задает вопросы?
- Да... Вы уедете – и разговора не было!
- Ну, пожалуйста. Задавайте вопросы.
- Где ваша коммуникабельность?

– Я катапультировался.

– Что это означает? – Все так же лихорадочно, но весело она посмотрела на него.

– Нажимаю на кнопку – и меня выстреливает. Потом раскрывается парашют, и я мягко приземляюсь в другом мире, где и слыхом не слыхали о каких-то моих... неполадках на борту.

– А самолет?

– А самолет летит дальше.

– И разбивается?

– Мне с земли не видно. А потом, там еще есть первый пилот. А я и не летчик. Дилетант без диплома.

– А если первого пилота нет? Самолет ведь может разбиться. Дилетанту без диплома и поднимать его в воздух нельзя было. Это государственная собственность.

– А я и не поднимал. Как я в самолете оказался – сам не знаю. Вижу, экипаж укомплектован. Перегрузка. Вот и нажал поскорей... Что – я не прав?

– А кто вам сказал про экипаж? – с раздражением спросила Елена Владимировна.

– Вчера одному товарищу... диспетчеру... показалось, что я проявляю дилетантский интерес к авиации...

– Ах вот!.. Теперь все ясно. Вечно она меня замуж выдает! Нет никакого пилота, поняли? И никто вас не вызовет на дуэль, так что давайте разговаривать и катапульту не трогать.

– Дайте честное слово, – сурово потребовал Федор Иванович.

– Ну, даю. Честное слово.

– Хорошо. С чего же мы начнем?

Она начала искать что-то на краю канавы. Потом наклонилась и сорвала какой-то жиденький стебель с желтыми цветками.

– Природа сейчас излечит нам все страдания незримые. Что это такое? Я в первый раз вижу.

– Это? – Федор Иванович взял стебель, свел брови. – Это действительно нечасто встретишь. Потентилла торментилла – вот что это. Калган. Слышали такое название?

– Ого! – Она почти с ужасом на него посмотрела. – Ничего себе... Я бы ни за что не определила. Потентилла – как дальше?

– Торментилла. Калган, или еще его называют лапчатка. А вот я сейчас... Сейчас я вам... – Поискав в траве, он сорвал что-то. – Что это?

– Плантаго! – торжествуя, сказала Елена Владимировна.

– А какой плантаго? Подорожников много. Майор, медиа...

– Ну, это, конечно, не медиа...

– Майор. Плантаго майор. Видите, черешок длинный и желобком.

– Хорошо. Федор Иванович, а почему страдания незримые? – Она заглянула ему в лицо.

– Разве вы ничего не видели?

– По-моему, торжество справедливости должно вызывать прилив...

– Но это так неожиданно, это торжество... Я вам прямо скажу: такие дураки мне еще не попадались. Да еще среди «своих».

– Ну, у наших с Иваном Ильичом ребят такого вы не найдете. Если мы и будем вас надувать, то по крупному счету. По рыцарскому.

Они остановились. Он посмотрел ей в глаза. Она не отвела взгляда.

– Имейте в виду: я буду глубоко копать, – сказал он.

– Ну и что? Вот вы копаете и устанавливаете, что я морганистка, льющая воду на мельницу...

– А это я и так знаю. Я читал вашу диссертацию. По-моему, о преодолении нескрещиваемости... Там есть спорные места... Так что ваше лицо мне ясно. – Посмотрев ей в лицо, он улыбнулся. Она так и подалась к его улыбке. Но он ничего не заметил и не понял возникшей паузы. – Как вы учите студентов, мы знаем, – продолжал он. – Цвях сидел в вашей группе. Говорит, товарищ Блажко учит студентов правильно.

– Но я чувствую, Федор Иванович, по вашей хватке, кому-то из нас придется сушить сухари. А? Это не мои слова. У нас на кафедре об этом шепчутся многие.

– Лично я выгнал бы этих двоих... И больше никого. Пока...

– Вы сейчас сказали рискованную вещь. Я вижу, вы мне верите.

– Нет. Не верю. Но знаю, что вы меня не продадите. И потому отдаю вам все мое. Берите! Они оба засмеялись, и обоим стало хорошо.

– Откуда же у вас взялось это знание? Сколько мы знакомы? Два дня!

– Я вам сейчас изложу мою завиральную теорию. У нас, Елена Владимировна, в сознании всегда звучит отдаленный голос. Наряду с голосами наших мыслей. И наряду с инстинктами. Мысли гремят, а он чуть слышен. Я всегда стараюсь его выделить среди прочих шумов и очень считаюсь с ним. По-моему, тут обстоит так: ни один человек не может скрыть свою суть полностью. Скрывается то, что может быть схвачено поверхностным вниманием. А голос – отражение наших бессознательных контактов с той сутью, которой никому не скрыть. Хотя бы потому, что эту суть сам человек в себе не может почувствовать. Животные, на мой взгляд, руководятся больше всего отдаленным голосом, он у них более развит и не заглушается никаким стуком сложных умственных деталей. Поэтому животные не лгут.

– Возможно, что все так и есть. – Елена Владимировна тронула его руку. – Голос правильно шепнул вам, что я не выдам.

Федор Иванович слегка смутился от этого избытка взаимной откровенности и потому кинулся к природе – шагнул в траву и стал искать что-нибудь редкостное.

– Вот, – сказал он. – Вот. Что это?

– Щавель! – Взяв у него красный стебелек с острыми листками, Елена Владимировна пожевала его. – Самый настоящий «Румекс».

– Не спешите с ответом, товарищ Блажко. Род «Румекс» состоит из нескольких видов. И все щавели. Вы... Что вы жуете?

– «Румекс ацетозелла», – сказала она и пошла вперед, торжествуя и покачивая головой вправо и влево.

Действительно, природа сразу поставила все на место, погасила все неловкости.

Они давно уже вышли через калитку из пределов учхоза и теперь брели по каким-то межам среди каких-то пашен к чернеющему институтскому парку, заходили ему в тыл. Елена Владимировна шла впереди, иногда оборачиваясь к нему и предлагая очередную ботаническую загадку, и он, роняя удивляющие ее безошибочные ответы, любовался ею, ее особенной женской мощью, которая так и заявляла о себе. Это была маленькая, веселая, недоступная крепость. Лишь взглянув на эту девушку в очках, мужчина должен был отступить, угадав в ее натуре требования, соответствовать которым в состоянии далеко не всякий. Она все время двигалась в чуть заметном танце, в безоблачной меняющейся игре, и ее пальцы и все прекрасные узости фигуры в сером подпоясанном халатике непрерывно писали тексты, читать которые дано не каждому. Он еще вчера, с первых же минут навсегда отказался говорить ей безответственные приятности, которые, как и цветы, принято подносить женщинам. Строжайшее предупреждение на этот счет прочитал он в ее сдвинутых черных бровях. В них и была вся сила. И сегодня эти брови хоть и разошлись, но все время были готовы к жестокой расправе.

Обойдя с тылу почти половину парка, они перешли по мосту из бревен овраг с бегущим по его дну ручьем, притоком громадной реки, что незримо присутствовала, укрывшись за парком. Начались первые шестиэтажные дома города из серого кирпича.

– Дальше меня, пожалуйста, не провожайте, – вдруг сказала Елена Владимировна.

Взглянув на ее строгие брови, он, конечно, и не подумал показать ей свое удивление. Он тут же скомкал все свои пожитки и даже отступил на полшага.

– Я, собственно, и не...

Но Елена Владимировна объяснила:

– У меня гора дел. Надо сходить в магазины. А потом я иду к Тумановой. Сегодня я варю ей борщ.

«Вот этого бы не следовало ей говорить, – почему-то шепнул ему отдаленный голос. – Никто не требовал от нее таких уточнений».

– Превесма... – сказал полушутливо и, как на шарнире, повернулся было, чтобы идти.

Но она стояла с протянутой рукой. «Все еще катапультируетесь?» – говорило ее лицо.

Он пожал ей руку. «Я ведь катапультировался еще вчера, – ответила его изогнутая бровь. – Сейчас я стою на твердой земле, вдали от всяческих летательных аппаратов».

И он пошел, не оглядываясь, к парку, туда, где розовели вдалеке стены институтских зданий.

Он вошел в комнату для приезжих и увидел там своего «главного». Василий Степанович сидел на койке и закусывал. Перед ним на стуле была расстелена газета, на ней он расположил сваренные еще дома крутые яйца, растерзанную селедку, измятые в чемодане домашние пирожки. Тут же лежала книга Энгельса «Диалектика природы».

– Давай подсаживайся, Федор Иванович, – сказал он. – Поможешь дошибать припасы, а то завоняются. Москва сейчас будет звонить. Докладывать буду Касьяну про наши успехи.

Федор Иванович подсел и взял пирожок.

– Понимаешь, Федя, – Цвях ел, энергично двигая всем лицом, – понимаешь, смотрел я на тебя сегодня. Здорово ты знаешь свое дело. Здорово, ничего не скажешь. Правда, иногда ловлю себя: чем же кончится такая наша ревизия? Я бы один всех бы подряд одобрил. И Ходеряхина этого, и Краснова. Здорово ты их накрыл. Как они до сих пор держались? У меня, конечно, знания не то что у тебя. Я практик. Доктора мне дали за результаты. Мне дед мой и отец – они были любители-селекционеры – столько оставили материалу, столько всего наоставляли, что мне и делов было – только осваивай да выдавай подготовленные почти за сто лет сорта. Две яблони у меня уже давно районированы. А ведь и это далеко не все. Ну а научное обоснование

– тебе-то покаюсь – академик Рядно и Саул мне приделали. Саул этот ох и языкатый, сволочь, не дай бог к нему под горячую руку попасть. Ни одного живого места не оставит.

Задрезжал телефон. Цвях схватил трубку и, вытирая рот, покраснев, вступил в переговоры с Москвой:

– Ай?.. Да-да! Заказывал. Повторитя, барышня... Ай? Академик Рядно? Касьян Демьянович?

– Я тебе говорил, – как комар, запищал в трубке ответный голос, и Цвях чуть отвел ее от уха, чтоб слышал Федор Иванович. – Какой я тебе Касьян? Кассиан Дамианович. Ну-ка повтори...

– Кассиан...

– Я ж тебе говорил! – Академик загоготал весело. – Хоть я и народный, а имена у меня византийские. Императорские. Вот так, Вася. Ну, докладывай, как там наш молодой...

– Ой, не говорите, Кассиан Дамианович! Молодой, да ранний. Чешет так, что пыль и перья... С первой встречи как даст!.. Нотацию им провел, мозги на место поставил. Ну а сегодня работы смотрели. Нет, нет, формальных генетиков пока не трогали. Тут же с наскоку не возьмешь – надо присмотреться. Но Федя нанюхает, он крепко берет. Дело зна... Ай? Двоих наших пришлось... Окоротили. Чистая фальсификация. Да они и сами понимают, растерялись. Оглоблей хотели в рот заехать, думают, пройдет... Ходеряхин и Краснов...

– Странно, – пропищала трубка. – Ну да... Они согласились?

– Тут соглашайся не соглашайся, Кассиан Дамианович... Знаешь, когда за руку схватят, а в руке-то краденый кошелек...

– Ну ладно. Только расстроил... Хотя материалы все равно поступят ко мне. Посмотрим. Ну а как вейсманистов, еще не щипали?

– Завтра с утра.

– Ну, давай...

Цвях положил трубку. И сразу же телефон опять зазвонил.

– Кого еще черт несет, – недовольно проговорил Василий Степанович и поднес трубку к уху. – Алло!

– Меня! – отозвался вкрадчивый, но звонкий голос. – Меня несет черт, Василий Степанович! Как там Федяка, на месте?

– Здравствуйте, Антонина Прокофьевна! – Федор Иванович перехватил у него трубку. – На месте, на месте!

– Здравствуй, Федяка. Это я тебе решила позвонить. Думаю, дай-ка передам ему, что про него в институте дамы говорят. Хочешь знать? Там есть такая Шамкова. Анжелка. Аспирантка. Она тебя приметилла и говорит другим кафедральным дамам: «Вот этот, который приехал нас проверять. Заметили, какой он корректный, обходительный, какая выдержка, такт. Ну, настоящий педант!»

Федор Иванович рассмеялся было, но что-то перехватило ему горло. И он, выждав для приличия паузу, спросил легким голосом:

– Ну как, хороший борщ вам сварилла Елена Владимировна?

– Не то слово. За уши не оттянешь. Вот только что кончила обедать. Ты знаешь, когда он постоит суточкы, настоится – ложку проглотишь!

– Вот и дали бы постоять!..

– Сколько же ему стоять? Вчера ведь варила...

– Та-ак... А что варила сегодня?

– Сегодня ей нечего у меня делать. Ты что, шпионишь за нею? Федяк!

Федор Иванович не мог прийти в себя от разочарования. Стоял с трубкой у уха и гладил себе голову.

– Ты куда запропал?

- Да не запропал, тут стою...
- Слушай-ка, есть хорошая идея: пригласи ее в кино! Ты очень строгий ревизор? Можно тебе?
- А что?
- Только молчок, хорошо? Ей нужно с тобой поговорить. Они там, бедняги, что-то предчувствуют...
- О сухарях, что ли? Уже поговорили.
- Да? Какой же ты молодец у меня! Я ей так и сказала: «Не бойся, его надо прямо спросить, он темнить не будет, это не в его натуре».
- Да-а... – сказал Федор Иванович. – Да-а... В общем, все так и должно быть...
- Положив трубку, Федор Иванович опустился на койку рядом с «главным».
- Ты что? – спросил тот, глядя на него с подозрением.
- Да так как-то, Василий Степанович. Катапультироваться надо...

На следующий день к девяти часам они подошли к оранжереям. Они вошли в ту же дверь, что и вчера, окунулись в теплынь, и так же встретила их настороженная группа человек в восемь, и среди них, как всегда, несколько угрюмый Стригалеv, совсем плоский в своем халате, и Елена Владимировна, устремившая на Федора Ивановича сияющий лаской взгляд. Все поздоровались, и, как вчера, завязался непринужденный, полный напряжения разговор.

– У ректора, вернее, у Раечки, секретарши, книжечка интересная лежит, – негромко и между прочим обронил Стригалеv. – Я думал, железнодорожное расписание...

Федор Иванович посмотрел на часы. Надо было начинать.

– Раскрыл, – продолжал Стригалеv, – внутри тоже как расписание поездов – столбцы. Вроде со станциями и полустанками. А потом смотрю: батюшки-светы! Это фамилии! И знаете, что оказалось? Нет, не угадаете. Приказ министра Кафтанова об увольнении профессоров и преподавателей, как там сказано, «активно боровшихся против мичуринской науки».

Федор Иванович опустил голову:

– Ваш институт тоже упомянут?

– У нас же еще ревизия не кончилась, – вставил статный Краснов, слегка выпятив фарфоровые глаза наглеца. – Данные про нас еще не поступили.

Все сразу смолкли от его бестактности. Федор Иванович покраснел.

– Тебе-то, товарищ Краснов, ничто не грозит, – сказал Цвях. – Ты же мичуринскую науку вон как поддерживаешь...

«Ну мой „главный“! Ну штучка!» – повеселев, подумал Федор Иванович.

Так поговорив, все прошли вглубь оранжереи. Здесь, на стеллажах, стояли горшки и ящики с разными растениями, и он сразу узнал высокий ветвистый стебель красавки с несколькими колокольчатыми фиолетово-розовыми цветками.

– Чей это ящик? – спросил Федор Иванович, сразу заинтересовавшись.

– Это мое творчество, – снисходительно к самому себе сказал Стригалеv. – И дальше все мое, Елены Владимировны Блажко и аспирантов.

– А что у вас здесь делает «Атропа белладонна»? – Федор Иванович не отходил от красавки, он сразу почуял интересный эксперимент.

– Она же пасленовая. Я привил ее на картофеле. Видите, как пошла! Все картофельные листья оборваны, но, представьте себе, завязались картофельные клубни! Разрешаю подкапывать...

– Очень интересно! – сказал Федор Иванович и, отложив в сторону свой блокнот, запустил руку в мягкую теплую землю. Пальцы его сразу же уперлись в большой твердый клубень. – Очень интересно! – сказал он, отряхивая пальцы. – Прививка сделана до завязывания клубней?

– До завязывания. Мы ищем подходы к отдаленному...

– Да, я сразу понял. – Федор Иванович поспешно кивнул и встретился взглядом со Стригальевым. – Надо собрать клубни и проверить на алкалоиды, на атропин. Надо все точки ставить до конца, – сказал он со значением.

«Рискованно работаешь, – подумал он, поглядывая на Стригалева. – Атропина в клубнях может не оказаться, и это будет хорошая дубина у вас в руках. Против нашего... против мичуринского направления...»

Ему не хотелось бить этого человека, так неосторожно подставившего себя под удар. «А имею я право бить за это? – вдруг спросил он себя. – Ведь это должны были проделать мы, прежде чем громогласно заявлять...» Он то и дело принимался изучать Стригалева с растущим болезненным интересом. Лицо Ивана Ильича было подернуто желтизной худосочия, кое-где были заметны фиолетовые пятна заживших чирьев – как потухшие вулканы, а один – около кадыка, – похоже, действовал, был залеплен марлевым кружком.

Стригальев продолжал докладывать:

– Очень эффективен метод предварительного воспитания обоих родителей на одних и тех же подвоях...

Услышав знакомое слово «воспитание», мичуринец Цвях закивал головой.

– Мы взяли взрослые, уже цветущие растения томатов – сорт «Бизон». На одних из них прививались молодые сеянцы картошки культурных сортов, а на другие – сеянцы дикарей. Когда зацвели – скрещивали дикие привои с культурными. Процент удачи скрещиваний доходил до ста... Здесь, вы видите, дикарь завязал ягоды. Видимо, томат расшатывает наследственную основу...

Цвях опять кивнул несколько раз. «Расшатывание», «наследственная основа» – это было хорошо знакомо ему.

На языке Федора Ивановича вертелся убийственный вопрос: первый эксперимент отрицает связь между подвоем и привоем, а второй подтверждает – как понять? «Не будем вдаваться в такие тонкости», – сказал он себе. Все двинулись дальше вдоль стеллажа, останавливаясь около каждого нового ящика или горшка. Комиссия в молчании осмотрела стебли табака и петунии, привитые на картофеле. Федор Иванович не стал подкапывать, он знал уже: и там были клубни. Здесь под мичуринской маской зрел хороший «финичек» для академика Рядно. Правда, все зависит от того, как подать. Но подавай не подавай, а дело сделано чисто, сама природа говорит в их пользу.

– И тут уже ягоды завязались, – рассеянно сказал Федор Иванович, остановившись перед какой-то очередной прививкой.

– Это Сашины работы, – заметил Стригальев. Высокий, он говорил как будто под самым коньком оранжереи. – Давай, Саша, докладывай.

Из группы аспирантов выступил красивый юноша, почти отрок, с узким лицом и прямыми, соломенного цвета волосами, словно бы причесанный старинным деревянным гребнем.

– Здесь мы прививали картофель на черный паслен и на белену, – сказал он, поднимая на Федора Ивановича смелые серые глаза. – С той же целью – расшатывание наследственной основы. Прививки, по-моему, хорошо удались...

– Это наш Саша Жуков, – заметил Стригальев, кладя ему руку на плечо. – Наш активист. Студент четвертого курса. Папа у него знаменитый сталевар. Ударник.

– Где же это ты, сынок, так набазурился прививать? – спросил Цвях.

Все заулыбались.

– У Ивана Ильича набазурился, – ответил Саша.

– Хорошо бы исследовать эти ягоды на гиосциамин, – сказал Федор Иванович. – Ведь у белены все части содержат этот алкалоид. По нашей теории, он должен быть и в этих ягодах...

Саша оглянулся на Стригалева.

– Ну, раз теория... – сказал тот, встретившись взглядом с московским ревизором, от которого ничего не скрыть.

«Не зря Касьян к нему прицепился», – подумал Федор Иванович. Сильно обеспокоенный, он осматривал выставленные перед ним растения, читая по ним всю потайную и хитроумную тактику несдавшегося борца. И только кивал, одобряя хорошо, чисто выполненные прививки и как бы не замечая подвоха. Один только раз он как бы проснулся, услышав знакомую фамилию.

– Шамкова, – прозвучал около него глубокий, крадущийся голос. Потом протяжный вздох. – Анжела... – Как будто с ним знакомились на танцах.

– Пожалуйста, что у вас? – кратко сказал он, бросив на нее мгновенный острый взгляд.

Она была крупная, с маленькой головой, туго обтянутой желто-белыми волосами, красный перстень горел на нежнейших пальцах с бледным маникюром. «Как же ты копаешься в земле?» – подумал Федор Иванович. Он бегло осмотрел какие-то выращенные ею гибриды, отметил в блокноте, что работа дельная, бьет в ту же точку, что и остальные, и перешел дальше.

Здесь, выставив, как на рынке, плоды своей работы, стояла Елена Владимировна – в халатике и в очках.

– Что *продается*? – спросил Цвях, подходя.

– Пожалуйста, – сказала она с легким поклоном и подвинула вперед несколько горшков. – Продаем картошку. Вот дикари «Солянум пунэ», «Солянум гибберулезум» и «Солянум Шиккии». Все привиты на томаты, у всех завязались ягоды от пыльцы культурных сортов.

– Интересный товар, – сказал Цвях.

– Ну как с катапультой? – спросила она, прямо взглянув на Федора Ивановича.

Он отвечал с прохладным и проницательным взглядом тициановского Христа, которому фарисей предложил динарий:

– Катапульта – хорошее средство для выхода из аварийной ситуации.

– Он вчера говорил мне это слово, – сказал Цвях.

– Он всем его говорит, – заметила она.

– Сами прививаете? – спросил Федор Иванович.

– Вот этими инструментами. – Она показала маленькие, почти детские руки с корявыми ноготками земледельца. Федор Иванович вспомнил руки Анжелы Шамковой. Да, природа не зря трудилась, создавая руки, и целью ее был не только хватательный инструмент, но и сигнализатор, как сказал бы технарь.

– Чистая работа, – сказал он, оглядывая привитые кусты. И вдруг запнулся. – А что вот эт-то такое? – Почти рванувшись вперед, он озабоченно указал на стоящий поодаль горшок со странным одиноким стеблем. Стебель был одет несколькими ярусами крупных листьев и был похож на этажерку. – Я что-то не узнаю... Это картошка?

– Это мой «Солянум Контумакс», – раздался над его головой голос Стригалева. – Я поставил его подальше от комиссии, но разве от вас что-нибудь скроешь...

– От него? – с восторгом сказал Цвях. – От него ничего не скроешь!

– Видите ли, – Стригалева вышел вперед. – Я никак не могу преодолеть его стерильность по отношению к культурным сортам... Не завязывает ягод.

– Какой-то странный «Контумакс», – сказал Федор Иванович. – Я же знаю этот вид. У вашего весь габитус крупнее. Чем вы его кормили?

– Хорошо накормишь – он и вырастет, – примирительно вставил беспечный Цвях.

– Вообще-то, вы замахнулись, – недоверчиво проговорил Федор Иванович. – До сих пор, по-моему, никому еще не удавалось получить ягоды от такого скрещивания. Одно время иностранные журналы, – он обернулся к Цвяху, – были полны сообщений о попытках ввести этого дикаря в скрещивание. Потом все затихло, и мировая наука подняла руки вверх. И отступились. По-моему, все – я правильно говорю? – это уже был вопрос к Стригалева.

– Вообще-то, так и есть, – пробормотал Иван Ильич, глядя в сторону. – Но вот мы... Советская наука в нашем лице надеется все же найти...

– Этот эксперимент... Такая попытка – и в такой скромной тени...

Спохватившись, повинуясь отдаленному голосу, Федор Иванович умолк. Отвернувшись, оставил это странное растение в покое. Пора было заканчивать затянувшийся осмотр.

– Елена Владимировна, Иван Ильич, – сказал он, оглянувшись, как будто посмотрел, нет ли посторонних. – Возраст ваших растений месяца четыре, а то и пять. Когда у нас кончилась сессия академии? Двадцать дней назад. Я должен с удовлетворением... хотя и не без удивления... отметить, – он не удержался и широко улыбнулся, – должен отметить, что ваша перестройка в верном направлении началась за полгода до того, как на сессии прозвучал призыв к перестройке. Это делает вам честь, но не всем может быть понятно. Теоретические позиции ваши многим ясны. Готовясь к этой ревизии, я пролистал некоторые журналы... По-моему, еще за месяц до сессии Иван Ильич выступал...

Цвях в восторге больно толкнул его в бок: давай жми! Стригалева молчал. Елена Владимировна, порозовев, смотрела в упор. Аспиранты оцепенели, ждали удара.

«Играешь, ласково прикасаешься к питающим трубкам», – Федор Иванович вдруг вспомнил разговор с Вонлярьским.

– В общем, будем считать, что проверка ваших работ дала положительные результаты. – И, став совсем непроницаемым, он повернулся к выходу.

«Что со мной случилось? – думал он, идя между стеллажами. – Будь это месяц назад, я бы вцепился и начал разматывать клубок...»

Они обедали за тем же столом.

– Крепко берешь, – сказал ему Цвях. – Я прямо помер от страха, когда ты их за глотку взял. В общем, ты правильно сделал, что отпустил. Ребята-то хорошие...

А когда вышли к лавке покурить, там уже сидели Стригалева и Елена Владимировна.

– Ну как, сварили вчера борщ? – спросил Федор Иванович, прямо взглянув ей в лицо.

– Еще какой! Из прекрасной говядины и свежих овощей. На три дня.

– Надо зайти завтра к ней пообедать...

– Я пошел, – сказал Стригалева, поднимаясь.

– И я с тобой, – поднялся и Цвях. – Пусть молодые побеседуют...

IV

Они ушли не оглядываясь. И тогда поднялась Елена Владимировна, прошла, остановилась и носком туфли описала вокруг себя нерешительную кривую.

– Ну что? Займемся ботаникой?

– Не знаю, поможет ли мне сегодня природа? – Но он все же встал.

Они прошли в молчании до калитки, и, когда миновали ее и перед ними открылись поля, она, плотно сжав губы, вопросительно посмотрела на него.

– Я обижен, огорчен и не знаю, как выйти из этого состояния, – сказал он.

Елена Владимировна молчала.

– Менее чем за сутки вы обманули меня три раза. – Он благосклонно и холодно смотрел на нее.

Она только ниже опустила голову.

– Вчера, – продолжал он, – вы вовсе не прогуляться пошли со мной, а на разведку относительно сухарей. Боюсь, что и сегодня у вас есть боевое задание...

– Есть и сегодня, – сказала она, тряхнув головой от смущения. – Но я и без задания пошла бы...

– Относительно этого задания. Вы все хотите узнать о том, как комиссия отнеслась к этим вашим шитым белыми нитками мичуринским работам. Ну, во-первых, они все-таки похожи на хорошие мичуринские работы. Во-вторых, все это вполне можно принять за рвение: вы стремитесь ответить делом на призыв сессии. Цвях так и понял. А в-третьих, вы знаете, что я догадался, что дело обстоит совсем не так... Но я не брошусь, подобно гончому псу, по горячим следам. Мне не нравятся эти приказы министра Кафтанова. Я считаю их ударом по науке. Если бы была подлинная дискуссия без ласкового перебирания в руках у начальства наших питательных трубок... Вы знаете, о каких трубках я говорю?

Она кивнула.

– ...я, может, и полез бы копать поглубже в ваших прививках. Но я уже сильно обжегся лет семнадцать назад на поисках правды. А искал с закрытыми глазами... Теперь я тоже ищу. Но все время поглядываю на компас.

Высказав это, Федор Иванович остановился и так же холодно и благосклонно посмотрел на нее:

– Так что боевое задание ваше мы можем считать выполненным. Вы мне теперь можете сказать: «Не провожайте меня дальше, я иду жарить для Тумановой котлеты де-воляй». Я не пойду дальше, пока вы мне не скажете, почему вы в ответ на мою откровенность, в которой вы не сомневались, три раза – три раза! – солгали мне.

– Ну что ж, скажу, – ответила Елена Владимировна и, нагнувшись, на ходу сорвала травинку. – У меня, дорогой Федор Иванович, тоже есть своя завиральная идея. Я тоже не раз в жизни обжигалась и предчувствую, что самое большое пламя впереди. У нас так много подлости... В прошлом году ехала в трамвае и потеряла билет. Билет стоит пятнадцать копеек. Казалось бы, возьми молча рубль штрафа, и все. Так нет – все помешались на воспитании. Ваш академик воспитывает картошку, а эти – взрослых людей. Воспитывают на каждом шагу. Контролеры, молодые, все студенты, поймали меня и увели к себе в какую-то каморку. Допрашивали, фотографировали – и все с идиотской радостью, как будто счастливы, что я им попалась и что им разрешили меня терзать. Никаких доводов, никаких просьб о пощаде не слышали. А потом развесили свои «Не проходите мимо» по всему городу и в трамваях, и там я висела с пьяницами и хулиганами в качестве «злостного зайца». Как вашу черную собачку гоняли. И билет ведь нашла потом, пошла к ним. Их начальник – тоже студент, в прыщах весь, – только смеялся: «Во-от чепуха какая!» У нас в институте тоже есть свои любители воспитывать. – Голос Елены Владимировны начал дрожать. – Один раз я опоздала минуты на три. И вдруг через неделю смотрю – висит «Не проходите мимо», и там я. Фотография: вся растрепанная, вот с такими глазами бегу на работу. У нас есть такой Лылов, профсоюзный деятель. Вот он забирается на чердак или за угол прячется и фотографирует того, кто опоздает, кто на пять минут раньше уйдет, – и в свою газету. Разумеется, когда мы остаемся после работы на три часа заканчивать эксперимент, этого он не видит. Когда вместо кино идем в выходной на овощную базу, в ледяное хранилище налегке идем картошку гнилую перебирать – это ему не интересно. И вообще грустно, Федор Иванович...

Елена Владимировна даже взяла его за рукав ковбойки, и они долго шли в молчании.

– Во-от... А уж случаев посерьезнее сколько было! Когда мою правду и против меня же... «У вас дома есть мухи-дрозофилы», «У вас есть книга Моргана», «Вы были там-то», «Вы сказали то-то». И так далее, Федор Иванович. И тэ дэ... И я вижу – никакой защиты! Ник-какой! Сплошное непонимание. «Так ведь у тебя, Ленка, действительно дрозодилы дома. Хочешь, пойдем к тебе домой и укажем тебе их, они у тебя в шкафу! Я бы на твоём месте их в кипятке...» Это подруга говорит. Верная. И тогда я придумала: если Людмила пользовалась шапкой-невидимкой, от Черномора бегала, то почему я не могу! Надо на всякий случай все время врать. Не просто скрывать что-то, а врать, говорить то, чего не было, выдумывать на себя всякую напраслину. Это чтоб не дать этим странным людям подлинных фактов. Чтoб

отучить от охоты на человека. Им страшно хочется повеселиться на чей-нибудь счет. Пожалуйста, веселитесь! Иду, скажем, по приказу начальства в город – тут же заявляю в лаборатории: «Девочки, я побежала в магазин». Лылов, конечно, строчит уже в свою газету. Корреспондентка уже сообщила. А потом, когда вывесит, я говорю: «Давай-ка, Лылов, снимай свой пасквиль и переписывай. Надо проверять информацию». И алиби ему в нос. Все смеются. А он злится: такая выверенная машина – и дает перебои! – Она крепче схватила его за рукав. – А потом, вы же знаете, кто я. Я – агент мирового империализма, я – ведьма. Я ночью превращаюсь в черную собаку. Сейчас я перестроилась, преподаю, что велит ваш Рядно. Но разве можно перестроить сознание? Ведь я все-таки немножко ученый, мне подавай факт. Картошку разрежь и капни йодом – сразу посинеет. Капай хоть здесь, хоть в Америке – все равно. И я уж если видела это, меня не заставишь думать, что не синее, а красное. Говорить вот заставил ваш академик. А думаю-то я так, как оно на самом деле. И если я говорю, как велят, – это чистое вранье. Обдуманное – чтобы спасти настоящую науку, спасти товарищей. Вы ведь тоже были мне враг. Впереди вас бежит молва: неподкупный, глазастый, глубокий, непонятный... Что еще? Ложноскромный, беспощадный. Еще страшней Саула. Если хотите знать, мне вчера было очень страшно начинать с вами разговор. А сегодня я чуть не умерла... Правда, отдаленный голос мне сразу начал шептать другое...

– Не рановато ли вы, Елена Владимировна, открыли мне свое... свое внутреннее лицо?

– Ладно уж. Беритя.

И они оба засмеялись, и им стало легко. Лена уже держала его под руку.

– Между нами кровь, – вдруг сказал он. – Мы с вами принадлежим к двум враждующим семьям. Монтекки и Капулетти.

Она ничего не сказала, взяла его крепче, и долго они шли в ногу по каким-то межам, ничего не говоря, целиком во власти отдаленного голоса.

– Расскажите, как вы обожглись семнадцать лет назад, – попросила она, не отпуская его руки.

– Просто так не расскажешь, – неуверенно, с раздумьем заговорил Федор Иванович. – Понимаете, бывают обиды, когда хочется дать сдачи, ответно насолить. Но это проходит навсегда. Я не представляю себе, как это – всю жизнь помнить оскорбление. Не умею даже руки не подавать скверному человеку. Здравуюсь! Но понимаю, что иной на моем месте и не подал бы... Могут быть люди с вечной жаждой отомстить. Я эту жажду понимаю... К чему это я? Ах да, вот к чему: оказывается, может быть такая же вечная жажда, но противоположная. Нечто, связывающее душу, отнимающее свободу. Ощущение такое, будто мертвый – истлел ведь давно, – тот, кого нет... присутствует незримо и ждет с болью удовлетворения. А как удовлетворишь, если его нет? Отдаешь должок вместо него другим, отдаешь без конца. А это вот самое не убывает...

– Вы что – кого-нибудь убили?

– Соучаствовал...

– Так это же семнадцать лет назад было... Сколько вам сейчас?

– Тридцать один.

– Вам было четырнадцать?

– Даже тринадцать. Но для ответственности, для чувства личной вины это ничего не значит. История началась еще раньше – когда мне еще было двенадцать лет. После лета, когда гнали черную собаку. У нас в классе рядом с доской висел плакат: «Пионер всегда говорит правду, он дорожит честью своего отряда». И был рисунок, объясняющий, как именно я должен говорить эту правду. Нарисована была школьная парта и за нею – двое мальчишек вроде меня, какой я тогда был. Один сидит, совершенно сконфуженный, потому что нацарапал на новенькой парте свое имя – «Толя», и попался. А другой, чистенький и строгий, в красном галстуке, встал, поднял руку – просит слова. Брови сдвинул. И указывает на своего товарища.

Вот так, говорит плакат, настоящий пионер должен себя вести. Понимаете? И я все думал тогда, изо дня в день глядя на этот плакат, как бы это получше мне сказать эту правду. И все не находилось случая. Ябедничать на товарища за то, что имя на парте нацарапал, я не находил в себе духа. Да и мелко это мне казалось. Я хотел по большому счету. И ждал своего часа. Да... И час пришел.

Он подвел Елену Владимировну к страшному месту рассказа, умолк и посмотрел на нее. Нет, рука ее не ослабла, не опустилась, держалась за него.

– Вот так... Дело-то было в Сибири. Один раз весной к нам в класс пришел молодой геолог. Парень лет двадцати восьми... Но уже со стальными зубами. И держал перед нами речь. Мол, так и так, открыл я в вашем районе месторождение никеля. А никель – это же оборона, это же танки, самолеты... Мне нужны, говорит, помощники, надежные ребята, на все лето. Будем жить в палатках и работать, рыть шурфы до октября. Местные власти, мол, проявляют патриотизм, ассигновали средства, отпустили продукты, дали лошадь с телегой, инструменты. Ну и набралось нас, помощников, человек десять. Я – самый младший. И выехали. На месте уже он осторожно так нам открывает, что послан был сюда вовсе не никель открывать, а для прозаического подсчета уже известных запасов естественной краски охры. А уж на никель он сам нечаянно набрел. И загорелся. А в журнале приходилось рытье шурфов на охру показывать. Средства все израсходовал, охру не подсчитал, сильно погорел, рабочих не на что содержать, вот и кинулся к местным властям. Спасибо, люди хорошие попались, поняли. Так что и теперь приходится в журнале рытье шурфов на охру показывать. А насчет никеля нужно молчать. Местные организации в курсе, все загорелись, но все и молчат. Вся операция – сплошная тайна. А почему тайна? Вот почему. У них в науке было вроде как у нас сейчас в биологии. То есть что говорит глава направления, никелевый бог, – то и истина. Если геологическая обстановка обнаружена такая или такая, здесь можно искать никель. А если другая какая обстановка – искать бесполезно. И даже вредно. А если ты все же что-то открыл и ищешь не там, где можно, то есть тратишь государственные средства, никелевому богу не нравится и на тебя падает подозрение. Тогда, как, впрочем, и сейчас, часто было слышно такое суровое словцо – «враг народа». Этот случай, Елена Владимировна, открывает глаза на значение таких вот богов в обществе. Такой бог может стать бревном, лежащим на пути прогресса. Когда-то еще оно сгниет! Один человек, самый что ни на есть гений, никогда не исчерпает всех тайн природы. Вот в таких условиях принялись мы за работу. Привыкли к лопате, загорели. Тишина в степи. Один раз выглянул я утром из палатки и увидел среди уже выцветшей степной растительности ушастую такую лисичку. Песочного цвета. Держит в зубах птичку со свисающим крылом. И на меня смотрит. Как закон вечности. Показала мне свои глаза – как жестяные – и исчезла. Как моментальное фото. Как видение. И я в тот самый миг постиг вечность некоторых отношений внутри животного мира и среди людей той породы, что еще не перешагнула, так сказать, рубеж развития. Есть, есть этот рубеж. Проходит в народе. Делит нас всех... Один кошку ногой подденет, а другой задумывается, как быть, если на его стуле Мурка сидит, а ему надо сесть... Осталась эта лисичка в памяти как знак... И вот мы работаем, уже он в пробирке никелевый осадок нашел. В чемоданчике у него была такая лаборатория. А к августу трава еще больше выгорела, тишина стала еще глуше. А мы роем. И слышим – самолет тарыхтит. У-два. К нам летит. Ревизор прилетел, как вот я к вам. Кто-то донес, бога никелевого испугал. Мы все толкуем ревизору, как нам наш геолог сказал. Иначе говоря, врем. Но проверяющий был хоть молодой, а дотошный. Что-то унюхал. Писал, писал, потом улетел. А через месяц глядим – опять самолетики летят. Теперь два. На этот раз прилетел молодой военный – с наганом и портфелем. Отобрал у нас одну палатку и вызывает по одному на допрос. Старшие ребята все меня предупреждали: «Смотри же, Федька, говори все, как раньше». И вот он меня вызвал. Сначала все в глаза мне молча смотрел, анатомию моих мыслей делал. Потом прочувствованно так заговорил. «Ты пионер? Ты же знаешь, как Владимир Ильич требует от

всех говорить правду? А если не говорить правду нам, среди своих, как же мы будем бороться с врагами? Как будем завоевания Октября защищать?» И я, конечно, все ему рассказал с блестящими глазами – и про охру, и про никель. Старался до мелочей все припомнить. Он меня похваливает. «Молодец, – говорит, – не спеши, все по порядку давай». А через час, смотрю, все ребята как в воду опущенные. И на меня не глядят. А геолог сказал мне: «Ничего, ничего, Федя» – и по плечу похлопал. А потом его подсадили в самолет, и все – я его больше не видел. И с тех пор я стал как тибетский монах. Там такие монахи есть – ходят и веничком перед собой метут. Чтобы какого-нибудь жучка жизни не лишить. Она великая вещь – жизнь. Вот и я все время мету, с ужасом мету перед собой, и, знаете, плохо получается. Плохо мету. Уж такой стал осторожный, каждый шаг выверяю... Совсем уйти от дел? В деревню пастухом? Так и там кого-нибудь заденешь. И обязательно хорошего человека... Но решение я принял и продержался добрый десяток лет, никому свет дневной не закрыл. А тут – уже на четвертом курсе – безобидно так поспорил. О бытии и сознании. Но задел какую-то нитку, и дядик Борик...

– Я знаю эту историю. Я считаю, что здесь вы совсем не виноваты. Вины вашей здесь нет.

– Но причинная связь есть. И следствие. За границу-то его не пускают. И вы знаете, после размышления я пришел к чему? Что главная причина – необоснованная уверенность в стопроцентной правоте. Почему старуха на костер под ноги Яну Гусу принесла вязанку хворосту? Потому что была уверена без достаточного основания: «Я права, я чиста, а он дружит с Сатаной».

– Ну а с дядиком Бориком – у кого была такая уверенность? Не у вас же?

– Я думаю, у того товарища, который довел до сведения...

– А никель, скажите... Никель нашли?

– Нашли никель. В то же лето. Он старших ребят всему успел научить, и они все делали как надо и к зиме получили богатый осадок. С ним и поехали – сначала в Новосибирск, а потом – в Москву. Теперь там комбинат стоит...

Елена Владимировна что-то хотела ему сказать, но только посмотрела и глубоко вздохнула.

– Вот и получается: держат старые грехи постоянно меня за шиворот. Как только предстоит какой ответственный шаг, только и думаешь о тибетском веничке. А какие безвыходные бывают положения! Посылает меня шеф на эту ревизию. Я сразу на ворота чувствую удерживающую руку. Только успел подумать: откажусь, а Касьян словно прочитал мысль: «Что, сынок, не хочется ехать? Смотри, я могу и Саула послать». И он послал бы к вам Саула! Он бы послал. Уж лучше поеду я!

В этот момент они переходили овраг с ручьем по деревянному мосту. Федор Иванович, очнувшись, остановился.

– Здесь у нас погранзастава...

Она сильно тряхнула его руку.

– Ну-ка хватит... Ведь, кажется, все ясно. Слышите? Хватит вам...

И повлекла его дальше, и они вступили на улицу, состоящую почти сплошь из одинаковых серых кирпичных домов. И она казалась им лучше всех улиц на свете.

– Хотите, пойдем ко мне, – сказала Лена. – Вот сюда свернем. Я покажу вас бабушке.

Они подошли к первой городской площади и должны были свернуть в арку большого восьмиэтажного дома. Но прежде чем войти под нее, Федор Иванович увидел красный спасательный круг, висящий на балконе четвертого этажа.

– Вон, смотрите... Круг! – сказал он.

– Это здесь живет поэт.

– Не Кеша ли Кондаков?

– Почему вы его Кешей?... Вы его знаете?

– Я с ним давно знаком. Еще со студенческих лет. Он тогда жил в Заречье.

– Как вы его находите?

– Не могу сразу так – оценку...

– Странно... Кого ни спросишь, все так отвечают. У вас, оказывается, много знакомых в нашем городе. Больше, чем в Москве, а?

Они прошли под аркой и оказались среди нескольких по-городскому плотно согнанных в один двор семиэтажных зданий, похожих на казармы. В одном из этих одинаковых домов, на четвертом этаже, и жила в двухкомнатной квартире Елена Владимировна со своей седой маленькой бабушкой.

Они добрых два часа пили чай, сидя за большим столом вокруг старинного, отлитого из олова и посеребренного чайника, качающегося в ажурной оловянной и посеребренной подставке. Говорили всяческую чепуху и смеялись. Иногда Федор Иванович ловил на себе изучающий взгляд бабушки и думал: «Когда уйду, они будут говорить обо мне», и от этого ему становилось еще легче и веселей.

А когда с чаем было покончено, Елена Владимировна поманила его в другую комнату. Здесь была чистенькая постель под бледным пикейным покрывалом, а у стены стояли два темных шкафа. Елена Владимировна, взяв его сзади за оба локтя, начала подталкивать к одному из них. Подвела и вдруг раскрыла дверцы. Яркий желто-голубоватый свет хлынул оттуда со всех полок. В шкафу в картонных подставках стояли десятки пробирок – из таких два дня назад Федор Иванович пил кофе в кабинете профессора Хейфеца. Они искрились и переливались, как огни в хрустальной люстре. Каждая пробирка была заткнута ваткой, и во всех кипела жизнь – там летали, скакали и сталкивались маленькие, как просяные зернышки, мушки. Дрозофилы.

«Касьян был прав, – растерянно подумал Федор Иванович, – у них здесь самое настоящее *кубло*, и я его прохлопал. Но с какой стати я должен забираться с ревизией в частную квартиру, под черепную коробку этих людей? Пусть разводят своих дрозофил, если хотят...»

Но был краткий миг – он, должно быть, шарахнулся от этих дрозофил, как Мартин Лютер, увидевший за окном своей кельи дьявола... Лихорадочное веселье вдруг овладело Еленой Владимировной:

– Все-таки устояли! Я думала, броситесь бежать. Можно подойти еще ближе. Теперь поняли, откуда тогда, у Хейфеца в кабинете, появилась дрозофила? Вот они! Прославленные в докладах академиков и даже государственных деятелей мушки! Видите, в разных пробирках разные мушки. Мутации. Когда привыкнете к этому зрелищу, подумайте вот над чем. Я хочу вам подарить одну такую пробирочку с мушками, чтобы вы у себя дома провели с ними эксперимент. Хоть вы и придерживаетесь других взглядов... Придерживаетесь вы других взглядов? – Она заглянула ему в лицо. – Хоть вы и твердый единомышленник академика Рядно... Вы единомышленник академика Рядно?

– Не по всем пунктам...

– Тем более. Вам ведь надо знать, на чем строит свои домыслы семейство Капулетти. Опыт продлится двадцать пять дней.

– Я же уеду...

– Ах да... Я почему-то была уверена, что вы никуда не уедете и останетесь здесь навсегда. Ну все равно. Увезете с собой, и будет вам память о нашем... Об этой ревизии.

И она, выбрав в шкафу две пробирки, капнула на каждую ватку, сидящую в горловине, из плоского флакона. Остро запахло эфиром. Все население пробирок мгновенно уснуло. Высыпав мушек на две бумажки, Елена Владимировна спичкой отсчитала десять мушек и сыпала в пустую пробирку.

– Видите, какие у них бесхитростные мордашки. Не умеют притворяться, – сказала она, заткнув пробирку ватой, глядя на нее и хорошея. – За это их и не любят.

– Пожалуй, надо взять, – проговорил он. – Я давно подумывал...

– Пять красноглазых – самки, пять бескрылых – самцы. Это будет чистый эксперимент, исключая всякую возможность подтасовки во имя святой идеи. – Она засунула пробирку в карман его ковбойки. – Кормить не надо – на дне пробирки кисель.

И он унес этих мушек к себе и, смущенно оглянувшись на Цвяха, поставил пробирку в стакан на подоконнике и закрыл бумажкой – так, чтобы, глядя из комнаты, нельзя было понять, что в ней находится.

Вечером, когда зажглись огни, Федор Иванович вышел из дома прогуляться и подумать обо всем, что произошло за день. Остановившись на крыльце, он увидел около соседнего корпуса, под фонарем, красный свитер Стригалева. Иван Ильич стоял в позе отчаянного раздумья, будто искал выход из тупика. Вдруг подбоченился и крепко захватил в горсть нижнюю часть лица. Тени от фонаря делали впадины на его лице еще более глубокими, голодными. Что-то не давалось ему – какое-то решение. Сделав рукой вопросительное движение, пожав плечами, он все же решил что-то и зашагал – сюда, к Федору Ивановичу. И тот, приветливо улыбаясь, двинулся навстречу. Стригалева пересек его взгляд, но не замедлил шага. Пошел, понесся куда-то, уставив глаза вверх, как будто привязанный взглядом к невидимому проводу, протянутому над ним. Федор Иванович долго глядел ему вслед, пока его фигура, в последний раз мелькнув под фонарями, не исчезла в темноте. Теперь наконец стало ясно, почему студенты прозвали этого человека Троллейбусом. «Такое прозвище надо заработать», – подумал он. Это было прозвище мыслителя, человека, захваченного идеей.

Весь следующий день они писали докладную записку. Получалась, в общем, благополучная картина. Все бывшие представители формальной генетики, за исключением заведующего кафедрой генетики и селекции профессора Хейфеца Н. М., перестроились и на деле доказывают верность осознанным ими принципам передовой мичуринской науки, провозглашенным на августовской сессии академии. Профессор же Хейфец Н. М. занимает странную позицию, открыто заявляя о своем несогласии с основами мичуринской науки, и на занятиях со студентами, излагая им курс, допускает оговорки, из которых студенты должны сделать вывод, что курс неверен и навязан для преподавания принудительно. В докладную записку внесли и рекомендацию – укрепить кафедру двумя-тремя специалистами, доказавшими свою верность истинной науке.

– Касьян укрепит, – приговаривал Цвях, вписывая этот пункт. – Касьян, Федя, так укрепит, что... как он говорит, *засмеешься на култи...*

– Это что же такое, Василий Степанович?

– Спрашиваешь, что такое? – нежным голосом отозвался Цвях, дописывая пункт. – С Касьяном общаешься и не знаешь! А это, Федя, вот что: заплачешь так, что будут видны все самые дальние зубы. Ты еще не плакал так? А между тем попробуй не запиши. Если он, дурак, сам в петлю лезет.

– А если записать помягче?

– Так этот же дурак узнает, что мягко записали, и напишет протест: «Ничего подобного, я в корне и решительно отвергаю вашу лженауку!» Уж я-то повидал этих решительных морских свинок. Пусть все кругом летит к чертям, а риза моя все равно пребудет в ослепительной первозданной чистоте! С такими лучше не связываться. Никого надуть не даст.

Покончив с отчетом, перешли к докладу, читать который должен будет Цвях на общем собрании факультета. Василий Степанович разложил на койке и стульях стенограмму августовской сессии и журналы со статьями академиков Лысенко и Рядно и довольно ловко принялся монтировать общую часть. У него уже были заложены бумажками и даже пронумерованы самые энергичные места в речах участников сессии.

«Товарищи! – написал он в начале. – Как сказал наш академик-президент Трофим Денисович Лысенко, история биологии – это арена идеологической борьбы. Два мира, – учит он, –

это две идеологии в биологии. Столкновение материалистического и идеалистического мировоззрений в биологической науке имело место на протяжении всей истории. Особенно же резко эти направления определились в эпоху борьбы двух миров».

Переписав еще несколько сильных абзацев из доклада академика Лысенко, Цвях сказал:

– Смотри, что он говорит: «Новое действенное направление в биологии, вернее, новая, советская биология, агробиология встречена в штыки представителями реакционной зарубежной биологии, а также рядом ученых нашей страны». Чувствуешь, как он подводит базу? – И покачал головой. – А нам что остается? Приходится писать. Это же доклад!

И он застрочил, почти лежа грудью на листе и старательно выводя слова, завязывая на буквах «у» и «д» замысловатые бантики.

«Менделисты-морганисты, вслед за Вейсманом, утверждают, – написал он, – что в хромосомах существует некое особое „наследственное вещество“...»

Тут он остановился.

– Вот видишь, Лысенко против вещества. А в чем сидит наследственность, он не говорит! Видишь – обходит вопрос. Смотри: «Наследственность есть эффект концентрированных воздействий условий внешней среды»! А ты попробуй возьми этот эффект в руки! Посмотри его в микроскоп! Я давно, Федя, над этим думаю. Знаний только мало. Приходится писать, что он пишет. А то бы я сразился...

Часам к двум ночи был готов и доклад. Укладываясь спать, Цвях никак не мог успокоиться:

– Что это он все «живое» да «неживое» говорит. Здесь никакой точности нет. Такие формулировки позволяют городить что хочешь. Это философы так говорят. А естествоиспытатель... По-моему, если хочешь знать, между живым и неживым не может быть никакой границы. Идешь дорогой химии – пробирки там, реторты, идешь, и дорога еще не кончилась, глядь, а молекула уже шевелится...

Утром, попив чаю, они вышли на улицу. До трех часов дня, когда должно было начаться собрание факультета, оставалось еще много времени. Беседуя, они побрели парком, той тропой, что вела к полям, к мосту через овраг. Они были одинакового роста, и можно было подумать, что это беседуют отец, приехавший из провинции, и его просвещенный сын. Цвях неторопливо говорил и картинно «аргументировал» обеими руками, а Федор Иванович слушал, опустив голову, уронив на лоб русые пряди.

– Я все думаю, – между прочим сказал Василий Степанович, когда они уже шли полем. – Все, понимаешь, прикидываю, нужно ли тебе выступать? Я ведь кое-что вижу. Я вижу, что тебе все это нелегко делать. С первого дня заметил. И понимаю тебя, Федя. Так, может, я один? Все равно, так и этак, мне на трибуну лезть, доклад на мне. А тебе-то зачем все это? Сиди себе в зале и слушай, как я буду им про живое и неживое вправлять. Мне все равно, у меня на плечах и без того груза достаточно. На том свете большой предстоит мне разговор... Да и в науке. Я еще только чуть приоткрываю глаза, еще только сквозь щели что-то чуть брезжит. Может, так и не открою совсем... глаза-то. Опоздал. Потому и спрос с меня какой? А ты уже ученый, направление формируешь. Был бы я тебе отцом, я бы тебе сказал: не лезь. Не лезь, Федя...

– Спасибо, Василий Степанович.

– Вот и ладно, вот и хорошо. Так и уговорились.

Когда они подошли к мосту, Цвях вдруг остановился и, ударив кулаком в ладонь, тряхнув головой, сказал:

– Гуляй дальше сам. Пойду домой, полистаю доклад, материалы. Надо, Федя, ко всему быть готовым...

И быстренько заковылял назад. А Федор Иванович перешел по мосту овраг и зашагал по тротуару вдоль строя серых кирпичных домов, и перед ним возник прозрачный образ Елены Владимировны, состоящий только из тех ее особенностей, которые запали в его душу и неза-

метно, но постоянно напоминали о себе. Что за невиданный цветок вдруг расцвел в этом городе, что за судьба такая вдруг привела Федора Ивановича сюда, чтобы его увидеть!

Он шел и видел ее, читал слова, которые она писала движениями рук, полуповоротами и полупоклонами, пожатием плеч. И халатик ее серенький, узко перехваченный, с буквами «Е. В. Б.» на кармашке тоже возник перед ним. Рука Федора Ивановича нечаянно согнулась в кольцо, пальцы коснулись груди – да, так оно и получится, если...

Он прошел в арку – как раз под красным спасательным кругом – и обошел ее дом, стараясь угадать, где же ее окно. Потом через ту же арку он вернулся на улицу и с блуждающей улыбкой побрел дальше, ничего не замечая, пока не оказался на большой центральной площади. Здесь были сплошь старинные купеческие дома с колоннами, и только с одной стороны, из-за сквера с темно-бронзовой фигурой Ленина, поднималось современное четырех- или пятиэтажное здание, состоящее из гранитных – до самой крыши – колонн и таких же высоких стеклянных плоскостей. Здесь помещались горком партии и горисполком. Подойдя поближе, Федор Иванович увидел в скверике длинный красный щит на постаменте, заключенный в раму бронзового цвета, окруженный фанерными красными знаменами. На нем висели десятка два больших фотографий – портреты ударников производства. Он прошел вдоль щита, рассматривая с невольным уважением лица этих знаменитых людей и читая фамилии. «Перхушкова Лидия Алексеевна, прядильщица, – читал он. – Туликов Иван Сергеевич, слесарь автобазы. Жуков Александр Александрович, сталевар...»

«Ага, – подумал Федор Иванович, – это он. Этого Саши Жукова отец».

Он постоял перед портретом, изучая усатое и бровастое, сердитое лицо, кепку и темные очки над козырьком.

«Сын тоже Александром назван. Семейная линия, – подумал он. – А сын взял и в биологи пошел. Кто-то его сманил туда. Кто? Не Троллейбус ли?»

И, слегка затуманившись, он побрел из сквера, свернул на длинный бульвар с лавками под сенью лип. Он шел по бульвару, пока его не вывел из легкого тумана какой-то желтоватый блеск, возникший впереди.

Это был поэт в своем балахончике из золотистой чесучи. Он стоял посреди бульвара, неподалеку от пивного ларька, и, подбоченясь, в позе трубящего Роланда, пил из бутылки пиво. Медлительно отпив несколько глотков, он уронил руку с бутылкой на выставленное брюхо и застыл, отдыхая. Потом, переведя дух и поразмыслив, он снова выпрямился, поднял бутылку и тут увидел Федора Ивановича. Одним пальцем руки, держащей бутылку, требовательно подзывал.

– Что тебе, Кеша?

– Погоди, не видишь, я занят.

Федор Иванович невольно ухмыльнулся – он знал эту манеру Кондакова.

Допив, поэт поставил бутылку на скамью, вытер двумя пальцами бороду и усы, взял Федора Ивановича под руку и, дыша в лицо пивом, сказал:

– Вот послушай. Новое.

Дымчатым бабьим голосом, подвывая, он начал читать:

Три с гривую да пять рогатых,
В овине сохнет урожай,
За этот сказочный достаток
Отца сослали за Можай.
А ты, его сынок-надёжа,
Проклятье шлешь отцу вдогон,
Родную сбрасываешь кожу,
За новью пыжишься бегом.

Был Бревешков, а стал Красновым,
Был Прохором, теперь ты – Ким.
И спряталась твоя основа
За оформлением таким, —
Чтоб мы и думать не посмели,
Что ты – новейший мироед,
Когда увидим в личном деле
Краснова глянцевого портрет.

Ну как? Чувствуешь, что это за вещь?

– Чувствую. Серьезная вещь...

– Да? – Кондаков недоверчиво посмотрел на Федора Ивановича.

– Да, Кеша. Вещь хорошая и серьезная. Ты реагирующий мужик.

– Ты находишь? – сказал поэт польщенно. – Ну, пойдем пройдемся. Скажи еще что-нибудь.

– Зачем у нашей старухи сундучок спер? Хоть бы пятерку ей.

Кондаков остановился, как будто в него выстрелили дробью. Потом опомнился, его рожа, окаймленная рыжеватыми с проседью лепестками, расплылась.

– Фу, напугал... Разве это ее? Она видела?

– А как же. Ходит и костит твое честное имя...

– Что же ты не остановил? На, дай ей два рубля. И от себя еще добавь. Скажи, чтоб перестала.

– Барахло ходишь по улицам собираешь...

– Барахло? Знаешь, какое это барахло? Этот сундучок у ней весь внутри оклеен газетами. Тридцатый год. И там объявления, Федя... Какие объявления! Слышишь? «Порываю связь с отцом как кулацким элементом». «Рву все отношения с родителями, сеющими религиозный дурман в сознании трудящихся». «Меняю фамилию и имя». И берут имена: Октябрь, Май, Ким, Револа... Так и повеяло, знаешь. Ночь не спал.

– Покажешь?

– Его уже нет. Одному человеку отдал.

– Жаль...

– Просил человек. У него там кто-то оказался. Из своих. Ты бы разве не отдал?

– По-моему, ты правильно отразил суть... Может, и правда, кто-нибудь делал это в экстазе. Потому что в этих отречениях от родителей есть что-то. Какой-то обряд. Люди более развитые, образованные спросили бы: а к чему эти жертвы вообще?

– погоди, Федя. погоди, запишу... – У поэта в руках уже были ручка и пачка сигарет. – Давай, давай...

– К чему, говорю, эти обряды делу революции? Родители – они ведь сами по себе. Раньше, например, полагалось носить крест. Тут есть, Кеша, что-то от человеческого жертвоприношения... Не каждый из этих был в исступлении... Не все пылали, ты прав. Иные трезво предавали, чтоб спасти себя, а иные – чтоб и взлететь...

– Ты думаешь? Ну-ну. Продолжай...

Федор Иванович с грустью посмотрел на его исписанную сигаретную пачку.

– Такая публикация не есть доказательство революционного образа мыслей. Наоборот! Этим утверждается: думай что хочешь, но только про себя. Сделай эту подлость – и обрежешь концы. Газета пойдет в архив под надежный замок, ключ в надежных руках – и весь твой век тебе будет уже не до старомодных кулацких настроений. Вот если сейчас кто-нибудь из них жив и ему показать сундучок с газетой, умело показать... Так иной, пожалуй, и в петлю полезет...

– Продолжай! Почему ты не пишешь стихов!

– Да, Кеша... Кто требует предать родного отца – не рассчитывай на чью-нибудь верность.

– Говори, говори...

– Нет. Больше говорить об этом не хочется.

– Ну еще немного. Пойдем ко мне, накормлю тебя хорошим завтраком. Мясо! Мясо, Федя! Мясо и лук! Вот тут, совсем рядом. Вон он, дом. Видишь, спасательный круг? Говори еще...

– Исчерпался. – Федор Иванович с интересом посмотрел на него. – Ну ладно, завтракать так завтракать. Пошли.

Иннокентий Кондаков отпер плоским ключом шикарную дверь на четвертом этаже, обитую стеганой черной искусственной кожей, сияющую бронзовыми кнопками. Они вошли в темную каморку. Здесь, как в харчевне, сильно пахло недавно жарившимся мясом. Кондаков включил свет и сейчас же начал раздеваться. Балахончик, сорочку и чесучовые брюки он повесил в стенной шкаф, туда же поставил алюминиевые туфли на женских каблуках. Из шкафа грубо выволок махровый малиновый халат и, накинув, завязав под животом пояс с кистями, предстал – золотисто-волосатый, с вылезшим из халата напряженным пузом. В золотой чаше нагло зиял воронкообразный пуп.

– Красавец! – воскликнул Федор Иванович. – Гольбейн!

– Что это такое, Федя?

– Художник был. Короля английского нарисовал, похожего на тебя.

– Спасибо, дорогой.

– Этот король переменил шесть жен.

– Да ну! Это точно – я. Спасибо, удружил. Пойдем на кухню.

Как только они вошли туда, множество тараканов кругами забегали по полу и по стенам и через мгновение все куда-то скрылись. Поэт достал из духовки лоснящуюся сковороду с четырьмя кусками мяса, сидящими в высокой подстилке из жареного лука. Понюхал и подмигнул. Каждый кусок был величиной с большой мужской кулак.

– Это ты все для себя? – изумился Федор Иванович.

– Мне надо есть мясо. Вечером ко мне придет дама.

– Серьезно относишься к делу...

Поэт кончил любоваться своей сковородкой.

– Подогреем? – спросил, сверкнув сумасшедшими светлыми глазами. И ответил: – Подогреем-с!

Пыхнул огонь в духовке, Кондаков задвинул туда сковороду. Федор Иванович в это время рассматривал приклеенное над столом цветное фото обнаженной женщины, вырезанное из иностранного журнала.

Поэт дернул гостя за рукав. Они прошли маленькую переднюю и комнату с плотно завешенным окном, в которой на столе среди высохших винных луж стояла лампа без абажура, на полу темнели десятка полтора бутылок, а на стенах висели афиши с крупными буквами: «Иннокентий Кондаков». В другой комнате была видна низкая старинная кровать – квадратный дубовый ящик с темными спинками, на которых поблескивали вырезанные тела длинноволосых волооких дев, летающих среди роз и жар-птиц. Две несвежие подушки, огромное стеганое одеяло, простыни – все стояло комом. Поэт снял закрывающий окно лист фанеры, потянув за шнур, впустил дневной свет, и стали видны грязный паркет, пыль и окурки по углам, грязные разводы и надписи на стенах. «Дурачок!» – было написано на самом видном месте губной помадой. И в этой комнате висели афиши с той же крупно напечатанной фамилией и несколько фотографий – везде поэт Кондаков, освещенный с трех сторон, в раздумье или в дружеском оскале.

– Здесь я вдохновляюсь, – сказал он, указывая на свое ложе.

– Вижу, вижу. Тебя навешают... – заметил Федор Иванович. – Небось увидят обстановочку и сейчас же наутек.

– Ты не знаешь женщин, Федя. Они, как увидят это, прямо звереют. Женщину надо знать. Окинет взглядом все это – тараканов, бутылки, грязь, – сначала начинает дико хохотать. Потом бросится на меня с кулачками – колотить. И наконец, обессилив, падает... вот сюда. – Он оскалился. – Одна ко мне ходит... ты бы посмотрел. Такая, брат, тихоня, такой младенец, такая тонкость, куда там! А когда наступает миг – сатана!

– Хвастун! – сказал Федор Иванович, все еще оглядывая комнату. Его жизнь шла другими дорогами, таких людей и такой обстановки он не видел.

– Пошли! – Принюхавшись, поэт вдруг бросился в кухню.

Федор Иванович уселся за стол, Иннокентий поставил на какую-то книгу горячую сковороду, дал гостю грязную вилку и измазанный в жире нож с расколотой деревянной ручкой.

– Вот тебе хлеб, – он положил на стол два остроконечных батона, – вот запивка, все вино выпили вчера – выставил две бутылки молока. Не отставай! – И, разрезав на сковороде один кусок, сунул в пасть первую порцию.

– погоди, надо же вилки помыть! И стол...

– Можешь и пол помыть. Разрешаю. – Мотнув головой наотмашь, поэт зубами оторвал часть батона, отправил в рот вторую порцию мяса и подал вслед хороший ком лука.

Вымыв вилку и нож, Федор Иванович принялся разрабатывать свой сектор сковороды.

– Чего молчишь? Зря тебя кормлю? – пробормотал поэт, жуя.

Но гостю было не до речей. Рядом со сковородой из щели между столом и стеной вылезли, ощупывая воздух, чьи-то чудовищные усы. Федор Иванович замахнулся, хотел пугнуть разведчика, но Иннокентий остановил его:

– Не трогай, это Ксаверий.

Обмакнув кусочек батона в жир, он положил его около шевелившихся усов. Сейчас же Ксаверий вылез и уткнулся в хлеб. Это был черный таракан длиной в спичечный коробок.

– Видишь, жрет. Мы с ним давно знакомы. У нас совпадают взгляды на многие вещи.

Из щели выбежал таракан поменьше и сунулся к хлебу. Ксаверий махнул пятой или шестой ногой, таракан опрокинулся вверх брюхом и замер, прикинувшись мертвым. Потом мгновенно перевернулся и исчез в щели.

– Борются за власть, – весело осклабился Иннокентий, обмакивая в жир второй кусочек батона. – На, ешь, дурачок! – Он подложил кусочек к самой щели. – Люблю за храбрость!

Отпив из бутылки несколько глотков, он принялся разрезать второй кусок. Первого уже не было.

– Нравится тебе эта девочка? – спросил Кондаков, жуя и глядя на фото над столом.

– Н-не могу сказать. Она снимается голая и не краснеет, не прячет лица. Нормальная женщина в такой ситуации сторит от стыда. Как мне кажется, Кеша, без любви нельзя бросить на наготу даже косой взгляд. Любящему можно. Любовь очищает взгляд...

– Ка-ак ты сказал? Постой, запишу... Да-а... А почему эта не сгорает? Смотрит прямо в глаза...

– Это бесстыдница. Она ведь за деньги... И у нее, конечно, есть маскировочное рассуждение. Но это не меняет дела.

– А стыд нагого мужчины?

– Только перед женщиной. В этом стыде есть бережение ее стыдливости.

– А в рай? Оба ведь были голые...

– Что рай, что любовь, Кеша...

– Как, как ты говоришь?.. Повтори... Давай еще кусок разделим пополам. И батона ты почти не ел!

– Мне хватит, я уже готов.

– Ну, как знаешь. Получается три – один в мою пользу. А как ты смотришь на такое мое наблюдение? Ты правильно говоришь, ко мне ходят... Я заметил, что это дело любит накат. Бросать на полдороге нельзя. Надо запираться с нею на неделю. И чтоб мешок с продуктами висел на балконе и был полон. Эта, о которой говорил, к сожалению, так не может. Поэтому и наблюдение мое, о котором скажу сейчас, на ней проверить не смог. Сегодня придет. Я хочу сказать тебе вот о чем. Это же черт знает что – чем определяется этот недельный срок! Не пойму! Входим сюда нежными влюбленными, а выходим, глядя в разные стороны. Ненавидим, чуть не деремся. Получается, что все – в голоде или в сытости тела. Я сыт – и сейчас же лезут мысли: зачем я с нею связался, с этой дурой? Какого черта привел ее, да еще на неделю! Теряю время! И что в ней нашел хорошего? Нос – как будто перочинным ножом остроган с трех сторон. Тьфу! Словом, разлука без печали. А проходит еще неделя – и я начинаю ее искать. А она ищет меня. И она теперь для меня – необыкновенное существо. Откуда красноречие, откуда стихи! Искры из меня так и сыплются. Красавица! Богиня! Ангел! Этот вот объект, Федя, очень удобен для наблюдений над самим собой. Я давно замечаю – у человека все так: что к его пользе – все правильно. А что ко вреду или к доуке, что мешает – неправильно. И сразу появляются убедительные аргументы. Для самого себя. Ты не замечал?

– Я что-то похожее наблюдал. Только не на этих... объектах. – Федор Иванович замялся, подыскивая слова. – Понимаешь, ты сейчас мне привел еще одно доказательство. Что чувство правоты не всегда совпадает с истинным положением вещей. Что оно часто совпадает с чувством ожидания пользы... Для самого себя. Кто владеет собой, Кеша, в таком деле, тот мудрец.

– Спасибо, Федя. Пей молоко.

– Я вовсе не о тебе. Насчет того, владеешь ли ты, у меня данных нет.

Все было съедено и выпито. Кондаков заметно отяжелел, умолк и нахмурился. В молчании они вышли из кухни в переднюю. Федор Иванович повернул было в комнату, но поэт молча стал у него на пути, почесывая голую волосатую грудь. Помолчав и еще больше потемнев лицом, он сказал наконец:

– Ну ладно, иди, Федя. Иди, мне надо отдохнуть.

И даже подтолкнул его к двери.

V

В два часа Федор Иванович достал из шкафа своего «сэра Пэрси» – любимый спортивный пиджачок с накладными карманами. Пиджачок был цвета обжигающего овощного рагу с хорошо поджаренным лучком, прожилками помидоров и частыми крапинками молотого перца. Надев мелкокрапчатую сорочку с коричнево-красным галстуком и «сэра Пэрси», Федор Иванович сразу стал похож на самоуверенного боксера в полусреднем весе. Остроносое лицо его с вертикальной чертой в нижней части и глубокой, кривой, как запятая, ямкой на подбородке приобрело жесткое выражение – он шел на поле боя, хотя уверенности сейчас было в нем значительно меньше, чем три дня назад.

Приготовился и Цвях – он уже успел выгладить свой темный командировочный костюм и теперь, облачившись, затянув галстук и причесавшись на пробор, стал похож на седого крестьянина, собиравшегося в церковь.

Они вышли торжественной парой из дома и по единственной улице институтского городка двинулись к некоей отдаленной точке. Справа и слева от них из разных концов городка шли люди – все к этой точке. Там, в розовом трехэтажном корпусе, был актовый зал.

– Касьян сегодня звонил, – проговорил Цвях. – Что-то напели ему. Что – не говорит, но слышно было – недоволен. Прошляпили, говорит. А что прошляпили, так я и не разобрал.

Федор Иванович не сказал ничего, только выразительно чуть повернул голову.

– Смотри-ка, сколько народу валит. Со всех трех факультетов, – проговорил Цвях после долгого молчания.

И еще сказал, когда прошли половину пути:

– У зоологов дней двадцать назад нашли дроздофилиста. Поскорей выгнали, и теперь у них тишина...

Когда по длинному коридору подошли к входу в зал, Цвях остановился:

– Ну, давай. Я иду в президиум.

Федор Иванович вошел в гудящий зал. Почти все места были заняты, но он все же нашел кресло в двадцатых рядах и, усевшись, стал наблюдать. Прежде всего он увидел над пустой сценой красное полотнище с знакомой ему надписью белыми буквами: «Наша агробиологическая наука, развитая в трудах Тимирязева, Мичурина, Вильямса и Лысенко, является самой передовой сельскохозяйственной наукой в мире!» Он не раз слышал эти слова на августовской сессии. Потом он увидел впереди – рядов через десять – белую шею Елены Владимировны, чуть прикрытую сверху лапотком, сплетенным из ее темных, почти черных кос. Рядом с нею вихрастый Стригалева в своем красном свитере что-то говорил, опустив голову. Справа, слева и сзади Федора Ивановича сидели незнакомые люди, все возбужденные, все были знакомы друг с другом, и все, блестя глазами, что-то говорили.

– Массовые психозы хорошо удаются, когда они кому-нибудь выгодны, – сказал сзади старик спокойным металлическим басом. – И я просматриваю за такими психозами не «шахсей-вахсей», а личную выгоду участников... Хотя да, есть, есть толпа, и есть в ней старушки... подносящие вязанку хвороста в костер, где сжигают еретика.

– Нет, все-таки есть движение, – чуть слышно возразил еще более дряхлый – клиросный – тенор. – После того как прочитаешь про римские казни, на которые посмотреть стекались тысячи... И даже матроны с грудными детьми. Да... Окна покупали, чтобы посмотреть... Украшали первый день карнавала казнью, и толпа одобряла это своим присутствием... После всего этого мы сделали прогресс. Полезно прочитать...

– Особенно перед таким собранием... Вы уверены, что здесь никто не купил бы окно?

И тут Федор Иванович увидел прямо впереди себя Вонлярярского. Он был очень взволнован, все время запускал палец за воротничок, и лысоватая, мокро причесанная голова его вертелась, как жилистый кулак в манжете. Федор Иванович хотел поздороваться с его белозатылком, по которому – от уха – шел пробор, но в это время на сцене началось шествие членов президиума. Один за другим они показывались из-за серого полотнища и, медленно поворачиваясь тяжелыми корпусами вправо и влево, растянутой цепью протекли за стол. Декан, ректор, еще два декана, еще несколько сановитых полных мужчин, женщина... И Цвях был среди них – так же медленно поворачиваясь, просеменил, уселся и как бы опустил лоб на глаза. Потом по сцене легко прошагал академик Посошков, мгновенно оказался на председательском месте – прямой, изящный, в черном костюме с малиново-перламутровой бабочкой, сильно его молодившей. Запел графин под его массивным обручальным кольцом, академик выразительно молчал, требуя внимания.

– Товарищи! – провозгласил он. – Мы все, деятели многочисленных ветвей советской биологической науки, празднуем в эти дни выдающуюся победу мичуринского направления, возглавляемого Трофимом Денисовичем Лысенко, победу над реакционно-идеалистическим направлением, основателями которого являются реакционеры – Мендель, Морган, Вейсман. Многим из нас эта победа далась нелегко. Годами господствующее заблуждение врастает в душу, освобождение от них не обходится без тяжелых ран...

– Знаем, знаем, – сказал басистый старик сзади Федора Ивановича. – Хватит красиво каяться...

Произнеся еще несколько торжественных фраз и выбрав еще раз вейсманистов-морганистов, академик открыл собрание и предоставил слово для доклада ректору Петру Леонидовичу Варичеву. Тот поднялся и понес тяжелый живот к трибуне.

– Кашалот, – пробасил сзади старик, как будто легко трогал самую низкую струну контрабаса. – Когда только получил пост, был как Керубино. А сегодня встретил у входа – что за физиономия! Как кормовая свекла!..

– Пиво и закуски уведут его на тот свет, – прошелестел второй старик.

– А вы видели Кафтанова? Вот у кого геометрия! Изодиаметрическая фигура!

– Наш туда же, хе-хе. По его стопам...

Ректор показался над трибуной, разложил бумаги.

– Товарищи! – глуховатым голосом начал он, глядя в текст. – «История биологии – это арена идеологической борьбы». Это слова нашего выдающегося президента Трофима Денисовича Лысенко. Два мира – это две идеологии в биологии. На протяжении всей истории биологической науки сталкивались на этом поле материалистическое и идеалистическое мировоззрения...

Федор Иванович радостно поднял брови: похоже, что ректор составлял свой доклад таким же методом, как и они с Цвяхом. И по тем же источникам.

Василий Степанович в президиуме оторопело смотрел на докладчика, тер затылок.

– Неспроста новая советская биология была встречена в штыки представителями реакционной зарубежной науки, – читал Варичев, упираясь обеими руками в трибуну. – А также и рядом ученых в нашей стране...

В президиуме Цвях быстро листал свой доклад и решительными движениями поспешно вычеркивал что-то.

– Менделисты-морганисты вслед за Вейсманом утверждают, – набрав скорость, читал Варичев, – что в хромосомах существует некое особое «наследственное вещество». Мы же вслед за нашими выдающимися лидерами, академиком Лысенко и академиком Рядно, утверждаем, что наследственность есть эффект концентрированного воздействия условий внешней среды...

И потек знакомый всем доклад, который в разных вариантах все уже читали в газетах и слушали по радио. В зале начал нарастать легкий шумок, везде затеплились беседы. Но они сразу смолкли, когда в голосе докладчика появилась особая угроза и стало ясно, что он переходит к домашним делам:

– ...И даже в нашем институте нашлись, с позволения сказать, ученые, избравшие ареной борьбы против научной истины девственное сознание советских студентов. Я не буду называть здесь тех, кто нашел в себе мужество и вовремя порвал со своими многолетними заблуждениями. – Здесь докладчик все же взглянул в сторону президиума. – Поможем им залечивать их раны...

Веселый шум пролетел по залу. «Кто же это смеется?» – подумал Федор Иванович, оглядываясь. Все вокруг улыбались, один лишь Вонлярлярский нервно подергивался и крутил головой.

– Изгоняя из нашей науки менделизм-морганизм-вейсманизм, – повысил голос Варичев, – мы тем самым изгоняем случайности из биологической науки. Наука – враг случайностей. Нам не по пути с теми, кто, используя ядовитый колхицин, устраивает гадания на кофейной гуще, плодя уродцев и возлагая на них несбыточные надежды. Мы без сожаления расстались уже с двумя такими гадателями, и это, по-видимому, не все. Профессор Хейфец, я обращаюсь персонально к вам. До сих пор мы только терпеливо слушали ваши поношения в адрес советской науки и были либеральными свидетелями ваших фарисейских заигрываний с нашей сменой – студентами и аспирантами. Вы и ваши скрытые коллеги должны наконец понять, что наступает предел и этому терпению, и этому либерализму. Выбирайте сами, что

вам по душе – присоединиться к победоносному шествию советских ученых, возглавляемому нашими маститыми знаменосцами, и вместе с нами творить будущее или же, будучи отброшенными на задворки истории, оказаться на свалке вместе с такими приятными соседями, как Мендель, Морган и Вейсман.

Вспыхнули резкие, как стрельба, аплодисменты, стали громче, плотнее. Когда зал утих, Варичев выкрикнул здравицу в честь самой передовой агробиологической науки, развитой в трудах Мичурина, Вильямса, Лысенко. Овация вспыхнула с новой силой, и он, собрав свои бумаги, покинул трибуну.

Следующим оратором был Цвях. Он пространно расхвалил доклад ректора, его чеканные формулировки.

– Богатство новых мыслей, высказанных на сессии академии, побуждает и многие годы будет побуждать нас обращаться к стенограмме сессии как к руководящему документу, – заявил он. – В такие исторические дни два добросовестно подготовленных доклада, посвященные одному и тому же вопросу, обязательно окажутся во многом схожими. Общий источник порождает сходство формулировок. Поэтому я опускаю вступительную часть моего содоклада, поскольку она почти дословно повторяет, к моему... я даже не скажу сожалению...

Общий смех зала покрыл эти слова. И сам Цвях улыбнулся плутовато, налег на трибуну, посматривая в зал, выжидая. Потом поднял руку, мгновенно успокоил всех и, став строгим, начал читать знакомый Федору Ивановичу текст с обстоятельным анализом учебной и научной работы факультета и проблемной лаборатории. Уклон был отчетливо выражен: комиссия настойчиво обращала внимание всех профессоров и преподавателей на замеченные то тут, то там следы пережитой недавно вейсманистско-морганистской болезни, рекомендовала изжить эти остатки в ближайшее время. Все же комиссия вынуждена была отметить воинственную позицию профессора Хейфеца, его открытое неприятие курса, провозглашенного сессией.

– Хотя еще не решен вопрос, что лучше – открытая позиция неприятия или замаскированная ложная перестройка, – сказал Цвях многозначительно. – Маска всегда была и остается тактическим приемом и в то же время верным знаком продуманного и закоренелого упорства со стороны всякой антинаучности...

Эти слова его потонули в страшном грохоте аплодисментов.

– Открытость неприятия и прямота, – продолжал Цвях, выждав паузу, – встречаются в обиходе честных ученых и позволяют еще надеяться, что человек способен честно предпринять... приложить... – Фраза оказалась слишком сложной, ее в тексте не было, и Цвях запнулся. – Приложить усилия, направленные на осознание... Изжитие ошибки, и я уверен, что найдутся среди нас... что есть много доброжелательных и талантливых ученых, которые смогут... путем творческого обмена... помочь осознать...

«Он хочет протянуть ему руку...» – подумал Федор Иванович.

Когда председатель комиссии покинул трибуну, в зале поднялся шум – ожили все бесчисленные группы собеседников. Академик Посошков долго звонил своим золотым кольцом по графину и вдруг произнес:

– Товарищ Ходеряхин!

На трибуне показался знакомый Федору Ивановичу человек с бледно-желтоватым лицом и черными, печально горящими глазами. Разложив свои бумаги, он начал читать, как показалось Федору Ивановичу, ту свою статью из журнала, по поводу которой у них в учхозе был неприятный разговор.

– Эту работу, – подчеркнул он, – смотрел Кассиан Дамианович. И одобрил.

Ходеряхин знал, что московский ревизор сидит в зале, и отвечал ему.

– Я тут читал Шопенгаура... Шопенгауэра, – продолжал он, запустив желтые пальцы в черные волосы и откинув их назад. По залу прокатилась веселая волна. – Критически, критически читал, – поправился он.

Зал так и грохнул. Послышались хлопки. Председатель коснулся кольцом графина.

– У этого реакционного философа есть в одном месте... – продолжал Ходеряхин. – По-моему, подходяще. Кто хорошо мыслит, хорошо и излагает. Это его слова. Я думаю, что мы можем и так сказать: кто темно излагает, тот темно и мыслит. И еще он говорит: непонятное сродни неосмысленному. Я к чему это? Сидел я как-то среди них. Среди вейсманистов-морганистов. Нет, не в качестве разделяющего, уж тут можете не сомневаться, – в качестве любопытствующего и ничего не понимающего. По-моему, они сами не все понимают, что говорят. Кроссинговер... Реципрокность... Аллель... Так и сыплют. Я думаю, ясная мысль нашла бы для своего выхода попроще слова. Вот академик Кассиан Дамианович Рядно. Когда говорит – все ясно. И подтверждение – не таблица, не муха без крыльев, а матушка-картошка! «Майский цветок»! Как Чапаев – на картошке доказывает! Или наша Анна Богумиловна – на семинарах говорит просто, ясно, любо послушать. И пшеничку кладет на стол, скоро сдаст в сортоиспытание... Тут я, товарищи, позволю себе еще одну цитатку...

– Опять реакционная философия? – весело спросил из президиума Варичев.

– Петр Леонидович, вы угадали. Она. Но мы это оружие повернем против самих реакционеров. Вот что он пишет, Шопенгауэр: «Если умственные произведения высшего рода большей частью получают признание только перед судом потомства, – это он говорит, философ, – то совершенно обратный жребий уготован некоторым известным блистательным заблуждениям, которые... которые появляются во всеоружии с виду таких солидных доводов и отстаиваются с таким умением и знанием, что приобретают славу и значение у современников...» – Ходеряхин поднял палец. – Таковы некоторые ложные теории... ошибочные приговоры... опровержения... При этом не следует приходить ни в азарт, ни в уныние, но помнить! – Он еще выше воздел палец. – Что люди отстанут от этого и нуждаются только во времени и опыте, чтобы собственными средствами распознать то, что острый глаз видит с первого раза...

Ходеряхин почувствовал подозрительную тишину в зале и остановился. Посмотрев на президиум, где Варичев, как-то странно развесив губы, барабанил пальцами по столу, он отложил целую страницу в своей длинной цитате и закончил:

– Вот так, товарищи! Еще такое он говорит: в худшем случае ложное распространяется... как в теории, так и в практике... и обольщение и обман, сделавшись дерзкими вследствие успеха, заходят так далеко, что почти неизбежно наступает разоблачение. Нелепость растет все выше и выше, пока наконец не примет таких размеров, что ее распознает самый близорукий глаз...

Тут оратора прервали чьи-то бешеные хлопки в углу первого ряда.

– Браво, браво, товарищ Ходеряхин! – пискляво выкрикнул кто-то.

Федор Иванович привстал. Аплодировал Ходеряхину покрасневший от натуги профессор Хейфец. Вонлярлярский с ужасом смотрел в его сторону.

– Как говорит мой внук, один – ноль! – сквозь растущий шум прозвенел бас сзади. – Один – ноль в пользу Менделя!

– Товарищи болельщики! Вы не на футболе, – вмешался сзади же запальчивый голос.

Графин непрерывно звенел. Когда страсти улеглись, послышался голос академика Посошкова:

– Товарищ Хейфец! Натан Михайлович! Пожалуйста, к порядку... Товарищ Ходеряхин! По-моему, достаточно философии. Мы все восхищены...

– У меня все, – сказал Ходеряхин и с грустной улыбкой сошел со сцены и, прежде чем сесть на свое место в первом ряду, пожал руки нескольким друзьям, словно принимая поздравления.

– Да, товарищи, да! Давайте не отвлекаться от главного! – раздался со всех сторон из динамиков зычный женский голос. На трибуне плавала и колыхалась Анна Богумиловна Побияхо, колыхались все ее подбородки, наплывающие на объемистую грудь, прыгали на

груди красные бусы. – Давайте вернемся в русло, проложенное для нас исторической сессией. Известно, что менделисты-морганисты отрицают влияние условий выращивания на изменение сортовых качеств. Мутагены, колхицин, рентгеновские лучи, то, что уродует организмы, – вот их арсенал. В противовес этому ложному и вредному для производства методу Трофим Денисович, Кассиан Дамианович разработали диаметрально противоположный принцип и показали на практике его действенность. Лично я в своей многолетней работе...

Она развернула тетрадку и стала читать подробный доклад о переделке пшениц – озимых в яровые и яровых в озимые. Как бы засыпающий ее голос постепенно стал тонуть в общем слитном шуме.

– Ф-фу, жара, – простонал кто-то. – Хоть бы окна открыли.

Федор Иванович оглядел зал и вдруг увидел впереди слева молодую женщину со знакомыми белыми, как сосновая доска, волосами, с толстыми косами, которые на этот раз были соединены на затылке в пухлый калач. Женщина застыла, низко потупившись, и шум зала, как начинающаяся метель, словно засыпал ее снегом. Пристально поглядев на нее, Федор Иванович перевел взгляд на академика Посошкова, – тот сидел в президиуме около графина – тоже с опущенной головой. Сегодня он почему-то померк, стал бесцветным – таким академика Федор Иванович еще не видел...

– Именно поэтому, – вдруг отчетливее и громче загрохотал в динамиках голос Побияхо, – именно поэтому я не могу не высказать здесь своего удивления по поводу позиции, занятой Натаном Михайловичем. Мне непонятна его подчеркнутая оппозиция по отношению к нам, его коллегам, к советской науке, непонятны его поза и действия, напоминающие действия известного крыловского персонажа по отношению к питающему его дубу...

Федор Иванович потемнел лицом, нахмурился – он болезненно переживал всякую бестактность. Еще тяжелее ударил его гром аплодисментов – как будто несколько поездов пронеслись над ним по железной эстакаде. Он опустил голову и уже не слышал окончания речи. Зазвенел графин.

– Натан Михайлович Хейфец! – объявил председатель.

И сразу зал затих. Профессор Хейфец, бледный, с белыми, как сияние, волосами, в длинной, болотного цвета кофте домашней вязки, слегка согнувшись, спешил к сцене – головой вперед. Суется, он взошел на трибуну и цепко охватил ее края беспокойными пальцами. Долго молчал, приходил в исступление.

– Ругаете! – крикнул внезапно, и голос его будто поскользнулся и упал. – За что? Разве не у вас всех на глазах я с утра до ночи пропадаю – то в лаборатории, то в библиотеке, то на кафедре? Разве вы не видите, что для меня ничто не существует, кроме любимой науки и истины?

– Демагогия! – крикнул кто-то по соседству с Вонлярлярским.

Тот так и шарахнулся в сторону.

– Вас, как вы выразились, ругают за идеализм, – послышался улыбающийся голос Варичева. – За то, что вы романтик-идеалист и не хотите прислушаться к голосу общественности.

– Ничего подобного! Я не романтик и самый строгий материалист. У меня все – расчет, достоверность. Подержать в руках, увидеть в микроскоп, проверить химическим реактивом. А вот вы – идеалисты и романтики. У вас всё – завтра. Ничего в руках у вас не поддержишь. Вы против вещества – против вещества!!! И гордо заявляете об этом. Подумать только – коммунисты и против вещества! У вас в природе происходит непорочное зачатие. По-вашему, если перед овцой я, как библейский Иаков, положу пестрый предмет, она родит пестрых ягнят... Почему я хлопал Ходеряхину? Вы, Петр Леонидович, сохраните на двадцать лет текст вашего сегодняшнего выступления. Сохраните. Через двадцать лет мы вам напомним! Увидите, как меняются точки зрения по мере накопления людьми опыта и знаний. Вдумайтесь – вы все говорите о передаче по наследству благоприобретенных качеств. То, что говорил Ламарк. Но

клетка ведь не может сама себе заказывать свои изменения. Химия и физика это доказали намертво. Вы подождите шуметь, вы сначала постигните это – на это нужно время...

– А вы знакомы со статьей в «Сайенсе»? – опять вмешался голос Варичева. – Там Джеффри высказал обоснованное сомнение в правоте хромосомной теории...

– Читал я, читал эту статью. Да, там высказано. Не доказательство, но обоснованное сомнение. Но ведь познание – бесконечно! Настоящая наука не претендует – как претендуете вы! – на стопроцентное конечное знание! И поэтому публикует все новое, что найдет, в том числе и свои сомнения. Мы не боимся тех, кто только и ждет, чтобы ударить в подставленный нами бок. У ищущих истину ударить в подставленный бок не принято. А кто бьет – не ищет истины. Ну и что! Может быть, и в плазме есть структуры, связанные с наследственностью. Может быть, откроем! Но то, что уже твердо установлено, – от этого мы не откажемся никогда! Сколько бы ни сыпалось брани! Хотя, я понимаю, сегодня мы не найдем правды до самой Камчатки...

– Товарищ Хейфец, – сказал Варичев. – Не то говорите. Признать вас правым будет неправота. И такой неправоты, это верно, вы не найдете до самой Камчатки.

Одобрительные аплодисменты стайкой пролетели по залу.

– Но выступление свое вы все-таки сохраните, – сказал Хейфец. – А сейчас я хочу вернуть Анне Богумиловне ее художественный образ, позаимствованный ею у дедушки Крылова. Сначала – анекдот из жизни. Достоверный. Сидят вместе два наших мичуринца. Один говорит: «Что делать?» Другой: «А что?» Первый: «У Стригалева на двух растениях ягоды завязались». Второй: «Вот сволочь!»

Зал вздохнул и весело загудел. Послышались редкие хлопки.

– А теперь к делу. Анна Богумиловна! Мне помнится, лет десять назад, перед войной, вы ездили в Москву с моей запиской в известный вам институт. Отвезли мешочек семян пшеницы. И вам эти семена там облучили. Гамма-лучами. В институте это зарегистрировано. Еще, помню, вы сказали: «Чем черт не шутит». Вы высеяли облученные семена в учхозе, и выросло много всяких, как вы говорите, уродцев. Но два растения вы сразу заприметили, вы все же селекционер. И вот из них-то и пошли те сорта, которыми сегодня вы по праву гордитесь. Мы с цитологами следили за судьбой этих растений, такое настоящий ученый никогда не упустит. Вместе со Стефаном Игнатьевичем смотрели в микроскоп. Но дуб, который дал вам эти желуди, подрывать, Анна Богумиловна, не годится. Это недостойно...

Голова Вонлярлярского еще страшнее завертелась, как только он услышал слова «вместе со Стефаном Игнатьевичем». А руки сами по себе стали ощупывать костюм, он достал блокнот и судорожно принялся писать в нем. Потом оторвал листок и передал кому-то впереди себя. И белая бумажка, прыгая из ряда в ряд, побежала в президиум.

– ...в науке должна быть уверенность в избранном пути, – тем временем завершил длинную назидательную реплику Варичев.

– Очень торжественно говорите! – возразил Хейфец. – А ведь Колумб не Америку открывать собирался, а Индию. Был уверен в избранном пути. А попал в Америку! А вы говорите – уверенность. Настоящий ученый, если будет заранее знать ответ, не станет и заниматься этим делом! Какая может быть уверенность, если исследуется белое пятно! Простите, ваши слова отражают не научное мышление, а бытовое. Здесь не уверенность, а пытливость нужна! И честность! И устойчивое добродушие! Вы получили аргумент – извольте его обработать, если вы ученый. А не топать. А в общем, все это пустое. – Махнув рукой, Хейфец сошел с трибуны и так же, головой вперед, ни на кого не глядя, прошел на свое место.

Наступила пауза. В президиуме читали бумажку Вонлярлярского. Наклонялись друг к другу, шептались. Потом академик Посошков встал.

– Товарищ Вонлярлярский! Стефан Игнатьевич, пожалуйста!

Выбравшись из ряда, Вонлярлярский пошел по проходу решительным шагом, опустив одно плечо и отмахивая одной рукой. Взойдя на трибуну, он пошатнулся, круто повернул голову к президиуму.

– Товарищи! Да, я – упомянутый здесь цитолог. Но по характеру работы это более к морфологии... Не русло, а берег потока. Если кто-нибудь рассчитывал, что я, будучи вот так, за шиворот втянут... рассчитывал на невольную поддержку... или что я, в худшем случае, ограничусь *резиньяцией*... Я просил бы некоторых выступающих не тащить цитологов в свои запутанные дела и остерегаться... в расчете на поддержку... от всяческих бесполезных *эвфемизмов*...

По залу пролетел шорох смеха.

– Хотя мое дело изучать то, что лежит на предметном столике микроскопа, но все же и меня, видимо, отчасти могла коснуться эта тяжелая болезнь... Не настолько, конечно, лишь косвенно...

– Так тебя же никто и не тянул на трибуну! – отчетливо прозвучал в зале низкий голос.

Вонлярлярский замер с открытым ртом.

– Тем не менее, – продолжал он, несколько раз дернувшись, – должен признать со всей прямоотой... иногда поддавшись общему тону, царившему... хотя бы... – Тряся и крутя головой, Вонлярлярский погибал на трибуне. – В особенности Натана Михайловича, который... которого я... которого я никогда не понимал... Когда в стенах кабинета вы говорите подобное... в ограниченном кругу сочувствующих...

«Он доносит! – подумал Федор Иванович. – Это его личная манера доносить!»

– ...зная, что это мировоззрение стало оружием...

– При чем здесь мировоззрение! – вмешался тот же отрезвляющий голос из зала. Прозвенел графин.

– ...оружием в руках наших врагов... Я не понимаю, Натан Михайлович, и считаю своим долгом... хоть и беспартийный... не по пути... считаю долгом порвать...

Он развел руками, обмяк, сошел с трибуны, на ступеньках чуть не грохнулся в зал и с вытаращенными глазами побрел по проходу. Он трясся, как балалайка, – Федор Иванович вспомнил его слова. Толкнув кого-то, Вонлярлярский втиснулся в свой ряд, упал в кресло и крутнул головой.

И все это время в зале стояла тишина. Все смотрели на него, проводили до места. Потом послышался голос председателя:

– Объявляю перерыв.

Достав свою длинную папиросу, Федор Иванович отправился искать место для курения. В коридоре стоял легкий ропот, уже теснилась, роилась толпа. Кружки беседующих мгновенно замолкали, когда он проталкивался мимо, и все собеседники внимательно осматривали его. В одном из уступов сводчатого коридора Федор Иванович увидел одинокого, оглушенного Хейфеца. Никто не подходил к нему. Федора Ивановича сейчас же что-то укололо, и он подошел с протянутой рукой.

– Поверженного врага подними и облобызай, – насмешливо сказал ему профессор и отвернулся. Руки он не подал.

Чувствуя неловкость, Федор Иванович постоял некоторое время, потом слегка поклонился сутулой спине Хейфеца и отошел. Находясь как бы в тумане, он шел все же к выходу, чтобы на крыльце, под ветерком, затянуться наконец облегчающим душу дымом. Что-то беспокоило его, и, оглянувшись, он наконец понял, что рядом вплотную кто-то идет и, со страстью припадая к нему, что-то горячо лепечет.

Это был Вонлярлярский. Глядя глазами навыкате наискось под ноги Федору Ивановичу, он говорил:

– ...Много развелось у нас таких гордых интеллигентов... которые через каждые три шага сплевывают направо и налево, идя по улице. Если так все будут выгонять сами себя... А знаете, что это такое! Гордыня бесовская – вот что! Люди погублены, сам горю, зато сколь чист! Гер-рой! Ринальдо какое!.. А вы помните, я говорил о трубке? Если я сижу на такой трубке!!! И если система трубок такова, что я не могу переключиться на другую! Другой такой трубки нет, которую можно было бы... проклятому вейсманисту-морганисту... Здесь не до *амплификаций*! Сиди поэтому и молчи. И старайся, чтобы никто не заметил твое тремоло. И я не вижу никакой альтернативы...

– Товарищ Шамкова! – провозгласил академик Посошков, оглядев исподлобья всех и звякнув графином.

Зал постепенно затихал, Вонлярлярский уже сидел на своем месте и был неподвижен. Далеко впереди Елена Владимировна и ее высокий вихрастый сосед о чем-то переговаривались. Стригалева наклонил к ней голову и что-то доказывал. Потом наклонился ниже и отхлебнул из белой бутылочки. А по проходу быстро, мелко шагала и балансировала плечами высокая крупная девица, тяжеловатая в нижней части, с маленькой головой, обтянутой желто-белыми волосами и с большими красными серьгами. Эти серьги делали ее похожей на белую курицу. Все знали о ее отношениях с Саулом и смотрели ей вслед.

Показавшись на трибуне, она, будто прислушиваясь, посмотрела в зал, повернула голову к президиуму, опять посмотрела в зал. Она была похожа на курицу, услышавшую шорох в кустах.

– Два дня назад комиссия проверяла наши работы в учхозе, – спокойно начала она читать с листка. – Товарищи остались в общем довольны нашими опытами по вегетативному сближению скрещиваемых растений. Прививки наши понравились, и, конечно, было приятно услышать из уст такого специалиста, как Федор Иванович Дежкин, высокую оценку. Однако от зоркого глаза проверяющего не укрылось одно обстоятельство, и, хоть это не получило дальнейшего развития, он выразительно дал всем нам знать, что обстоятельство замечено. И вызывает недоумение и тревогу...

Ползучая теплота подошла к горлу Федора Ивановича, поднялась к голове, подступила к ушам, к корням волос. «Неужели опять это! – подумал он, ослабляя галстук на шее. – Опять я! Опять моя правда заслонила свет хорошему человеку! Неужели повторение!»

– Федору Ивановичу показалось странным, что все наши прекрасные прививки сделаны нами по крайней мере за четыре месяца до того, как на сессии академии прозвучал призыв ко всем нам сплотиться вокруг знамени мичуринской биологии, поднятого нашими выдающимися лидерами Трофимом Денисовичем и Кассианом Дамиановичем. А я скажу, что не за четыре месяца, а за полгода – в феврале мы уже сажали наши подвои в горшки. Что же, товарищи бывшие апробированные вейсманисты-морганисты, которым аттестационная комиссия не утвердила степеней, – выходит, вы загодя, задолго до сессии начали вашу перестройку? Это, конечно, сделало бы вам честь. Но тогда почему вы, уже запланировав свои прививки, ориентируя на них еще осенью своих сотрудников и аспирантов, почему вы не отзываем свои диссертации, публикуете статьи совсем другого содержания? Ну да, статья пролежала в редакции почти год, – тогда почему вы не выступаете с принципиальным заявлением, хотя бы устным? Забывчивость? Мягкость характера? Не приобрели еще мичуринской боевитости?

Она замолчала, глубоко вздохнув, набирая силы. Зала словно не было – такая стояла тишина. Елена Владимировна сидела вдали неподвижная, прямая. Стригалева тоже замер, скрепив руки на груди, словно обнимал сам себя.

– Нет, товарищи, – тихо сказала Шамкова. – Никакой забывчивости нет. И характер – дай бог каждому. И боевитость такая, что о-го-го. Дело все гораздо проще и печальнее. И печальнее! Все эти красивые и хорошо исполненные прививки – сплошной обман, самая настоящая

виртуозная фальшивка, почуять которую может только человек с тонкой интуицией, такой, как Федор Иванович Дежкин. С помощью этой фальшивки обманывают общественность, государство, партию и в конечном счете – самих себя. Привиты у них не просто дикари, товарищи. Полиплоиды! Колхицинирование проводится дома, на подоконнике, – откуда-то ведь достали импортный колхицин! Откуда, спрашивается? Мы, по-моему, это зелье не импортируем... А потом полученного уродца приносят в институт. Рос на собственном корне, будет расти и на подвое! А мы будем тем временем скрещивать полиплоид с культурным сортом, искать философский камень, занимать дефицитную площадь, расходовать государственные средства! Как вы понимаете, я не щаю и себя. Будучи аспиранткой Ивана Ильича Стригалева, видя все это, видя двойную бухгалтерию, которую вел мой руководитель... А он уже год назад чувствовал, что идут черные для вейсманизма-морганизма времена, и завел два журнала. Два! – Восклицания у нее тоже получались тихими. – Один мичуринский, фальшивый, другой – зашифрованный, формально-генетический. В фальшивом пишет: изменение числа хромосом под влиянием прививки. А изменяет-то кол-хи-цином!

– А получалось? – коварно спросил кто-то в зале.

Раздался смех, кто-то захлопал.

– Не в том дело, что получалось, а в том, что велись фальшивые записи, – спокойно сказала Шамкова. – И я должна была довести все это до сведения общественности – и не сделала этого вовремя...

Она спокойно высказала все это и спокойно смотрела в зал, отдыхая.

– У вас все, Ангела Даниловна? – хмурясь, спросил председатель.

– Нет, не все. – Она взглянула в свою бумагу. Тихо продолжала: – Меня удивляет, товарищи, – в наше время, когда вся страна включилась в великую битву за перестройку научных основ нашего сельского хозяйства, в такие дни занимать позицию, которая выгодна... которой будут рукоплескать за рубежом... И притом ладно уж сам... Но студентов, Сашу Жукова в это дело вовлекать, сбивать с толку! Комсомол старается формировать крепкие моральные устои, мировоззренческую убежденность... И вдруг так спокойно губить, коверкать молодому, совсем мальчику, жизнь. Я никогда не могла понять... Такой не знающий жалости эгоизм...

Она сошла с трибуны под страшный грохот и рев зала. Чуть слышно зазвонил графин. Сразу же поднялись в разных местах несколько рук.

– Товарищи! Товарищи, заявок с мест не принимаем, подавайте записки! – крикнул председатель.

– Сейчас начнется, – довольно громко сказал за спиной Федора Ивановича басистый старик.

И действительно началось. Какие-то люди – добровольцы – один за другим спешили на трибуну, трясая головой, требовали самых суровых, решительных мер.

– Товарищи! – кричала какая-то пожилая женщина с красными волосами. – Вообразите, что было бы, если бы победили не мы, а фашисты. Они бы всех нас, мичуринцев, всех до одного перевешали! А этого-то, закоренелого... вейсманиста-морганиста... поставщика аргументов для их расистских бредней...

– Христиан – львам! – вдруг внятно сказал кто-то в зале.

– Вы историк, вот скажите, – вполголоса басил сзади старик. – Вы не заметили – отчего бы это: как забрасывать кого камнями или омыwać кому слезами ноги – всегда впереди женщины... Не задумывались, отчего это?

Минут через двадцать, в течение которых на трибуне сменилось человек шесть или семь и сквозь жаркий туман и грохот слышались их напряженные голоса, в президиуме поднялся Варичев.

– Товарищи! – сказал он под звон председательского графина. – Товарищи... Я хорошо понимаю ваши протесты. Я думаю, истина в нашем споре с вейсманистами-морганистами уже

более чем ясна. Голос научной общественности – с ним нельзя не считаться... Хотелось бы услышать, как относятся к нему те... Иван Ильич, – сказал он миролюбиво. – Мы хотели бы послушать... Аудитория ждет от вас...

Шум быстро стал опадать. Далеко впереди Елена Владимировна чуть заметно пожала руку Стригалева. Он опять отхлебнул из белой бутылочки и встал – очень худой, взъерошенный, как будто спал не раздеваясь и его подняли. Угрюмо оглянулся на зал и стал выбираться из ряда. Не спеша пошел по проходу, не спеша поднялся на трибуну, почти налег на нее локтями, стал смотреть куда-то в потолок, ожидая тишины.

– Да, было, было два журнала. Два, – заговорил он тихим, как бы недовольным голосом и еще сильнее налег на трибуну, все так же глядя вверх. – В общем, что получается... Свобода не для всякого слова – часто я такое слышу. Враг тоже хотел бы протащить свою пропаганду, поэтому не подпускать его к трибуне. Что – не так? А я – враг. С точки зрения советской науки, стоящей на правильных позициях. Это сегодня каждому ясно. Кому даем трибуну? Кому даем средства, зеленый свет? Мичуринской науке в лице академиков Лысенко и Рядно. Конечно, не в лице Мичурина. Еще неизвестно, что бы старик Мичурин сказал. А кто, скажите мне, – тут он в первый раз пристально посмотрел в зал, – кто определит, на правильных ли позициях стоят наши академики? Да сам же Кассиан Дамианович и скажет. А враг, то есть я, говорит, что он не прав, что если по академику Рядно все делать, отстанем на полвека. И начнем голодать. А коллектив – объективный критерий – кричит на это: «Предупреждаю в последний раз! Делай так, как требует академик Рядно». Я обращаюсь к начальству. А оно ничего не понимает и враждебно. Его тоже наши академики ведут под обе ручки, с бережением. А в конечном итоге ответственность за науку и, стало быть, практику лежит на ком? На начальстве? Как бы не так – начальство скажет: «Меня обманули. Слишком часто говорили эти слова: „диалектически“, „скачкообразно“ – и я поверил. Поскольку специального образования не имею». И не на коллективе ответственность будет лежать. Он скажет: «Я заблуждался, меня обкурили этим... веселящим газом». Ответственность будет на том, кто все понимает, на кого газ не действует, на ком противогаз. На мне, на мне лежит ответственность. И меня надо будет судить, если я поддамся и не сумею ничего... Для чего тогда меня учили в советской школе? В таких условиях и приходится...

– И все же вы заблуждаетесь, – округлив глаза, перебил его из президиума ректор.

– Я не могу нажать на своем теле кнопку и перестать заблуждаться.

– Мы ее нажмем! – крикнул кто-то в зале.

– Вы отрицаете среду, – мягко, отечески сказал Варичев.

– Никакой настоящий ученый не станет отрицать или утверждать то, что ему не известно с достоверностью. Мне достоверно известно...

– Вы все время смотрите куда-то в потолок, – так же мягко, с улыбкой перебил его ректор. – Вы кому говорите?

– Богу, богу... – с такой же улыбкой, показав стальные зубы, ответил Стригалева.

И Федор Иванович заметил – в аудитории сразу потеплело. Но ненадолго.

– Так я и говорю: мне достоверно известно первое – чуть больше чем полупроцентный раствор колхицина дает удвоение числа хромосом у картофельного растения. Сам сотни раз удваивал. И знаю, как это делается и почему. Видел в микроскоп и держал в руках. Второе: это удвоение дает организмы, во многом отличающиеся от исходных. Третье: эти новые растения, если они до эксперимента были привезенными из Мексики дикарями, теперь, приобретая новые качества, вступают в скрещивание с «Солянум туберозум», с картошкой! То есть открываются новые пути для селекции. Так что же – мне отказаться от этого?

– Вы уродуете природу! – отчаянно закричал кто-то в зале.

Стригалева посмотрел в сторону крикуна и грустно покачал головой.

– Голос невежды. Дело в том, что все наши эксперименты – это лишь повторение того, что в природе происходит миллионы лет. А вот ваше «не ждать милости, взять» – вот оно больше похоже на насилие. Только природу силой не больно возьмешь. Вот и я. Уступить силе мог бы. Но не уступлю. А убедиться – это не в моих силах. И вам пока не удастся убедить...

– Почему? – сказал Варичев. – Среди нас есть товарищи, которых мы убедили... Они нашли в себе мужество...

– Ну, такого мужества я в себе не нахожу.

Стригалева помолчал немного, как бы ожидая новых вопросов.

– Крестьянина, крестьянина вы забыли! – закричал кто-то в дальнем углу зала. – Что он скажет о вашем колхозе?

– Крестьянин – это не ученый, а практик, – тихо сказал Стригалева. – Практика – это память о привычной последовательности явлений. Посадил зерно – должно прорасти. И действительно, растет. Это не наука, а память о причинных связях. Ученого характеризует знание основ процесса. Два года назад товарищ Ходеряхин во время отпуска где-то на своей родине в поле нашел колосья голозерного ячменя. Привез, высеял на делянке, получил урожай и говорит: «Я вывел новый сорт!» Даже академик его поздравил. А это оказался всего-навсего широко распространенный китайский ячмень «Целесте». Он даже этого не знал! Товарищ Ходеряхин был здесь типичным практиком-крестьянином, но не ученым. Крестьянин может вырастить хороший урожай, но это не дает ему права называться ученым.

– А по-вашему, плохой урожай – это наука? – закричали из зала. – А хороший – значит, практика?

– Я высказал вам свою точку зрения, – сказал Стригалева, не замечая криков. – Никем серьезно не опровергнутую точку зрения.

Еще постоял на трибуне, поглядел в зал, оглянулся на президиум и не спеша сошел вниз.

Зал ровно шумел. В разных его концах шли дискуссии. В президиуме Цвях, поворачивая голову то в одну сторону, то в другую, пристально слушал и время от времени ставил перед собой вертикально свой карандаш. Посошков – опытный председатель – не звонил в свой графин, давал всем выговориться. Потом поднес палец с золотым кольцом к графину. И тут впереди Федора Ивановича у самой сцены раздался дребезжащий голос профессора Хейфеца:

– Прошу слова для заявления!

– Неужели каяться пойдет? – сказал кто-то сзади.

– Думаете, осознал? – спросил басистый старик.

– Не знаю... Но вид у него решительный.

Хейфец уже стоял на трибуне, торжественный, откинувшийся назад.

– Я хочу сделать следующее заявление, – задребезжал его голос в странной тишине. – Я не выступил с ним раньше из ложной сентиментальности – не поворачивался язык. Я не допускал мысли, что такие методы возможны... Слушая ваш, Петр Леонидович, доклад, я ожидал: вот-вот он назовет фамилию Ивана Ильича Стригалева. Вы не назвали, и я подумал: ну, великодушен наш... Я проникся уважением! И решил, в свою очередь, промолчать о том, что знал. А теперь я заявляю, что я согласен с вами: нам действительно не по пути! Вчера, товарищи, двое из сидящих здесь в зале слышали и записали следующую беседу товарищей Варичева и Побихо с Анжелой Шамковой. Они зашли в эту комнату... ну, эту, где фанерка. Чего не натворишь второпях. А за фанеркой, в моем кабинете – пока в моем, – эти два товарища нечаянно оказались. И вот что они услышали и записали. Слушайте! «Варичев: Товарищ Шамкова, ты знаешь, что твой руководитель формальный генетик? Она: Нет. Он: А мы знаем. Придется тебе выступить на собрании. Она: С какой это стати? Он: А с такой – мы все знаем, вас во время ревизии Дежкин Федор Иванович уличил. Так что ты не запирайся, нам все известно. Не выступишь – так вылетит из аспирантуры. Руководителя снимем, а теперь это ясно, вылетит и ты. А выступишь – получишь новую тему и нового руководителя». Замечаете, каков стиль! «Ты» –

как с карманником в отделении милиции! Ну и после этого Шамкова, подумав, рассказала им все, что вы слышали. Потом Петр Леонидович вышел, и Побяхо одна домолачивала Шамкову. Тут уж товарищи и меня позвали послушать. Вы, Анна Богумиловна, сказали: «Милочка, уж как я быстро сделаю тебя кандидатом!»

– Товарищ Хейфец, не сгущайте краски! – загремел из президиума Варичев. – Такой разговор был, но совсем в другой тональности.

– Хорошо! Не время доказывать. Но вы же сделали вид, что ничего не знаете! Должны были сразу честно сказать, внести в доклад! А то как новость сенсационную подали! Накаляете страсти.

– Мы молчали, чтоб дать возможность самому Ивану Ильичу...

– Вот-вот! Значит, вы его, как волка, в засаде подстерегали! Организованно!

– А ваша маскировка – это не прием? – закричал кто-то из зала.

– Мы в обороне. Это тактика.

– А мы – в наступлении! – сказал Варичев, поднимаясь. – Вы прислушайтесь к залу, товарищ Хейфец! Прислушайтесь! Коллектив не на вашей стороне.

– Как же я могу прислушиваться к коллективу, когда он весь обкурен парами догмы и, надыхавшись, бредет, как во тьме, не видя пропастей и давя ногами невинных!.. Когда он отдышится от этого газа...

– Товарищ Хейфец! Товарищ Хейфец!.. – это председатель, звеня графином, подал голос.

– ...когда он опомнится, тогда я отдамся на его суд. А сегодня лучшим коллективным деянием, деянием ради общества, ради всех, будет отделение от такого коллектива...

– Товарищ Хейфец! Я принимаю ваше устное заявление, – ледяным голосом протрубил Варичев. – И налагаю устную же резолюцию. Вы больше не член нашего коллектива. Можете...

– Мне здесь и делать нечего!.. – Хейфец отмахнулся рукой, спускаясь в зал. – Сделали из биологии *филофосию*! Сплошные обскуранты!

– Позор! – отчаянно закричал кто-то в зале.

– Ничего, буду сам ковыряться! – выкрикивал Хейфец, идя по проходу. – Заведу огород под кроватью! Хватитесь еще, хватитесь!

Хлопнула тяжелая дверь...

В глубоких сумерках Федор Иванович и его «главный» возвращались к себе в комнату для приезжающих. Федор Иванович молча углубленно курил, как-то внезапно ослабев. Во-первых, потрясло то, что у Стригалева, кроме стальных зубов, лагерного прошлого и какого-то общего сходства с никелевым геологом, оказались еще два журнала, двойная бухгалтерия. И он, Федор Иванович, опять приложил руку к тому, чтобы отравить жизнь такому человеку. И он уже чувствовал, что человек этот прав.

А во-вторых, он только что видел: Елена Владимировна и Стригалева быстро прошли, почти пробежали мимо и скрылись в потемневшем парке. Елена Владимировна держала его под руку, заглядывала ему в лицо. «Да, – думал Федор Иванович, – он, конечно, лучше меня, если честно признаться. Что – я? Опять „нечаянно“ человеку ножищу подставил! И с какой это стати, какое я имею право, приехав со стороны, вмешиваться в их давно сложившиеся устойчивые отношения, судя по всему очень серьезные?»

Цвях размяк по-своему. Глядя под ноги, размышлял вслух:

– Всегда, Федя, я не перестаю удивляться, наблюдая движение стай. Например, рыбьих мальков. Это же черт-те что! Вот идут все параллельным курсом. Потом вдруг хлоп! – как по команде, все направо. Или налево... Так, вместе, маневрируя, и подрастают, потом вместе попадают в одну сеть, а там и в одну бочку... Что за закон?

«Неужели и здесь я, верный своей планиде, сунусь и разрушу – теперь целых две судьбы?» – думал Федор Иванович.

– Да, Федя. – Цвях вздохнул. – По-моему, мы с тобой гнали сегодня еще одну собачечку. А? Такое не забудешь...

«Нет, нет, ни в коем случае не сунусь! Бежать надо, бежать! Хватит с меня разрушенных судеб», – думал Федор Иванович, в то же время кивая Цвяху.

– Когда я был маленьким, – Цвях заулыбался, – мать, бывало, пироги печет, и у нее остается: или тесто, или начинка. Если тесто – булочку испечет, накрутичек. Если начинка – котлетку. Я так думаю, Федя, Вонлярлярский – как такая вот булочка.

– Без начинки, – согласился Федор Иванович. – Но сколько их в булочной...

– Но добровольцы-то каковы! Как рванулись топтать! А глаза видел? Загадка века.

– Загадка веков, – сказал Федор Иванович. – Загадка всей человеческой популяции.

– Все же мир до конца непознаваем, – вдруг сказал Цвях. – Знаешь, я сейчас беседовал с одним из этих добровольцев. Молодой. Пока о вейсманизме шло – тарашился. Потом я спрашиваю: «У вас, наверно, есть мама?» – «А как же!» – и уже мягкий. «И вы ее любите?» – «Кто же не любит свою мать?» – «Как тебя зовут, сынок?» – «Слава», – и вытер лоб, смотрит на меня ясными, добрыми такими глазами. Совсем другая система! Правда, в его взгляде проглядывался такой жучок... Он почувствовал, что я неспроста интересуюсь. В общем, загадочка!

Они помолчали некоторое время.

– И я спрашиваю себя, – продолжал Цвях. – В джунглях Амазонки висит на лиане вниз головой такое странное существо с зеленой шерстью, с круглыми глазами. О чем оно думает? Как? О чем думает собака? О чем и как думал головастый дурачок Гоша у нас в деревне? О чем думает этот доброволец? О чем в действительности, для себя, думает Варичев? Наверняка же не о том, что говорит! Нет, никогда не узнать. Башка раскалывается! Вот я – кто я такой? Наверно, прав Стригалева – обыкновенный я крестьянин. Причинные связи, последовательность фактов запомнил и делаю все, как эта связь велит. Посадил зерно – смотрю, растет. Лезет, понимаешь... Но они – если знают столько, сколько я, куда они суются? Почему так орут? Я, например, очень серьезно слушал этих... Хорошо ведь аргументируют. А те не понимают! А, Федя? Я тебе честно признаюсь, хочешь? Я до этого дня никогда не слышал ихних аргументов. Только наши... Думаю послезавтра удрать отсюда к чертям. Вернусь к своим яблоням, это дело мне знакомое, простое, проще ихних вопросов. Дело свое мы тут сделали, а наблюдать со связанными руками всю их заваруху нет сил. Прав, прав ты был, когда у Тумановой... Добро – это страдание. Сидел я в этом президиуме и чувствовал: становлюсь все добрее. Еще немного, и заеду кому-нибудь по роже. Давай, Федя, послезавтра утречком на поезд, а?

«Вот! – подумал Федор Иванович. – Это и есть выход. Уеду!»

С грустью, но решительно он простился со своей мечтой. И даже замедлил шаг от внезапной слабости. Глубоко вздохнул.

– Ты что, Федя? Чего охаешь?

– Да так...

– Не переживай. Я сам тогда чуть не подпрыгнул, когда ты... От восхищения. Это же само собой получается – радость по поводу своей проницательности. На научный восторг похоже, когда откроешь явление. Тут человек делается как полоумный. Ты же себя сам и остановил. Я все видел – ты опомнился. Вот только чуть поздновато. Не нами сказано: слово не воробей...

Федор Иванович молчал. Усиленно дымил папиросой.

– С этой биологической наукой сегодня все стали следователями, – ворчал Цвях. – Смотрят друг на друга, норовят с хвоста зайти. Конечно, в таких условиях держи ухо востро. Брякнешь что не так – и нет человека.

Сами того не замечая, они постепенно нагоняли шеренгу студенток. Девушки спорили о чем-то, то и дело останавливались, бросали растопыренные пальцы одна другой в лицо. Когда Федор Иванович и Цвях подошли к ним вплотную, студентки опять остановились. «Гнать,

гнать его надо из комсомола!» – услышал Федор Иванович одно и то же, несколько раз повторяемое на разные голоса. С клюющими движениями головой.

– Кого это вы так, девушки? – Цвях, широко улыбаясь, остановился перед ними.

– Вы были на собрании? – спросила одна, и из мрака выступила ее юная красота, одухотворенная спором.

– Оттуда идем...

– Значит, слышали все! – наперебой сердито зашебетали они. – А как же! Он же вейсма-нист-морганист! Вчера мы с ним поспорили...

– Это что, ваш товарищ?

– Сашка Жуков? Какой он товарищ! «Товарищ»!.. У Стригалева днем и ночью торчал. Все знал и молчал...

– А-а... – вдруг прокаркал в темноте некий узенький человечек, подошедший сзади. – Тогда правильно! Мало ему, дрянь такая! Исключить его! Посадить! Расстрелять! – удаляясь, каркал он с тончайшей издевкой.

– Вот видите! – сказал Цвях, постепенно переходя к нотации. – Вот так необдуманно покричите на улице – и получится как донос. Глядишь, и из института человека исключат...

– И правильно сделают! – крикнула красивая и поджала губы. – Мы с ним не разговариваем!

Почти бегом Федор Иванович и Цвях бросились от них наутек.

– Ну цыплятки! – крикал и качал головой Цвях. – Совсем как у тети Поли! Ключут...

– Я их не могу осуждать, – негромко сказал Федор Иванович. – Сам в детстве клевал...

– Да, ты прав, прав. Юность – страшная вещь. Даже когда за правое дело бросается в огонь, она и тут бывает страшна, потому как не понимает же, не понимает ни черта! А рука уже тяжелая, как у большого. Я-то был тогда совсем ведь молодым, когда на крест веревку...

Они надолго замолчали. Потом Цвях развел руки, словно обнимал надвигающуюся ночь, и глубоко втянул в себя воздух.

– Прямо на глазах потемнело. А чувствуешь, Федя, какой воздух? Ночь любви! Погуляем напоследок?

Федор Иванович послушно подчинился, и они свернули в парк.

– Брось курить в такой вечер, – сказал Цвях и, выхватив у него изо рта папиросу, бросил. – Дыши и мечтай. Знаешь о чем? О прекрасной женщине.

Они брели между деревьями, почти впотьмах. Иногда мимо них в теплом мраке скользили, неслышно уклонялись в сторону темные человеческие фигуры, сгустки тайны, все по двое – одна тень высокая, другая пониже. И Федор Иванович каждый раз угрюмо всматривался в них, прислушивался к тихим голосам.

Утром в субботу они, разбросав на койках свои вещи, складывали их в чемоданы.

– Никак вчерашний денек из головы не идет, – говорил Василий Степанович. – Я так думаю, Федя, у всех, кто там был вчера, проснулось это самое... Помнишь, говорил я тебе про спящую почку. Про героев и подлецов. По-моему, у всех.

– И в вас?

– Шевелится, Федя. Так что едем в самое время. Подальше от соблазна.

Федор Иванович вспомнил о своем неоконченном эксперименте. Пробирка с десятью мушками и мутно-розовым киселем на дне по-прежнему стояла на подоконнике в стакане, спрятанная от постороннего глаза. У мушек кипела жизнь. На границе с киселем у самого дна уже были приклеены к стеклу словно бы комочки манной крупы – яйца мушек.

– Выпустить надо их... – проговорил задумчиво Федор Иванович.

– Зачем было тогда огород городить? – сказал Цвях сзади него. – Ты сам говорил – ясность надо вносить. Возьмем с собой в Москву. Если тебе не интересно – я возьму.

После завтрака, выйдя из столовой, они разошлись. Цвях отправился в ректорат – отмечать командировочные удостоверения, а Федор Иванович, полный надежд, как охотник, углубился в парк, прошелся к учхозу. И в учхозе в этот день не было практикумов. В институте шли занятия, понятное дело, все были там, в аудиториях.

В два часа дня они, пообедав, завалились на койки. Федор Иванович лег, чтобы наедине с самим собой потосковать, но замечательно заснул и проспал часов до пяти. Проснувшись и сев на койке, он покачал головой, удивляясь самому себе, потом вскочил и отправился к Борису Николаевичу Пораю – попрощаться. Дорога к дядику Борiku шла сначала парком, потом полем, затем, перейдя по мосту через ручей, он оказался на знакомой улице, дошел до первой площади и некоторое время постоял под аркой большого дома – как раз под балконом поэта Кондакова, под его спасательным кругом. Он внимательно осмотрел знакомое семиэтажное здание, но окон Елены Владимировны так и не нашел.

Дядик Борик жил в стороне от новой, застроенной серыми кирпичными домами улицы. В его переулочке были сплошь деревянные оштукатуренные домики с мезонинчиками – сплошная старина, царские времена. Федор Иванович прошел через двор, взойшел по скрипучей деревянной лестнице на второй этаж и позвонил у высокой старинной двери. Открыла маленькая желтолицая жена Порая. Она сразу узнала Федора Ивановича и пропела:

– Давненько, давненько! А у нашего дядика Борика сегодня опять день механизатора. Борис! – с досадой крикнула вглубь квартиры. – Ничего не слышит. Проснись, к тебе гости! Учитель пришел!

– Я попрощаться... – сказал Федор Иванович, проходя в большую комнату с двумя сосновыми стойками в центре, подпирающими потолок.

По сторонам громоздилась всевозможная старинная мебель, а между стойками во главе длинного стола в старинном кресле с «ушами» восседал дядик Борик – поставив локти на стол, подперев руками голову, запустив два пальца в рот и закусив их деснами – в позе глубочайшего раздумья. Тяжелые веки были опущены на глаза, жирные, нечесанные пряди свалились на лоб. Перед ним стояла сковорода, на ней было несколько котлет и вилка с надетым куском. На две трети отпитая бутылка водки и граненый стакан с остатками на дне выдавали весь смысл «дня механизатора», и без того давно знакомый Федору Ивановичу.

– Проснись, кандидат наук! – Женщина сильно потрясла его за плечо. – Пришли к тебе! Федор Иванович, Учитель пришел!

– Цыц! – чуть шевельнул он толстыми губами. Углубившись в себя, он дышал с нутряным озабоченным сопеньем. Потом веки медленно поднялись. Он поднес руку к бутылке, приглашающе ткнул пальцем. Осмысленный взор с лукавым вопросом остановился на госте.

– Нет-нет, я не буду, – поспешно сказал Федор Иванович.

– Не все такие, как ты, – подхватила женщина.

– Цыц!.. Переевшая мне мозги... – ползучим голосом пробормотал дядик Борик, перемежая слова сопеньем. – Это я вместо энергичного термина. Хорошего термина, который ей не нравится. – Он усмехнулся. – Да, Учитель, у дядика Борика сегодня... Сегодня у него день механизатора. Досрочный. Если вы хотите разделить...

– Спасибо, дядик Борик, спасибо... Почему досрочный?

– Есть причина... Приходите дня через три. Сейчас я беседую с вечностью. Вам, трезвому, в нашем обществе места нет. Приходите, дядик Борик хотел вам что-то... Запомнил...

– Я же уезжаю.

– В Москву? Ну что ж, с богом... Счастливого пути. Приезжайте...

И веки тяжело опустились.

Идя назад, Федор Иванович все же посматривал по сторонам, что-то, тихонько догорая, все еще напоминало о себе туповатой болью. В комнату приезжающих он вступил с очистив-

шейся душой, перешедшей на новый путь. Да, эта поездка была для него серьезным испытанием, научила многому, произвела хорошенький массаж.

Цвях ждал его, сидя на своей койке.

– Касьян сейчас звонил. Придется мне одному ехать в Москву.

– Что такое?

– Тебе велит оставаться. Я ему за тебя ответил, что ты как раз об этом думал...

– Меня бы следовало спросить, – сказал Федор Иванович угрюмо. – Я уеду вместе с вами. Что смотрите? Уеду, уеду...

– Не уедешь, Федя. Тут знаешь сейчас что начнется? Не уедешь. Останешься на месяц исполняющим обязанности, остороженько поможешь кому-нибудь. Ретивых маленько придержишь. Надо, надо остаться, я дал ему твое согласие. А то ведь Саула пошлет... Они здесь очень будут рады...

– Ну как же вы все-таки! – Федор Иванович сел – прямо рухнул на свою койку, хлопнул рукой по колену. И сейчас же почувствовал, что все эти движения фальшивы. Замер на койке, прислушиваясь к самому себе, улавливая отдаленный голос. Этот голос уже не раз подталкивал его к какому-то решению. В переводе на человеческую речь это звучало примерно так: «Неужели ты мог бы удрать оттуда, где по твоей вине обрушилась чья-то судьба? Ведь если бы ты не развернул все свои перья, красуясь перед Еленой Владимировной, не разошелся вовсю там, в оранжерее, все могло бы быть иначе. И этот Стригалева – он ведь прямо копия того геолога, искавшего никель...»

– Он еще сегодня позвонит, – сказал Цвях.

Телефон зазвонил, когда в комнате совсем стемнело, – было видно только синее окно. Федор Иванович снял трубку и сразу услышал веселое гусиное гагаканье академика Рядно:

– Я тебе почему звоню. Ну, во-первых, сынок, я доволен твоей работой. Ты выполнил сложное и ответственное задание. Справился. Проявил такт, правильно зацепил и наших. Так им, дуракам. Объективность прежде всего! И этого, Троллейбуса, вывел на чистую воду – это ж у них фельдмаршал был! И сам в стороне остался – чтоб не думали, что академику Рядно нужны жертвы. Я ж знал, кого послать! Саул на такие тонкости не способен. В общем, ставлю тебе пять, сынок. Пять с плюсом. И Варичев доволен. Теперь слушай «во-вторых». Понимаешь, начатое дело нужно доводить до конца. То, что сделано, – это только начало. Ты, конечно, и здесь мне вот так нужен, с твоим талантом... – Он умолк на время. – Однако и там... Нужно еще насаждать и укреплять. Там сейчас начнут вейсманистские талмуды жечь – не бойся, это сделают без тебя, я сказал Варичеву. С такими вещами ты не станешь мारаться, я ж знаю тебя, сынок. Ты мне учебный процесс на новые рельсы переведи. Учебники, методику – все это пришлю. Я прослежу. И проблемную лабораторию... Там пока ничего не трогай, так все оставь. Я тут для тебя новую проблему готовлю. На старом сусле, но с новыми дрожжами. Пока этого хватит. Идейка будет – упадешь, как узнаешь. Но это – после поговорим...

– Я-ас-сно, – сказал Федор Иванович.

– Энтузиазма не чувую, Федя...

– Какой тут энтузиазм, когда кругом...

– Борьба идей, сынок. Закаляйся.

VI

Рано утром в воскресенье за окном раздался сигнал институтского автобуса. Федор Иванович подхватил чемодан своего товарища и вслед за Цвяхом вышел на крыльцо.

– Ну, – бодренько сказал Василий Степанович, – втравил я тебя в это дело, теперь держись.

Крепко пожали друг другу руки, и Цвях укатил.

И остался Федор Иванович один. Воскресенье тянулось очень медленно. Вдобавок еще начал накрапывать, а потом и всерьез разошелся мелкий осенний дождь. Федор Иванович почти весь день пролежал на своей койке, глядя в старинный сводчатый потолок.

В понедельник с утра он был в ректорате. Там секретарша Раечка дала ему прочитать приказ, где значилось, что кандидат биологических наук Дежкин Федор Иванович «сего числа и до особого распоряжения» назначается исполняющим обязанности заведующего кафедрой генетики и селекции с одновременным исполнением обязанностей заведующего проблемной лабораторией. Поставив под этим приказом простенькую подпись, Федор Иванович ушел в «свой» корпус.

Все преподаватели уже сидели в той комнате, что была рядом с кабинетом заведующего кафедрой. Ходеряхин тонко и грустно улыбался, Краснов вежливо глядел в пол. Анна Богумиловна издала веселый рык:

– Вот и наш зав!

Здесь же сидел за столом и профессор Хейфец. Встав, он тронул Федора Ивановича за локоть и тихо, почтительно попросил:

– Вы позволите мне взять портреты?

– Пожалуйста, – так же тихо ответил Федор Иванович. – Я еще не принимал у вас кафедру.

– А что там принимать... – Старик посмотрел с древней, библейской тоской.

И Федор Иванович ответно коснулся его руки:

– Пожалуйста, берите все, что вам надо. И я бы хотел, чтобы вы не навсегда...

– Что будем делать с иконостасом? – громко гаркнула Побияхо. – Может, отнесем эти портреты на хоздвор?

– А что на хоздворе?

– Федор Иванович, вы еще не знаете? – тихонько прогудел около него Хейфец. – Там уже с семи утра костер... Жгут книги. Пожилая бездарь и молодая глупость жгут классические учебники.

– Портреты отдадим Натану Михайловичу, – сказал отчетливо Федор Иванович.

– Портрет академика Лысенко надо заменить, – заметила Побияхо.

– Что толку? – сказал ей с улыбкой Хейфец.

– Замену поручим вам, Анна Богумиловна. – Федор Иванович устремил на нее мягкий непроницаемый взгляд.

– А мне что делать? – подал голос Стригалева. Он тоже был здесь, сидел в углу.

– Как – что? Я вижу, вы в пиджаке и с галстуком. У вас сегодня, по-моему, лекция. Значит, вам идти в зал.

Тут он заметил Елену Владимировну. Все это время она пристально смотрела на него, но он был занят разговором с другими. Теперь заметил и на миг остановил на ней свой мягкий прохладный тициановский взгляд, который можно было прочесть примерно так: «Надеюсь, мы покончили наконец со всеми боевыми заданиями. Слава богу. Теперь на основании приказа ректора мы можем перейти к спокойным деловым отношениям».

– Я считаю, что все должно идти, как шло, – сказал он. – Правда, с некоторыми поправками, смысл которых, я полагаю, всем ясен.

Что-то вздрогнуло в нем, и больше он на Елену Владимировну не смотрел. Он знал, что недостатков у него хоть отбавляй – он и неказист, и рост маловат, и слишком открыт, и наивен, и хорошо умеет попадать впросак, а она вон какая – ее совсем не видно. Нет, хватит! И он захлопнул все ставни.

Она, конечно, все это прочитала, похолодела и, гневно сведя честные четкие брови, стала смотреть в окно.

Стригалева поднялся, взял свою тоненькую кожаную папку и вышел. Комната постепенно пустела. Федор Иванович тронул кофту профессора Хейфеца.

– Натан Михайлович, пойдёмте, я помогу вам снимать портреты.

Старик, посапывая, послушно поплелся за ним. В кабинете Федор Иванович поставил под портрет Менделя стол, сняв с него спиртовку, на которой неделю назад Леночка варила кофе. На столе утвердил стул – и вот портрет уже стоит на полу, и поникший Натан Михайлович рукавом кофты стирает паутину с тяжелой дубовой рамы.

Когда был снят со своего места Морган, послышался неуверенный стук, дверь кабинета приоткрылась, и показался хмурый Стригалева.

– Вы не пошли? – Федор Иванович спрыгнул со стола.

– А вы посмотрите, что там делается...

Федор Иванович не стал ничего спрашивать. Похлопал в ладоши, отряхивая пыль, и, не оглядываясь, устремился в коридор быстрым, строгим шагом.

Обе половинки дверей Малой лекционной аудитории были распахнуты. На скамьях, амфитеатром уходящих к потолку, группы студентов замерли, и было видно, что появление строгого и решительного нового завкафедрой прервало горячие споры. Все повернули головы к входу. Самая большая группа собралась внизу, на помосте, где была кафедра и стол для демонстрации экспериментов. Здесь же стояла Анжела Шамкова. Ее белый палец с бледным ногтем как бы писал нервные завитушки на листе бумаги, лежавшем на столе.

Федор Иванович подошел.

– Нет, ты подпишешь, – говорила Шамкова сильно покрасневшему молоденькому студенту. – Лекции он читал неинтересные. И мичуринское учение у него получалось с подкладкой, с обманом. Он же вейсманист-морганист! Его все равно уже...

Студент с ужасом оглянулся, увидел Федора Ивановича и еще больше покраснел.

– Что здесь? – громко спросил Федор Иванович, чтоб спасти беднягу от наседавшей на него Шамковой. Взял со стола листок.

Студент сразу же, показав товарищам круглые повеселевшие глаза, шагнул в сторону.

– «Мы, студенты факультета генетики и селекции растений, просим ректорат избавить нас... – чеканя каждое слово, громко прочитал Федор Иванович, становясь непроницаемым, – избавить нас от обязательного слушания лекций И. И. Стригалева, который, как выяснилось...»

На лицо Федора Ивановича легла жесткая тень официальности, губы стали тоньше.

– Почему я ничего не знаю об этом? Анжела Даниловна! Я все-таки здесь...

– Это согласовано, Федор Иванович...

– Вы же сами сказали – его все равно... И притом – уже. Зачем же еще этот дополнительный... ритуал?

– Федор Иванович! – Шамкова вздохнула с досадой. – Это письмо обсуждено парткомом и комсомольской организацией. Оно будет завтра напечатано в нашей...

– Д-да? Тогда конечно. Хотя, в общем, странно. Ну и как дело идет?

– Есть неподписавшие. Некогда было провести работу...

– Ну-ка, что тут?.. Ого, собрали все-таки! По-моему, человек тридцать есть. А говорите – некогда. А это что? Анжела Даниловна! – Он остановился, посмотрел на нее с удивлением. – Что же это вы, вожак, и не подписались под этим историческим документом? А? Страшно? Напечатают в газете?..

Шамкова начала розоветь, опустила глаза.

– Любопытно... – Он понизил голос. – Испугались? Знаете, как Библия определяет фарисеев? Возлагают на людей бремена тяжелые и неудобноносимые... Сами же пальцем не двинут...

Шамкова вспыхнула, оглянулась на студентов.

– Я же не... Я все-таки в аспирантуре...

– Вы прежде всего тот, кто зовет. Кто, как вы говорите, проводит работу.

Она с нетерпеливой досадой, громко вздохнув, схватила ручку.

– Впереди, впереди, – сказал Федор Иванович, холодно глядя на нее. – Впереди всех. Вот так. Теперь вы получили право проводить... вашу работу.

Окинув ее быстрым взглядом, Федор Иванович повернулся и вышел.

В глубине коридора, ближе к кабинету кафедры, ждал его Стригалева, прислонившись к стене.

– Да, вам, Иван Ильич, лучше туда не идти. Дело гиблое. Отцы и дети...

Стригалева чего-то ждал. Он смотрел и как бы протягивал руки – ждал помощи.

– Дверью не вздумайте хлопнуть, – сказал ему Федор Иванович. – Вы попали под бой. Отчасти и по моей, Иван Ильич, вине. Я постараюсь свою долю вам возместить.

«Это большая доля, и я все возьму», – хотел он еще сказать, но вовремя одернул себя, смолчал. Такие вещи не говорят. Просто возмещают.

– Вам сейчас нельзя делать ошибок. Эмоций не нужно. Хорошо обдумывайте каждый шаг, всю линию.

– Линия давно обдумана, – угрожающе, но и доверительно пробубнил Стригалева. Морщась, он потянул за шнурок, достал из-за пазухи белую бутылочку. – Линия единственная. – Он отхлебнул. – И я думаю, что меня хватит...

– Что это у вас?..

– Сливки. У меня же язва...

– Ах, вот что...

– Затесалась, черт ее... – Стригалева улыбнулся, блеснув стальными зубами.

Они постояли молча. Федор Иванович жал ему руку, задерживал, не хотел выпускать. И Стригалева не отнимал руки, как будто хватался за последний шанс.

«Иван Ильич! – так и рвалась из Федора Ивановича горячая клятва, и он удерживал ее. – Я возьму. Не как смогу, а как должно!...»

...Как быстро делаются некоторые дела! Через два дня утром до начала занятий во всех залах, кабинетах и лабораториях читали свежую маленькую газетку – многотиражку института. «Сорную траву с поля вон!» – прочитал Федор Иванович на второй странице крупный заголовок. Это было то самое, позавчерашнее. И подпись Шамковой стояла на первом месте... «А-а, мерзость, все-таки побоялась вымарать себя из списка», – удовлетворенно подумал Федор Иванович.

В то же утро, зайдя в ректорат, он перелистал лежавшую на столе секретарши книжечку. Это был еще один приказ министра Кафтанова. Книжка действительно была похожа на железнодорожное расписание. «Хейфеца Натана Михайловича...» – прочитал он на последней странице. Перевернул несколько страниц назад и увидел: «Стригалева Ивана Ильича...» Задумался, медленно краснея. «Неужели каждому, кто в этих списках, устраивали такой римский театр?» Тут же, взяв себя в руки, спросил:

– Когда это поступило?

– Из Москвы? Еще в четверг, по-моему, – спокойно, мимоходом бросила Раечка, занимаясь своими бумагами. – А от Петра Леонидыча сегодня утром.

– Значит, приказ был у него?

Секретарша пожала плечами.

«Задержал!» Он все же выстоял необходимые секунды показного равнодушия. Не ахнул, только опущенные веки дрогнули. Никак он не мог привыкнуть к таким открытиям. Молча положил приказ и вышел. «Четыре дня держал! Специально! – Он качал головой, бредя по коридору. – Чтоб через массы провести! Чтоб они, а не Касьян... Касьяну это понравится...»

В полдень в кабинет заведующего кафедрой – теперь временный кабинет Федора Ивановича – вошел, постучавшись, уже знакомый высокий и жирноватый атлет со спортивной гиб-

костью в талии. Федор Иванович поднял на него от своих бумаг внимательные глаза. У этого Краснова были маленькие, как у античного борца, губки – твердым цветочком, лицо широкое, с желваками и жировыми шишечками. Ему следовало по замыслу природы быть тощим, поэтому нос его остался тонким и извилисто-остроконечным, а тонкие, почти бумажные уши были окружены припухлостью, сидели как в воронках. Лоб был маленький и сухой, в светлых волнистых волосах сильно просвечивала розовость будущей лысины. По правильности волн, косо набегающих одна за другой, Федор Иванович заподозрил завивку.

– Разрешите? – сказал Краснов и, придвинув стул, сел перед Федором Ивановичем. На груди его четырехкарманной куртки из мягкого синего вельвета был приколот альпинистский значок: снежная вершина Эльбруса на фоне голубого неба, а на переднем плане – ледоруб. Разведя широкие плечи, он полез в нагрудный карман и один за другим выложил на стол шесть маленьких бумажных пакетов. И замолчал загадочно, тиская в руке теннисный мяч.

– Что это? – спросил Федор Иванович, наблюдая этого человека. Отдаленный голос высылал из глубины предупреждающий туман, тихие наплывы неприязни.

– Семена. – Краснов устал на него голубоватые девичьи глаза. – Стригалева в ящике оставил. Его полиплоиды.

– На что они нам?

– Все-таки выбрать можно что-то. Погибнет ведь материал.

– Так уродцы же. Воображаемые ценности. А бить только для того, чтоб ударить...

– Уродцы-то уродцы... – сказал Краснов и замялся. – Но я бы высеял. Что-то вырастет. Вон Богумиловна высеяла после облучения гамма-лучами... Наверняка будет сильно расщепленная основа... Если подвергнуть воспитанию, отобрать... Они, вейсманисты, сами могут не понимать...

Он подбрасывал маскировочку, хорошо подготовился. «Сказал бы: украдем, используем на паях», – подумал Федор Иванович, любясь Красновым. И Краснов улыбнулся, приняв его кривую улыбку за признак взаимного понимания.

– Украдем? – Федор Иванович улыбнулся шире. Краснов потупился. – А если автор придет требовать?

– Если б было нужно, не разбрасывал бы по ящикам.

– Но мы не знаем, что это! Здесь какие-то цифры, буквы...

– Федор Иванович! Для чего работаем? Для цифр и букв? Для конечного ведь результата работаем! Оно само покажет. Если что есть.

– Л-ладно... – Федор Иванович смахнул все пакеты в ящик стола. – Я посмотрю.

И не отрывал взгляда от жировых подушечек, от значка. Из темного омота, который Варичев назвал коллективом, вынырнула еще одна сложная и опасная сущность...

– У меня в юности был хороший друг, добрейшая душа, – сказал Федор Иванович, глядя в ящик стола, шевеля пальцами пакеты. – Мы с ним всегда понимали друг друга. Бывало, скажешь: «Слушай, Бревешков...» А он уже знает, что я ему хочу...

По ту сторону стола все замерло. «Не поднимай глаз!» – закричал кто-то в душе Федора Ивановича. И, как в сказке Гоголя, он не устоял против нечистой силы, медленно поднял глаза, и ложка смертельного холода влилась в его душу из направленных на него нежных девичьих глаз Краснова. Но такие вещи не способны были умертвить Федора Ивановича. Металл в нем затвердел, было мгновение, когда Краснов получил ответную стрелу, это уже была вторая.

– Скажите, вас знакомили с личными делами ваших будущих сотрудников? – спросил очень спокойно альпинист.

– Нет, с такими вещами меня еще не знакомили. Я ведь временно исполняю... – Тут Федор Иванович улыбнулся и, уйдя в прошлое, размякнув, покачал головой. – Хороший был товарищ. Гена Бревешков...

– Говорите, Гена?

– А что, вы его знали?

– Знал одного Бревешкова. Только с другим именем.

Краснов, видимо, почувствовал облегчение. Поднялся, в нерешительности покусывал губку.

– Посмотрите, Федор Иванович. Высеем в ящики. Может, что-нибудь...

И так же нерешительно, неопределенно вышел и прикрыл дверь.

«Хорошо действует», – подумал Федор Иванович. Он сейчас проверял действие своего *ключа*. Он давно уже знал, что зло в человеке осознает себя. «Тяжело так жить, осознавая, – подумал он. – Все время приходится гримасничать, подбирать выражение лица».

Он посидел некоторое время в одиночестве, двигая русой бровью, размышляя. «Нет, это существует! – подумал он, уже в который раз получив подтверждение. – Существует! Какая-то сила, от которой, видимо, никогда не избавиться тому, кем она овладела... Ну как, каким образом сделать этого Бревешкова добрым, чтобы не зарился на чужое, даже уступал свое? Нет, не сделать никому... Можно только связать, запереть в клетку. Или припугнуть... И отлично ведь знает, что плохо, а что хорошо. Чем замаскировался – конечно, добрым намерением! „Погибнет материал, спасать надо!“, „Для конечного результата работаем!“ Нет, существует это самое. Что-то».

В коридоре уже с минуту кто-то странно натужно пыхтел. Послышался оскорбленный профессорский голос Вонлярлярского.

– Это самоуправство! – выкрикнул он надтреснутым козлетоном. – Все равно, хоть и нет инвентаризационного значка... И вы не смеете, я все равно не отдам! – И он опять запыхтел.

Федор Иванович вылетел за дверь. Посреди коридора сцепились Вонлярлярский и Елена Владимировна, что-то дергали, тащили друг у друга из рук. Вспотевший Стефан Игнатьевич, в белой сорочке, заправленной в кремовые брюки, и с бантиком на шее, крепко обнимал обеими руками черный прибор, похожий на пишущую машинку. Между его жилистыми и цепкими желтыми с синевой руками скользили белые девичьи руки. Елена Владимировна решительно встряхивала старика, таскала его по коридору, отнимая у него прибор. Вокруг них бегала, вскидывая руки, но не решаясь налететь, Вонлярлярская.

– Ого! – смеясь, воскликнул Федор Иванович. – Помощь подоспела вовремя!

Все остановились. Каждый был уверен, что помощь пришла к нему.

– Этот микротом – Ивана Ильича! – сказала Елена Владимировна, переводя дыхание. – Они хотят забрать...

– Микроскопы и микротомы – имущество цитологической лаборатории! – Вонлярлярский выкатил глаза.

– Он сам его собрал, из деталей... Хотел унести домой... Просил... Это нечестно, Стефан Игнатьевич, человека и так...

– Зря, совершенно зря, Елена Владимировна, связываетесь с таким делом. Это же государственное имущество! Не понимаю, как вы собирались его выносить? Тайком? В такие дни...

– Никакого обмана, – наливаясь угрозой, забухала низким голосом Вонлярлярская, – ни прямого, ни косвенного, никогда и ни при каких обстоятельствах я не совершала и не позволю при мне... – И гордо отошла боком.

– Я, во всяком случае, патриот института. И к такому делу не прикоснусь даже в форме уступки вам...

Оба супруга поглядывали на Федора Ивановича. Они таким способом доносили ему на Елену Владимировну.

– Я вас не понял, – сказал Федор Иванович. И, пока оба супруга мялись, набирая разгон для более точного доноса, он добавил: – Стефан Игнатьевич! Ведь вы сами, когда бежали с супругой по парку – помните? – и когда я вас догнал, как раз говорили об этом микротоме.

Что вы говорили? Что он списанный, подобран на свалке, что Иван Ильич заказывал точить винт в Москве.

Вонлярлярские посмотрели друг на друга.

– Ну? Ведь было это? Словом, я ничего не вижу, не слышу и не говорю. А микротом вы с Еленой Владимировной отнесите ко мне в кабинет. Я сам посмотрю и решу...

– Пусть несет сама. Она вон какая. Коня на ходу остановит...

– Дайте тогда я сам. – Федор Иванович, отобрав у них тяжелый микротом, смеясь и качая головой, понес его себе.

Елена Владимировна вошла за ним следом. Федор Иванович, поставив прибор на столе, подвигал кареткой, покрутил винт и поднял на нее глаза.

– Федор Иванович, это микротом Ивана Ильича...

– Я знаю, – ответил он.

– Вы позволите вынести? Надо как-то пропуск...

– Никаких пропусков, я вынесу сам. – Федор Иванович сказал это негромко. – Принесите мне сумку или большой портфель. Вечером вы подойдете к этому окну. Тут клумба... И я вам подам. А потом выйду. И отнесем хозяину.

– А эти, незапятнанные? Они же шум поднимут...

– О чем? Какой может быть шум о том, чего не было? Ведь вещь нигде не значится!

И опять пришел теплый душистый вечер. К концу дня Елена Владимировна принесла чей-то огромный брезентовый портфель с кожаными кантами, и Федор Иванович уложил в него прибор. Когда стемнело, он уселся у окна, не зажигая света. В открытое окно тянуло ночной, чуть пересушенной ароматной прохладой парка. Вдали скользили какие-то тени, исчезали в наплывающей тьме.

– Призадумались?.. – раздался около него тихий низкий голос Елены Владимировны. Она была у самого подоконника, как мальчишка, вскарабкалась на цоколь.

Федор Иванович передал ей портфель и бесшумным, гибким шагом заговорщика выскользнул на улицу, обежал вокруг корпуса.

Ее светло-серая тень ждала в сторонке. Елена Владимировна была в своем халатике. Федор Иванович взял у нее портфель, и они молча быстро зашагали к парку. Когда они окунулись в черный дым ночи, уже окутавшей парк, Елена Владимировна взяла его под руку:

– Можно? Это я – чтоб вы не потерялись. Не страшно вам?

– А почему должно быть?..

– Вы разве не чувствуете, что на всех налетела какая-то...

– Ну, не на всех же она налетела.

– На хоздворе все еще жгут... Кто сжигает, все как-то молчат. Хейфец сказал: «Пламя того самого химического состава, что и пятьсот лет назад...»

– Значит, не совсем того состава, раз не пляшут, а молчат.

– Федор Иванович, знаете, что скажу? Вы слишком афишируете свое отношение... Свою объективность. Вы – наш последний шанс. Вас нам надо беречь. Все и так уже знают, что одежды у вас белые. Их надо иногда в шкаф...

– В шкаф никак нельзя.

– Так накиньте сверху что-нибудь.

– По вашей завиральной теории?

– Ага...

– А не боитесь, что, когда придет время снять это что-нибудь, белых одежд там и не будет?

– В отношении вас не боюсь. Ведь вы же сами говорили нам про добро. И про зло. Вы сами сказали, что это качество намерений. А Вонлярлярский выразился: без-вари-антно. А вы еще добавили: его нельзя ни привить, ни отнять.

– Я тогда не все еще сказал, Елена Владимировна. Качество намерений – оно то возникнет, то пропадет. Оно – только когда возникают намерения. А самое первое, постоянное – такая в некоторых сидит сила. Только нельзя путать: это не гнев вспыльчивого, нервного человека. Вон наша тетя Поля, уборщица. Знаете, что сказала? Говорит, если кошка к тебе в кастрюлю забралась и ты бьешь ее со сладостью, не можешь ты быть ни начальником, ни судьей. Но это – нервы, болезнь, это еще не зло. Зло кошку не бьет, а спокойно ее в мешок... Мы его можем чувствовать в себе, у кого есть. У кого его достаточно много. А вот понять, дать определение – никак не ухватишь. В нас много чего есть, чего сами не видим. А зло чувствуется, Елена Владимировна...

– Надо будет прислушаться...

Они пошли медленнее.

– Я вам помогу прислушаться. Вообразите такое: в печати появляется сенсационная статья. Ученые разных стран, не сговариваясь, открыли, что самая страшная болезнь века... скажем, рак... возбуждается в человеке разрушительными эмоциями определенного толка. Эмоциями зла, умыслами причинить кому-нибудь страдание, отравить жизнь, подсидеть, обобрать... Вот Вонлярлярские, они ведь тихонько хотели обобрать Ивана Ильича. Небось и обсудили все заранее между собой.

– Они давно на этот микротом посматривали...

– В общем, эти эмоции существуют, видимо, у всех. Но у одних чуть-чуть, и человек, осознав, краснеет. А у других определяют лицо, личность. Вот и представьте себе, что появилась такая статья, и по этой статье рак – регулирующая мера со стороны природы. Против угрожающего роста влияния тихих людей зла. Особенно сейчас, когда с религиями покончено. «Почему, – пишет эта – воображаемая – статья, – почему совпадает рост заболеваний раком с убылью религий? Религии удерживали нас – страхом наказания. А сейчас, мол, другой фактор включился. Кто гибнет от рака? – задались ученые. И статистика показала: люди зла». Я не утверждаю, это я такой заход построил. Чтоб удобнее было, как вы говорите, прислушиваться к себе. Допустим, такая появилась статья, и факты ее, имена подписавших ученых – заставляют задуматься. Вопрос уже к вам. Как вы думаете, Елена Владимировна, прочитав это, не станут те, кто хочет жить, ловить себя на дурных, злых намерениях, подавлять их в себе – и притом без промаха? Не случайный гнев, не раздражение от усталости, а настоящую силу зла в себе начнут давить! И будут устанавливать в себе эту напасть с величайшей точностью! Без всякой аппаратуры!

– Я иногда чувствую что-то похожее, – сказала Елена Владимировна задумчиво. – Впрочем, чувствую или нет? В общем, чужого микротом я не желала никогда. Уж вам-то призналась бы. Нет, не желала. А если я что-нибудь по своей завиральной теории... Я не чувствую ничего, кроме веселья, что мне удалось надуть злого человека. Но вы правы: Вонлярлярские метили на микротом. И им не было жаль Ивана Ильича...

– Я так много над этим думал, что мне хочется иной раз сесть и написать книгу. Я назвал бы ее «Очки для близорукого добра». Есть у Соловьева «Оправдание добра». Но я не понимаю этого заголовка. Добро в оправдании не нуждается. Его не обвиняют, а бьют, над ним издеваются, к чему оно само, правда, иногда дает повод. Вот добро гонится за злом, совершившим преступление. На пути газон с надписью: «Ходить по траве воспрещено». Зло, не задумываясь, бросается через газон. А добро, даже не читая, пускается в обход: нельзя мять траву. И упускает преступника. Добро, Елена Владимировна, сегодня для многих звучит как трусость, вялость, нерешительность, подлое уклонение от обязывающих шагов. Но, конечно, все далеко не так. Далеко, далеко не так. Это все – путаница, накрученная тихим злом, чтоб легче было действовать. И ее надо распутать, путаницу.

– Подождите. А если добро бросится через газон и ошибется?

– Мне лучше пострадать от ошибки доброго человека, чем от безошибочного коварства. Настоящий-то добрый осудит, а потом и маяться будет, страдать. Пересмотрит приговор пять раз.

– А вы ведь смыкаетесь с моей завиральной теорией! Хотите, расскажу, как я недавно применила ее на практике?

Парк начал светлеть, в лицо пахнуло теплым осенним полевым духом. Они вышли на простор, как в громадный, тихо и ровно гудящий цех.

– Как сверчки сегодня распелись! – сказала Елена Владимировна. – Может, это у них последняя ночь... Вы не боитесь, что это последняя ночь?

– Я вас не понимаю. – Федор Иванович прижал локтем ее руку.

– Ладно, я сейчас доскажу, мне хочется. Полгода назад я получила пакет. И в этом пакете письмо, а в нем такие важные слова. Высшая аттестационная комиссия извещает, что я лишена кандидатской степени. Ввиду ложности посылок, слабого фундамента, недостаточной разработки, шаткости базы и так далее. Через две недели еще пакет – Иван Ильич получает. И его лишают докторской степени. Такие же доводы. Оба мы получаем, каждый – в свой день рождения! Сволочи – они могут и врать, и пакостить. Им все можно! И рак их не берет! Я поехала однажды в Москву и думаю: зайду-ка я в этот ВАК! Захожу. Туда, где хранятся диссертационные дела. Две старушки эти дела хранят. Я начальственным тоном: «Дайте мне папку с таким-то делом». Старушка топ-топ-топ, и смотрю – несет мое дело! Я сразу ищу мотив лишения: как ученица такого-то и таких-то вейсманистов-морганистов, преданных проклятию. Успела сделать выписку. «Теперь, – говорю, – давайте дело Стригалева». Топ-топ-топ – принесли и эту папку. Только пристроилась листать, пришло начальство, и меня выгнали. Так что вот... Я нарушила норму.

Они некоторое время шли молча.

– Вот мы говорили с вами... Как же не врать? – Во тьме он увидел, как блеснули ее очки – Елена Владимировна заглянула ему в лицо. – Как же не врать, Федор Иванович! Это же особого рода вранье! Я же оберегаю дело! Если откроют – они все уничтожат и примутся за людей. Я даже не чувствую, что вру...

– В вашем вранье нет кривды. Хорошее слово – кривда.

– Вы думаете, я одна так? У вас, в роде Монтекки, тоже ничего не поймешь. Два года назад – как раз у меня в плане стояло: «Полиплоидия». Еще открыто стояло... И приезжает от вас один доктор. От вашего Касьяна. Я – аспирантка у Посошкова, он мне поручил сравнение прививок и полиплоидов на картофеле. Господи, тогда еще можно было сравнивать! У меня как раз были получены первые удачные результаты с колхицином. Посошков говорит: «Покажите ваши картошки москвичу». Приходит этот доктор ко мне на участок – смотреть. Я говорю, какие растения где. Доктор: «Да, у вас интересные прививки». Я: «Это же полиплоиды, а не прививки!» Он даже повернулся к растениям спиной: «У вас легкая рука, никогда не видел такого сращения подвоя с привоем». Три раза я заикалась, и три раза он повторял свое. Подруга потом мне говорит: «Какой-то прямо ненормальный!» Посошков вечером разъяснил: «Сейчас, детка, такие времена приближаются. Он вам не доверяет». Вот оно как... Еще два года назад!

Они шли, а в стороне от тропки тянулось что-то темное, похожее на плотный забор. Тропа постепенно подводила их туда, все ближе.

– Вот сюда, – сказала Елена Владимировна и потащила Федора Ивановича к этой протянутой над землей, дышащей теплом темноте. – Сюда идемте, здесь проход. Разрыв...

– Что это?

– Труба. Железная труба.

– Труба, говорите?.. – Федор Иванович протянул руку, коснулся теплой, покато́й поверхности. – Труба... – повторил он.

– Они тут проводят что-то. Для воды, наверно, – тихо сказала Елена Владимировна. – Недавно привезли.

Они вошли в широкий разрыв между концами труб. Федор Иванович нащупал край. Труба была широкая – доставала почти до плеч.

– Вот и железная труба... Знаете, Елена Владимировна, Цвях мне как-то говорил, что многих из нас ждет своя железная труба. Попадешь в нее – выхода только два: вперед или назад. Компромиссных решений нет...

Он поставил ногу в темную пустоту, в теплый поющий туннель. Наклонившись, сунул туда голову. Хотел крикнуть что-то дерзкое, но почему-то голос подвел его, сорвался.

– Эй, судьба! – негромко сказал он и ударил кулаком по округлой стенке.

Бу-бу-бу! – ответил, вибрируя, растревоженный железный хор, и хотя Федор Иванович был начитанным и ученым человеком, способным глядеть в глаза вещам, что-то вроде страха задержало его дыхание.

– Вы очень страшно это сказали, – шепнула около него Елена Владимировна. – Ну-ка, пустите, я тоже хочу крикнуть. – Она оказалась около него в трубе. – Подвиньтесь же, нам здесь обоим места хватит. – Она почти не пригибалась, даже прошла вглубь и там хихикнула. – Чувствуете, как странно я сказала? Нам обоим места хватит! Какая аллегория! Не думаете вы, что нас обоих ждет такая труба? Общая – на двоих...

– Елена Владимировна, мне это иногда так и кажется. Я чувствую, что обстоятельства тащат меня именно сюда. Сам Касьян толкает. Я ведь сегодня должен был уже четвертый день быть в Москве. Уже и командировку отметил.

– А как же наши мушки?

– Обсуждался вопрос. Выпустить их или взять с собой?

– И вы...

– Я предлагал выпустить. Цвях хотел увезти в Москву. Теперь вопрос снят.

– Вот видите, как вы легко... Не закончив эксперимента. Родителей-то пора удалить из пробирки. Не забыли?

– Уже удалил...

– Смотрите. У вас должно получиться менделевское – один к трем.

Они опять медленно шли в ногу по белеющей тропе. Елена Владимировна неуверенно держала его под руку.

– Вот здесь, – вдруг негромко сказала она, – здесь мы с вами расстанемся. – И засмеялась. – Идите дальше сам.

Близко, прямо перед ними, желто и мирно светилось небольшое окно деревенского дома.

– Тропа приведет вас к калитке. Справа будет кнопка. Нажмите – и он вас выпустит.

– А вы не боитесь идти так домой? Или еще куда...

– Нет мне близко. И не говорите, что это я проводила вас.

– Я больше не задаю вам вопросов. Я уже привык к таким вашим... поворотам.

– Может быть, когда-нибудь и объясню... Может быть, и скоро. Может быть, и совсем никогда... – Она говорила с задумчивыми паузами. – Не пришло еще время. Как вы говорите, нет достоверных и достаточных...

И Федор Иванович сквозь мрак почувствовал – она, говоря это, поворачивалась на одной ноге, писала в пространстве какие-то свои знаки. Был бы день – можно было бы прочитать.

– Объясню когда-нибудь, – сказала она, ударяя кулачком по его руке.

– Идите, больше ничего не буду спрашивать. Если что – орите погромче...

Она, смеясь, провела рукой по всей его руке – от плеча до пальцев. И исчезла.

А он, постояв, послушав ночь, сделал пять твердых шагов к желтому окну и нажал кнопку. Почти сразу над ним загорелась электрическая лампочка. Что-то деревянно стукнуло в глубине двора, слышались шаги.

– Вот кто пожаловал! – раздался за калиткой приветливый, почти радостный гудящий голос. Калитка, скрипнув, отошла.

– Я тут принес вам... – заговорил Федор Иванович, проходя во двор. – Принес вот. Отбили с Еленой Владимировной у Вонлярлярских... Микротом ваш.

Он прошел вслед за вихрастым высоким хозяином в сени, а потом и в ярко освещенную горницу. Здесь под самодельным абажуром из ватмана висела мощная лампочка почти белого каления. Под нею на столе поблескивал латунными деталями микроскоп, произведенный в прошлом веке где-нибудь в Германии. Около микроскопа в длинном ящичке зеленели края предметных стекол с препаратами, рядом лежала раскрытая тетрадка. Стригалева молча достал из портфеля свой микротом и с жадной поспешностью унес его за печь. Когда вернулся, на столе возле микроскопа его ждали шесть пакетиков с семенами, разложенные в ряд Федором Ивановичем.

– Это что еще? Тоже вы принесли?

– Один мой... соратник у вас украл. Говорит, если бы были вам нужны, вы бы не разбрасывали их по ящикам своего стола...

Стригалева поднял толстые брови, наставил ухо. Ждал объяснений.

– Говорит, у вас, вейсманистов-морганистов, все равно пропадет. А мы, может, что-нибудь и отберем.

– Для академика вашего? – сказал Стригалева и замолчал, переводя ставший диковатым взгляд с одного предмета на другой. – Знаете что? Вы возьмите-ка эти семена... Отнесите к себе и пустите в дело. Как будто мне и не показывали.

– Не понимаю... Вы, наверно, не так поняли, что я говорил.

– Да нет, все понял. Унесите их. Чтоб этот ваш... соратник не догадался, что вы их мне. Пусть лежат в шкафу. Я знаю все про эти семена. В марте высеем. А человека мы тихонько перетащим к себе. Человек загорелся. Пусть получает свой краденый результат. Он-то будет знать, как гибрид получен.

– Это же ваш...

– У меня их... – Иван Ильич махнул рукой на картотечный шкафчик под стеной, – хватит на три института. Человек дороже.

И они замолчали. Как бы вспомнив что-то, Стригалева вдруг опять уставил на гостя диковатый, отчаянно-веселый взгляд.

– Вы в микроскоп когда-нибудь смотрели?

Во взгляде Федора Ивановича появилась холодная благосклонность.

– В такой, как этот, нет.

– Давайте посмотрим в этот. У меня как раз есть хорошие препараты. Для вас специально подобрал.

– Вы знали, что я иду к вам?

– Знал, конечно. Даже ждал. Взгляните, взгляните...

Федор Иванович подсел к столу, склонился над микроскопом. Сначала в окуляре перед ним все было мутно, плавала какая-то мыльная вода, пронзенная ярким светом. Он повернул винт – и из яркого тумана выплыл к нему неровный кружок с черными чайинками, сгруппированными в центре.

– Я вижу... По-моему, хромосомы... Хорошо окрашено.

– Узнал-таки, – прогудел Стригалева.

– Тут так хорошо видно, что их можно сосчитать. Которая подковкой, которая с перехватом. Шесть, семь...

– Не трудитесь. Всех сорок восемь...

Стригалева куда-то гнул. Что-то затеял. Федор Иванович оглянулся на него, задержался на миг и опять припал к окуляру.

– Чайку-то хотите?

– Чайку отчего не выпить. А что это за объект?

– Какой еще у меня может быть объект. Картошка. «Солянум туберозум». Теперь посмотрите это...

Стригалева цепкими длинными пальцами выхватил из-под объектива стеклышко и поставил другое. Федор Иванович опять увидел в окуляре пронзенную ярким светом клетку. Только в хромосомах произошла чуть заметная перемена. Они были здесь чуть меньше.

– Вроде хромосомы слегка похудели. Что это?

– Ага, заметили разницу... Это та же картошка, только препарат сделан при температуре плюс один градус. Это граница. Если понизить еще на градус, начнут распадаться.

– Понимаю...

– Нет, еще ничего не понимаете. Вот сюда теперь смотрите.

Иван Ильич опять мгновенно сменил стеклышко. И Федор Иванович увидел такую же клетку, только хромосомы здесь были похожи на мелкую охотничью дробь.

– Ого! Такого еще не видел. Что с ними случилось? – спросил он, загораюсь новым интересом.

– Это другой объект. «Солянум веррукозум», дикарь. При той же температуре в один градус. Видите, хромосомы здесь сжались до шариков... Когда я их в холодильник. А были ведь как и те, первые. Теперь главный номер.

Стригалева щелкнул новым стеклышком. Опять ярко засияла клетка. И в центре Федор Иванович увидел хромосомы. Такие же, как у обычной картошки, – подковки и палочки с перехватом. Но среди них теперь были разбросаны и круглые дробинки.

– А это какой объект?

– Посмотрите. Там наклейка на стекле.

Федор Иванович мгновенно нашел эту наклейку. И прочитал: «„Майский цветок“, +1°».

– Все загадки задаете... Почему здесь такая смесь?

– Вы что, никогда «Майский цветок» не изучали? Я думал, что его всесторонне и в обязательном порядке...

– Я вообще к микроскопу давно...

– Хоть помните, сколько в нем хромосом?

– Ну уж... Сорок восемь, как у всех картошек.

– Смотри-ка, а правая рука академика что-то знает!

– Ладно, ладно. Почему здесь такая странная смесь?

– «Майский цветок» – сверхособый гибрид. Об этом ваш Касьян, его автор, еще не слышал. Этому я ему не сказал. Увидитесь – спросите. Видите – шарики? Это хромосомы папы. А папа – дикарь, «Солянум веррукозум», которого вы сейчас смотрели, перед этим...

– Но ведь этот дикарь не скрещивается!

– Ничего еще не понял! – зазвенел над ухом Федора Ивановича отчаянный крик Стригалева.

И одновременно ударил его и сотряс страшный разряд догадки. Федор Иванович обеими руками отодвинул микроскоп. Повернулся, взъерошенный.

– Погодите отодвигать. Сейчас я еще стеклышко...

– Хватит стеклышек. Разговаривать пора. Вы что, хотите сказать?..

– Ничего не хочу, вы сами скажете.

– Выходит, «Цветок» – гибрид с этим дикарем?

– Правильно. А дикарь не скрещивается. Только если сделать из него немыслимый для вашей кухни полиплоид. Вот я его и сделал. Колхицином, колхицином! А этот узнал...

– Кто?

– Вот этот. – Стригалева зажал нос двумя пальцами и продудел: – Кассиан Дамианович!

– Так он у вас этот полиплоид...

– Если бы только! – Стригалева засмеялся, поморщился и выбежал за печь. – Если бы только! – не то кричал он, не то плакал за печью, что-то глотая, наверно свои сливки из бутылочки. – Если бы только, Федор Ива-анович! – Он появился, вытирая рукой губы. – У вашего бога руки не такие, чтобы картошку даже с готовым полиплоидом скрестить. Народный академик получил от меня готовый сорт!

Федор Иванович положил на предметный столик микроскопа препарат «Майского цветка» и протер окуляр, крутя винт.

– Почему я сейчас не капитулирую? – настойчиво гудел над ним Стригалева. – Почему, как Посошков, не отрекаюсь от святыни? Вы же видите, я устал, болею, я бы так охотно сложил ручки. Черт с вами, пусть будет, как вы хотите: все, что у меня получено, сделано по Лысенке да по Касьяну Рядно. Но, во-первых, это же касается не только меня. Это их усилит, и тогда они примутся за моих товарищей. Помните, как они нашего... Академика нашего в саратовскую тюрьму? Они пощады не знают. А во-вторых, если бы я и перевернулся вверх пуговками... Ведь вы же видите, я уже один раз это сделал! Я же отдал им лучшую свою работу! Я страшно усилил их!

Да, «Майский цветок», сорт, который прославил академика Рядно, попал в учебники и газеты, – это была огромная сила. Федор Иванович, меняя препараты, рассматривал клетку этого сорта и клетку дикаря.

– Это была цена, которую я заплатил за три года относительно спокойной работы. Пришел с войны, кинулся на любимое дело... Я пошел на это, потому что «Цветок» у меня был промежуточным достижением, если можно так сказать. Правда, я не должен был нападать на их знамя, и я долго придерживался... Он сказал: «Слушай, Троллейбус... Ладно, хватит тебе... Давай поговорим. Дай мне, браток, вот эту картошку, я давно завидую на нее...» И осканился вот так. Как енок.

Тут на лице Стригалева проглянула и исчезла улыбка академика Рядно.

– Он ее, конечно, «доводил». «Воспитывал»... А сорт-то был готовый. Касьян уговорных четырех лет не выдержал – через два приехал. Дай опять. Я дал. Но у него не пошло – руки не те. Озлился. Вас ориентировали на Троллейбуса?

– Да, – шепнул Федор Иванович. – Он так говорил: какого-то Троллейбуса. Я подумал, что он с вами совсем не знаком.

– Вот то-то. Незнаком... Раз уж Троллейбуса перестал знать, теперь и вверх брюхом перевернусь – не поможет. Волей судьбы я вышел на передний край. Придется мне, Федор Иванович, идти избранной дорогой. До конца.

Он замолчал, сидел, отдыхая. Федор Иванович наконец отодвинул микроскоп, развернулся на стуле к хозяину, и они долго смотрели друг другу в глаза и время от времени кивком показывали: вот так-то...

– «Майский цветок», Федор Иванович, – результат торговой сделки и моего мягкосердечия. Моей наивности. Касьян наобещал правительству, а выполнить не мог. Кинулся ко мне. Я сильно тогда выручил его. В чем моя ошибка и беда. А то бы он погорел. Он говорил: «Прикрою от Трофима». И верно, прикрыл. Но что это все значит? Я вас спрашиваю: что?

Федор Иванович убито кивнул. Он уже понимал, что это значит.

– Значит, Рядно знал, знал! Знал цену себе и своей науке. Знал цену и нашей. Он, Федор Иванович, вредитель! По тридцатым годам – чистый враг народа! А он в президиумах! В газетах!

Стригалева вышел за печь и принес алюминиевый чайник.

– А теперь опять у них прорыв... Да плюс к этому разведка донесла, что я, Троллейбус, готовлю новый сорт. Превосходящий «Майский цветок». Им ведь будет худо, а? Вот и решили начать с ревизии, прислали кого поумнее да потоньше. И письмо организовали. А детки – подписали. Пришьют теперь что-нибудь, и хорошо пришьют. Портных сколько угодно...

Он опять ушел за печь. Принес коробку кускового сахара и печенье. Остановился у стола – высокий, почти касаясь головой закопченного деревянного потолка.

– Теперь моя лаборатория здесь. Лаборатория и крепость. Дом продам, куплю ворота, буду запираяться... Слава богу, дом купить вовремя догадался. Хороший дом! – При этом он легонько ударил кулаком по матице низкого потолка. – Послужи, послужи, частная собственность, делу социализма... как социалистическая служит... отращиванию заগ্রивка товарища Варичева...

Он поставил два тонких стакана в мельхиоровые витиеватые подстаканники и стал наливать в них кипяток.

– Сейчас загадаем, – сказал он, наклоня чайник над своим стаканом. – Загадаем так: если лопнет, значит женюсь в эту зиму. И вас на свадьбу. Не лопнет, сволочь. Нарочно ведь лью свежий кипяток.

Стакан почти неслышно треснул, и кипяток черной дымящейся змеей скользнул по столу, свинцово задолбил об пол.

– И-их-ма! Треснул! – Горько тряхнув нечесаными лохмами, Стригалева вынул осколки из подстаканника. Ясно улыбнулся. – Гаданье, Федор Иванович! Кофейная гуща! Проворонил я свои сроки. Так и не успел жениться. Сплошные неудачи. Правда, для ученого, может быть, и удачи были. Но на личном фронте – сплошной прорыв. А сейчас как присмотрю среди дочерей человеческих жену – и язык тут же забываю, где у меня находится. Ничего не могу сказать. Наверно, чудачком слышу. А может, сухарем... Попал в желоб и качусь. И не выйти. Вы, я слышал, тоже холостяк?

Они пили чай и молчали. Слышно было только постукивание стальных зубов о край стакана. Федор Иванович со страхом ждал ясности, которая ему была нужна как воздух. Эта ясность приближалась.

– Может быть, что и выйдет – одна тут появилась. Осветила... Собственно, была давно, но мы все официально с ней... А тут после этой парилки, где меня... Как-то сразу все прояснилось. Такой момент... Сама осторожненько дала понять.

Они замолчали. Стригалева ковырял ногтем клеенку на столе и наклонял лохматую голову то к одному плечу, то к другому. У него была потребность исповедаться.

– Простая такая девушка... Но такую простоту, как у нее, Федор Иванович, надо уметь носить... А я два года ничего не видел. Все хромосомы да колхицин.

И опять наступила тишина. Стригалева вдруг усмехнулся – над самим собой.

– Знаете... как открыли ржавый замок. Физически почувствовал. Там, в замке, такие есть сувальды, самая секретная часть. Вот они и сдвинулись с места, и замок вроде отперся. Скрипу было! – И он доверчиво улыбнулся Федору Ивановичу. – Сдвинулись, и, должно быть, выглянуло что-то. Сразу у нас и контакт завязался...

Федор Иванович все это время жадно пил чай, пил, как живую воду, опустив глаза к своему стакану. Ведь был напряжен, боялся взглянуть Стригалева в лицо. «Как это я сразу так увлекся, поверил? – думал он. – Ведь и Туманова предупреждала, да и видно было по всему...»

– Я ведь тоже чуть не стал образцовым мичуринцем, – сказал вдруг Иван Ильич. – В молодости тоже на него молился.

– На кого?

– На кого? – Стригалева опять сжал себе нос пальцами и загакал: – Вот на этого на самого.

Федор Иванович засмеялся:

– Чем же он вас очаровал?

– А чем вас?

– Ну – я! У меня был путь...

– Так и у меня был тот же путь! Страшные тридцатые годы. И странные! Одни отрекались от родителей, другие культивировали свой крестьянский, местный говор, свое неумение говорить... Все тот же был извечный маскарад. «А под маской было звездно, улыбалась чья-то повесть...» Я, как и вы, был тогда мальчишкой. Чуть постарше, конечно, школу уже кончил. Отзывчиво реагировал на все, что относилось к воспетому, к советскому, коммунистическому. Особое было отношение ко всему, что шло из народа, от рабочих и крестьян. Интеллигенция – так, второй сорт, гниль. «Хлипкий интеллихонт, скептик с дрожащими коленями» – это ведь слова Касьяна. Сильно дрожат у вас колени? По-моему, у такого не больно задрожат.

– Вы что имеете в виду?

– Только хорошее, Федор Иванович. Я вас понял с самого начала. Мы с вами во многом схожи.

Федор Иванович чуть заметно кивнул. Он как-то без слов вспомнил те свои времена, когда он ждал звездного часа, присягал правде и знанию, а шел куда-то в противоположную сторону.

– В общем, я был пареньком, хорошо подготовленным к восторгам. Науки еще не было. Наука была впереди. Ее обещали. Мы все верили: наука будет. Она придет из народа. Новая наука! И вот он появился, как Онегин перед Татьяной. «Вот он!» Я тогда еще не понимал великого значения косоворотки, пахнущих дегтем сапог, подшитых валенок и тому подобных примет простого человека. Это сегодня я знаю твердо, что, если человек, придя в современную науку, слишком долго – десятки лет – не может овладеть грамотой и правильным русским произношением, – этот человек или страшная бездарь, или сволочь, притворщик, нарочно культивирующий свою пролетарскую простоту. С целью всех обобрать.

Федор Иванович вспомнил Цвяха и его иногда прорывающийся акцент. «Хороший мужик, – подумал он. – Но немного играет на своем „беритя“».

– Тогда я не понимал. Я молился на косоворотку и сапоги. И сам их носил. Галстук? Ни-ни-ни!

– Да-да, – поддакнул Федор Иванович. – Я тоже. Меня поразила в академике Рядно и ужасно привлекла его народная непосредственность, прямота. Такая самородность, неподражаемое своеобразие, возросшее, я бы сказал, на крестьянской ниве, на земле...

– Вот-вот! И был тогда академичек один, сейчас его уже нет. Уж он-то, можно сказать, революцию сам делал. Не от пустого кармана шел к Октябрю, не от стремления что-то от этого получить, а наоборот. Он был из семьи крупного ученого. Обеспеченная семья. Шел от желания свое отдать другим. Что ни говорите, я таких, кто не берет, а отдает, не думая о своем будущем, уважаю. Академик этот шел от идеальных побуждений. Бантик, бантик красный по праздникам всегда носил. Все забыли уже надевать, а он все носил. И вот дорвался – нашел самородок, полностью соответствующий идеалу. Стал нянчиться с ним, с этим, в валенках-то. С нашим Касьяном. С восторгом человека из народа повел в алтарь. А кукушонок рос не по дням, а по часам. И папочку своим крюком на заднице – швырь из гнезда. У кукушат такой крюк есть – выбрасывать из гнезда конкурентов. Тот и упал. Высоко падал. Спихнулся – и к товарищу Сталину. А наш у Сталина уже чай пьет. Вприкусочку. Но тогда я всей этой истории еще не знал. Влюбился в него по уши. А он же еще и говорить мастак! С переливами! Да все словом революционным бьет. И держится за Красное знамя. Как в Риме Древнем хватались за рога жертвенника. Схватился – и его пальцем не тронь. Сам держится, а другим ухватиться не дает. Говорит: не примазывайся! Тут и Саул при нем появился. Подсказчик. При Сауле он и начал кидаться словечками: «отрицание отрицания», «скачкообразно», «единство противополо-

ложностей». И обещания правительству. В два года дам новый сорт! Засыплю страну хлебом! Залью молоком! И все о земле-матушке. Любил научные сессии выносить в поле, чтоб профессора прямо на земле сидели... На этих конях и въехал в доверие. Но я уже к критике перешел. Сначала о том, как любовь кончилась. Она быстро прогорела. Сильная любовь не терпит обмана. Был я в одной аудитории, слушал Касьяна. Он тогда еще не был Кассиан. Конечно, вышел в сапогах, в косоворотке, глаза играют, зубы как гармонь – прямо тракторист. Ну, прослушали мы весь его репертуар. Народу битком, овации. А назавтра мне повезло, увидел его случайно на одной даче. Костюм, отрывка прошлого – галстук. Умел, оказывается, и галстук завязать. Зубы свои спрятал. И речь, речь! Совсем другая речь! И вдруг узнаю, что никакой он не бедняк был, отец у него был «грамотный зажиточный крестьянин», имел паровую молотилку. Для меня, Федор Иванович, это было первое научное открытие. Я увидел, что человек сам может создавать в себе «народный тип». Так что он сам помог... И ведь эта «мужиковатость» на людях в нем не убывает. Растет с каждым годом. По-моему, он стал большим филологом-фольклористом. Как Даль.

– А я вот задержался, – сказал Федор Иванович. – Я почти до сегодняшнего дня... Если бы анализировал – давно увидел бы истину. В том-то и дело, Иван Ильич. Не анализировал. Не приучен был к анализу. Вера, вера! Не анализировал, а теперь вижу – подгонял результаты под концепцию. Десять лет подгонки! Помню случаи, когда не получалось и из-под неуклюжей конструкции выглядывали белые нитки. Истина. Так я пугался! Не советское выглядывало, не наше. Чуждое, монах Мендель.

– И впадал в политический уклон!

– Впадал!

– Кто своими руками не делал расщепление «три к одному», тому легко было впадать...

– И я впадал. И еще больше громоздил – дикость на дикость. А когда получалось – вроде бы опыт в концепцию укладывался, – тут поражался.

– Значит, неверие все-таки сидело...

– Сидело, Иван Ильич. Чувствовал, что под поверхностью совсем другая рыба ходит. Еще как сидело! Но я его давил. Как у одного французского писателя в рассказе, читал я. Там к священнику привели слепого и попросили исцелить. «Ты известен набожностью – возложи руки и помолись погорячей, – мать просит, – может, и исцелится». Упирался, упирался, а потом все-таки возложил и начал молиться. Никогда так горячо не молился. И слепой открыл глаза. «Вижу!» – говорит. А священник чуть с ума не сошел – не может быть! Невероятно! И бежать от сана. Отрекся. Неверие замучило – никогда, оказывается, не верил!

– Федор Иванович! – Стригалева положил на его руку свою сухую волосатую кисть. – Вы очень к месту это рассказали. В самую точку. В науке есть знающие ученые и есть такие вот священники. Неверящие, но делающие вид. По-моему, вы и сейчас...

Федор Иванович энергично закивал, замахал, почти закрывая ему рот рукой. И они долго, чуть слышно, радостно смеялись.

– Я теперь только начинаю становиться ученым, – сказал Федор Иванович, сделав унылую гримасу. – На са-амую первую ступеньку становлюсь. Где написано: никакой веры!

Когда он собрался уходить, Стригалева вынес ему из-за печки книжку. Знакомое название и чернильный штамп «не выдавать».

– Хотите заглянуть?

– Она у меня есть.

– Ага... Я предвижу, что вам, ставшему на эту первую ступеньку... не очень легко будет на вашей кафедре...

– Я не собираюсь начать службу задорным провозглашением с кафедры аксиом. Как Хейфец провозглашал. Пять минут яркой вспышки – и дымок. Последний... Что пользы?

– Не вспыхнете – будут думать, что вы инструмент Касьяна. Многие и так уже...

– Это хорошо. Я не обидчив.

Стригалева покосился глубоким бычьим глазом и промолчал.

– Иван Ильич! Что толку в бряцаниях и клятвах?

– Ну да, конечно... – просопел Стригалева. Он все еще изучал Федора Ивановича.

– Принес вам машину – вот и хорошо. А там посмотрим. Мы беседуем, достигаем внутреннего совершенства, но дело-то не в этом. Касьян, наверно, сейчас пьет свой чаек.

– Ну да, ну да... Спасибо. Заходите.

Домой Федор Иванович шел, не замечая своего движения. Механика его тела самостоятельно и точно следовала изгибам чуть белеющей тропки. Он не видел во мраке ничего от своей земной формы, не видел своих рук и сам себе казался в эти минуты сущностью, освобожденной от внешней оболочки и способной летать. В этом сгустке энергии, скользящем сквозь теплую душистую тьму, происходил хоть и резкий, но хорошо подготовленный решающий поворот. Федор Иванович давно предчувствовал его и боялся, а встретил сейчас с радостью. Долгие годы в его душе копились достаточные и достоверные данные, пока не наступила эта ночь последних открытий. Мгновенно исчезли все оттенки симпатии к добродушному и покладистому старику, который иногда, совсем недавно, казался ему отцом. И сущность этого старика сейчас же подступила к нему из тьмы и полетела рядом, противно глотая чай и постукивая золотыми *кут-нями*, как конь постукивает стальным мундштуком. А с другой стороны подошла, увязалась, не отводя хмурого взора, другая сущность – лохматый, уверенный в чем-то своем и настойчивый Стригалева. А вдали еще кто-то летел, неотступный, ожидающий своего. И Федор Иванович летел вместе с ними, все острее чувствуя кровотокающую царапину долга – старого и нового. Пока вдали не забрезжил желтоватый огонек и не приблизился, став лампочкой перед входом в жилище приезжающих. Когда эта ясность вступила в сознание, образ старика отстал и исчез. И остальные двое остались где-то позади. Федор Иванович услышал свои шаги на каменном крыльце и, твердо, с удовольствием топая, новым человеком вошел в коридор.

В комнате, которую теперь занимал он один, Федор Иванович зажег настольную лампу и, взяв с окна, поставил к ней литровый химический стакан, суживающийся кверху и заткнутый комом ваты. И уселся перед ним, наблюдая. Дней пять назад он выпустил из пробирки всех своих мушек. На дне остался кисель, в нем кишели проворные белые червячки. Кисель с личинками он вытряхнул на дно этого стакана и заткнул его ватой. Сегодня стакан был населен новыми мушками. Это пошло уже первое поколение – эф-один, как говорят генетики. Женственные самки, возбужденно приподнимая крылышки, бегали по стенкам стакана, показывали и убирала яйцеклад, привлекая поджарых самцов. Те цепенели неподвижно в разных концах стакана, припав грудью к стеклу и приподняв тощий зад – как сверхсовременные истребители на старте. То один, то другой, вдруг молниеносно прыгнув, оседлывали самку. Только что вышедшие из куколок длинные бледно-зеленые и прозрачные девственницы словно заснули около киселя, полные идеалистических бредней. Не постигнув еще своего предназначения, они и не помышляли о том, что завтра, изменив цвет и укоротившись, будут бегать, взмахивая крылышками и выставляя яйцеклад. И все это было – жизнь, но жизнь малая – без героев и негодяев, которые делают ее богаче, отклоняют от механической животной программы.

Все мушки первого поколения были с крылышками. Бескрылость исчезла, и это уже было первым подтверждением правоты того, что писал в своей книге Добржанский, что открыл монах Мендель. И, глядя на мушек, Федор Иванович уже чувствовал, что классическое соотношение «один к трем» во втором поколении обязательно получится.

VII

Последующая неделя в жизни Федора Ивановича и в делах факультета не принесла ничего примечательного. Волна, поднятая августовской сессией академии, шипя, прикатила в город и бухнула в стены сельскохозяйственного института, подняв целую тучу медленно оседающих брызг. Потом отхлынула, опять поднялась, на ней опять закипел гребешок страстей множества заинтересованных личностей – подлецов и героев, – и все это, нарастая, покатило в другие города. А здесь, среди разрушений, потекли тихие будни. Костер на хоздворе погас, и три дня лаборантки ходили туда с ведрами за золой для удобрения – пока не подчистили все. Из Москвы был прислан новый доцент и сразу же начал бойко читать курс лекций по мичуринской генетике, усердно костя при этом вейсманистов-морганистов как проводников буржуазной идеологии в биологии. И Федор Иванович, который так боялся необходимости читать лекции на этой кафедре, вздохнул. «Я, сынок, решил не загружать тебя лекциями, – сказал по телефону академик Рядно, не спускавший глаз с Федора Ивановича и знавший все. – Ты давай готовься к делу, которое я на тебя возложу. Наследство Троллейбуса пока не разбазаривай, все возьми на учет. Все мне расшифруй, что он там... закодировал. Что не кончили из своей менделевской галиматьи, пусть кончают, не мешай. Пусть вся эта братия спокойно работает. Пока. Я тут пробиваю одну идею, и ты займешь достойное место в этом плане».

И Федор Иванович сразу же собрал всех, кого он проверял во время ревизии, и серьезным тоном предложил сохранить все растения, независимо от целей и надежд, связанных с их появлением на свет. В том числе и «наследство» Ивана Ильича. Продолжать тщательные записи, собирать семена и клубни, довести до конца все исследования в соответствии с планами, в том числе и с планами, признанными порочными.

Во время этого совещания он старался не замечать спокойного, вникающего и несколько удивленного взгляда через очки, направленного на него из дальнего угла. Больше посматривал на Краснова, который мял в пальцах теннисный мяч.

Когда все разошлись, Федор Иванович вспомнил нечто, прошел в комнату Ходеряхина и Краснова. Альпинист отсутствовал, и, подсев к его столу, Федор Иванович в ожидании рассеянно поглядывал на бумажки, положенные под стекло. Там были выписки из справочника по картофелю, вырезка из газеты с футбольной таблицей и страница, на которой можно было прочитать следующие строки, напечатанные на машинке:

«б. Напрячь мышцы брюшного пресса и ослабить – 30 раз.

в. Сжать до предела ягодичные мышцы и ослабить – 30 раз.

г. Втянуть до предела прямую кишку и отпустить – 30 раз».

Рассмеявшись, Федор Иванович поскорее встал из-за стола – он щадил стыдливость Краснова. А тут как раз спортсмен и вошел.

– Я к вам, – сказал Федор Иванович, гася улыбку и выкладывая на стол шесть пакетиков. Понизив голос почти до шепота, он добавил: – Я согласен, не следует разбрасываться такими вещами. И академик не рекомендует...

– Не имеем права! – подхватил Краснов и, усевшись за стол, смахнул в ящик все пакетики.

– Вас, кажется, зовут Ким? – вдруг спросил Федор Иванович, задумчиво глядя на него.

– Ким Савельевич.

– Ким Савельевич! Я исхожу из того, что там случайно может оказаться и ценный материал...

– Пусть даже один случай на миллион – мы не можем сбрасывать со счета.

Федор Иванович приостановился. Его ключ действовал безошибочно. Зло, отлично знающее свою суть, как всегда, маскировалось добрыми намерениями. Он изучал Краснова некоторое время, но тот ничего не заметил. Хотя нет, что-то почувствовал.

– Вы покраснели, Федор Иванович. Не беспокойтесь, я их сейчас же положу в хорошее местечко и заведу специальный журнал.

– На всякий случай, если бы он пришел за ними...

– Отошлите его ко мне. Вам незачем связываться. Скажите, я говорил вам о каких-то пакетиках. А я найду что сказать.

– Да нет. Я ему уже сказал... прямо сказал, что мы нашли...

– Ну, тогда-а... – протянул Краснов разочарованно. – Тогда что ж...

– Ничего страшного! Мы с ним условились, что семена останутся на нашей кафедре, в лаборатории. Это я вам на всякий случай, чтобы вы знали. Если придется говорить. Мы их высеём, в порядке проверки. Нам ведь не все нужно, что взойдет...

– Так, пожалуй, будет еще лучше! Я буду у вас самым исполнительным лаборантом.

– Значит, вы сделаете все, как говорили. Будем вместе.

– Я уверен, мы достигнем результатов. При таком единстве взглядов...

– Похожем на соучастие, – вставил Федор Иванович, хихикнув.

Краснов пожал плечами:

– Ничего похожего! Казнить из-за таких пустяков... если я правильно понял... по-моему, не стоит.

Он совсем не замечал, что его исследуют.

– Интересно, – сказал Федор Иванович задумчиво, – люди, у которых дурная болезнь... скрывают они друг от друга в диспансере свои язвы?

– Этот объект не стоит такого глубокого анализа, – сказал Краснов. И вдруг смутился. Что-то дошло. – А кто в наше время без какой-нибудь язвы?

– Это верно, – сказал Федор Иванович, глядя на него, не сводя глаз. – Это верно.

– Именно, Федор Иванович! Люди – это люди!

– Вглубь лучше не заглядывать, – подбросил ему Федор Иванович опору.

– Именно! – весело заревел Краснов и, став ниже ростом, разогретый хорошо проведенным важным разговором, поднялся его провожать, вышел в коридор.

«Надо отучиться краснеть», – подумал Федор Иванович.

...В розовой лужице киселя на дне химического стакана опять завелись энергичные и ловкие белые червячки. Кисель бурлил и кипел от множества пронизывающих его жизней. Несколько коричневых куколок приклеились к стенке стакана и замерли. Однажды на рассвете Федор Иванович вынес стакан на улицу и опять выпустил всех мушек. Теперь в стеклянном конусе, заткнутом ватой, окончательно созрел факт, такой же неоспоримый, как превращение капли йода на картошке в синюю кляксу.

Еще через семь или восемь дней, утром, собираясь в институт, Федор Иванович заметил в стакане движение. Там уже кружились и прыгали пять или шесть мушек – второе поколение. А на дне среди бледно-зеленых девственниц беспокойно бегали два бескрылых существа: пробежка – скачок, пробежка – скачок... Они пытались взлететь.

«Надо сказать ей», – подумал Федор Иванович. Он понимал, что там все решено и вмешиваться в чужие отношения на правах третьего лица – дело безнадежное и даже не совсем достойное. Но ему хотелось услышать ее голос, обращенный к нему. «Я ничем себя не выдам, буду спокоен и безразличен. Все-таки речь идет о направлении в науке. Это будет вполне приличный, легальный повод».

Придя в институт пораньше, он сел в своем кабинете у окна и, чувствуя частые, сильные удары сердца, как будто выпил несколько чашек крепкого кофе, минут двадцать следил за асфальтовой дорожкой, ведущей к входу. Прошли, беседуя, Анна Богумиловна и Анжела.

Прошел с портфелем новый – московский – доцент. С теннисным мячом в руке прошел Краснов, издалека похожий на громоздкого, чуть сутулого первобытного человека, ищущего коренья. И вот показалась она – в знакомой вязаной кофточке, маленькая, полная тайны. Почти пробежала, о чем-то мечтая, влекомая какой-то манящей целью. И Федор Иванович, загремев стулом, оставив распахнутой дверь, вылетел в коридор и там сразу принял независимый вид. Опустив голову, как бы размышляя о чем-то, он прошел половину коридора, и тут Елена Владимировна из-за угла налетела на него, толкнула обеими руками.

– Простите! – засмеялась виновато, а душа ее, ставшая чужой и небрежно-рассеянной, уже летела куда-то дальше.

– Я тоже виноват, – сказал он, умеренно улыбнувшись и уступая ей дорогу.

Она так и ринулась бежать.

Посмотрев ей вслед, он как бы вспомнил:

– Да, Елена Владимировна! У меня уже пошло третье поколение! Сегодня утром смотрю...

Она быстро обернулась.

– Тсс! – прошептала гневно. Вся сила у нее была в сдвинутых, не принимающих никакого компромисса бровях. Потом подошла совсем близко. – С ума сошли! – низко прогудела. – Гаркает на весь институт. Вы же скрытый вейсманист! – И умолкла, глядя сквозь большие очки по сторонам. На чистом лбу был виден прекрасный гнев. Этот чистый лоб умел командовать.

Потом она успокоилась и посмотрела со вспыхнувшим интересом. Интерес был не к нему, а к науке.

– Скоро будем считать. Завтра я возьму флакончик с эфиром и приду... Нет, лучше подождем еще денек. Где мы будем считать – у вас или у меня?

– Может, у меня удобнее?... – неуверенно спросил он.

– Хорошо. Значит, послезавтра. После работы ждите.

До назначенной встречи надо было ждать больше двух суток. До вечера Федор Иванович кое-как дотянул. Потом на него накатила тоска. В комнате для приезжающих было одиноко, и он позвонил Тумановой.

– Алло! – ответил ее полный, гибкий голос. – Это ты-и? Ну, если тебе скучно, так приходи. Мне тоже скучно. Давай вместе выпьем вина.

– Какое вино ты пьешь?

– Я пью водочку. Без дураков. Бери пол-литра православной, не ошибешься.

Конечно, не только тоска и одиночество толкнули его на этот телефонный звонок. Идя к Тумановой со свертком в руке, он все отчетливее чувствовал, что там для него прояснится еще одна забавная и важная вещь. Впрочем, и без того уже почти ясная.

Антонина Прокофьевна ожидала его в своей постели, обложенная расшитыми подушками, и по этим подушкам и кружевам ступенями струились ее черные волосы. Ветка ландыша была на месте, но желтого алмаза не было. Поцеловав хозяйку в щеку, он поднял глаза и увидел над ней на стене литографию в рамке. Там был изображен обнаженный человек, привязанный к дереву и поднявший полные слез глаза к небу. Из тела торчали стрелы. Казнь происходила на городской площади, на фоне пятиэтажных домов с арками.

– Я что-то не видел у тебя эту картину, – сказал он.

– У нее такое свойство. Кого это не касается, тот не видит. Пропускает. А теперь, видно, коснулось тебя, Федяка. Это святой Себастьян, тебе следует знать. Он был начальник телохранителей у императора Диоклетиана. Самый близкий человек. Царь-то был страшный гонитель христиан, но народа боялся. А полковник лейб-гвардии оказался тайным христианином, да еще и пропагандистом. Он сделал христианами и крестил около полутора тысяч придворных солдат. Вот за это, когда дело открылось, когда какая-то сволочь донесла, Диоклетиан и велел

привязать его к дереву и расстрелять тысячью стрел. Он тут и нарисован... Тициан тоже писал на этот сюжет.

– А это чье?

– Антонелло да Мессина такой. Моя любимая картина. Всех современников, и всех потомков, и нас с тобой нарисовал. В самое нутро людей заглянул.

Федор Иванович вытянулся, чтобы получше рассмотреть картину.

– А ты сними. Разрешаю, – сказала Туманова. – Только давай сначала выпьем. Раз затеяли это дело.

Во время их беседы две старухи в черном успели неслышно расположить на столе около кровати граненые стопки и закуску. Федор Иванович вышиб белую пробку из бутылки.

– По первой?

– Давай, Федяка. Давно хотела выпить с тобой. Только бабушкам сначала налей.

Обе старушки, стесняясь, подставили рюмки, и Федор Иванович налил. Когда бабушки ушли, Туманова чокнулась с гостем и медленно выпила, а выпив, тяжело посмотрела ему в глаза, и он понял, что она заливала в себе какую-то боль, и залить не удалось.

– Хорошо пить с человеком, который понимает не только прямую речь, – сказала Туманова. – Ты сними картинку-то. Сейчас самое время ее рассматривать. Давай посмотрим вместе. Вот видишь, на переднем плане человек. Умирает. Не зря умирает, а за идею. А все равно тяжело. А сзади – те, для кого он шел на опасное дело. На балконах горожанки вывесили ковры. Друг на дружку не смотрят, красуются. Женщина стоит с младенцем, погрузилась в свое материнство. Ну – ей разрешается. Пьяница на мостовой грохнулся и спит. Вдали, посмотри, два философа прогуливаются в мантиях. Беседуют. Солнце ходит вокруг Земли или Земля вокруг Солнца? Возможно ли самозарождение мышей в кувшине с грязным бельем и зернами пшеницы? Ничего еще не доказали, а в мантию уже влезли. А вот тут, справа, два военных. Беседуют о том, как провели вчера ночь. «Канальство! – один говорит. – В пух проигрался, туды его!.. Но выпивка была знатная. Еле дорогу нашел в казарму». И другой что-то серьезно толкует. А тут человек умирает, в самом центре площади. И все, видишь, ухитряются этого не замечать! Им до лампочки, Федька. Абсолютно до лампочки всем, что кто-то там...

– Но ведь полторы-то тысячи крестил? Значит, не всем.

– Утешайся! Некрещеных-то больше, Федя. Возьми эту картину себе в башку, как я взяла. И наблюдай жизнь. Когда жгли у вас книги на хоздворе, я все время смотрела на эту картину.

Действительно, картина была значительная, и написал ее художник, знающий горькие стороны жизни.

– По-моему, в замысел художника входила еще одна вещь, – сказал Федор Иванович.

– Давай сначала еще по одной, потом расскажешь, – сказала Туманова.

Они выпили. Антонина Прокофьевна, закусив губу, смотрела некоторое время в сторону, потом как ни в чем не бывало с улыбкой обернулась к нему:

– Ну, давай рассказывай про замысел.

– Ведь он находится в стане язычников, Антонина Прокофьевна! Они его считают чем-то вроде вейсманиста-морганиста, а сами, разумеется, владеют конечным знанием! А он свой свет не хочет уступать. По-моему, вы, когда у нас книги горели, чувствовали именно эту сторону картины.

– Многое я чувствовала, Федяка. Ты ешь колбасу.

– Антонина Прокофьевна! Что я вижу!

– Это ты хорошо сформулировал. Во стане язычников. Это я упустила из виду.

– Что я вижу, Антонина Прокофьевна! Как вошел – сразу увидел. Желтенький куда дела?

– А что же мне его – на бал? Продала. Моего болвана выручать пришлось. И не знал ведь, а над его завитой башкой туча собиралась. Да еще какая, Феденька. С молниями. Вон, видишь, под стеной эта тучка... Я выкупила ее.

И он увидел в стороне под стеной сосновый некрашенный сундучок деревенской работы, сделанный, наверно, полвека назад. Крышка его была разделена трещиной на две половинки. Федор Иванович вскочил было – хотел посмотреть поближе, поднять крышку. Но Туманова тронула его властной рукой.

– На-а место! Заглядывать туда нельзя. Там сидит джинн.

– По-моему, тебе его Кеша Кондаков подарил. А?

– «Подарил!» – Она усмехнулась. – Ничего себе подарил! За пятьсот целковых. Ты сундучок, значит, видел у него? Сволочь какая, говорил, что ни одна душа... Я же отвалила ему не за деревяшки, а за тайну...

– Нет, Антонина Прокофьевна. Я у него сундучка не видел. Только слышал о нем. Историю этого сундучка.

– Я давала ему сначала сто. «Нет, – говорит, – в деньгах такие вещи не оцениваются. Это же историческая ценность! Я даже стихи написал!» – «Ну, на тебе тогда двести за историческую ценность. И триста за стихи». Сразу притащил.

– Стихи я знаю. «Был Бревешковым – стал Красновым, был Прохором, теперь ты – Ким».

– Откуда узнал?

– Он сам мне на улице...

– Трепло! – прошипела Туманова, ударив кулачком с перстнями по подушке. – Трепло vonючее на дамских каблуках! И бабник страшный. Которая понравится – та и его. Как мой... А стихи писать умеет...

Они умолкли. Федор Иванович опять взял в руки рамку с литографией.

– А что, твой Краснов – боится грехов своей молодости?

– У него и сейчас их хватает. Только теперешние способствуют карьере, а старые могут отразиться...

– Так, наверно, все давно известно там, где интересуются. И о папаше Бревешкове, и о верном сынке.

– Может, и знают. А может, и не всё. Может, знают, а делают вид, что не знают. А тут как пойдет такая легенда про сундучок, и не хочешь, а придется заинтересоваться. В анкетах он писал кое-что, а от меня, когда ухаживал, утаил.

– Оч-чень интересно, – задумчиво сказал Федор Иванович.

– Хочешь, приятное тебе скажу? Ваши биологические дамы все время держат тебя на прицеле. Наблюдают и делятся. Тут мы недавно с Леночкой о тебе хорошо потолковали. С маленькой этой, с Блажко. Что у меня тогда с Троллейбусом была. По-омнишь?

– Кажется, припоминаю...

– Все расспрашивала, откуда я тебя знаю, да каков ты с изнанки, был ли женат? Был ли женат!

– Она должна на меня смотреть как на пугало. Ведь я здесь отличился!

– Да, Федя, ты отличился. Мы об этом тоже говорили. Она сказала: «У нас некоторые считают, что он опасен. Я тоже сначала так думала». Я как почувствовала этот ее интерес, сразу стала на твою защиту. «А что, – говорю, – он должен был делать? Это же его служебный долг! Вот полковник у нас есть из шестьдесят второго дома, Свешников. Что же ему – в адвокаты теперь? Кто-то и там нужен. На то и шука в море, чтоб ваш, детка, карась не дремал!» Видишь, как я за тебя. Цени-и!

– Да-а... Шука – это ты хорошо. Это очень лестно.

– А почему ты, Федяка, до сих пор не женился?

– Армия и война. Я ведь только в прошлом году бросил костыль.

– Ну, я тебя здесь женю. Побудешь еще месяца три – жену в Москву увезешь. А меня ты должен пожалеть, слышишь? И пресечь этого поганого поэта. Чтоб не распространялся.

– А что тебе этот Краснов?

– Сначала стань женщиной, потом попади в мое положение, тогда поймешь. У меня даже сына нет! Сейчас это для тебя – семь печатей. Хотя ты и понимаешь добро и зло. Так и не рассказал мне про свое историческое доказательство. Дядику Борику рассказал, а мне нет.

– Ну, здесь все совсем просто. Только того, что под носом, никогда не видят. У нас говорят об относительности добра и зла. Мол, в одном месте это считается злом, а в другом – добром. Вчера – зло, сегодня – добро. Энциклопедия, словари, учебники – все так. Но это все далеко, далеко не так. Нельзя говорить «вчера», «сегодня», если о зле или добре. Что провозглашалось вчера как добро, могло быть замаскированным злом. А сегодня с него сорвали маску. Так что и вчера, и сегодня это было одно и то же. Всем видное вчера зло может перейти в наши времена и остаться тем же злом, но наденет хорошенькую масочку и будет причинять страдания. Был Бревешковым – стал Красновым, чувствуешь? А дурачки будут думать, что перед ними сплошная справедливость, чистейшее добро. Практика жизни установила, Антонина Прокофьевна, точно установила, что зло и вчера и сегодня было и будет одно и то же. Нечего запутывать дело! И вчера и сегодня оно выступало в виде умысла, направленного против другого человека, чтоб причинить ему страдание. Практика жизни с самых первых шагов человека во всех делах ищет прежде всего цель делающего. Я бы сказал – первоцель. Она смотрит: кто получает от поступка удовольствие, а кто от того же дела страдает. С самого начала начал – три тысячи лет назад в самых первых законах был уже записан злой умысел! Злой! Он уже был замечен человеком и отделен от неосторожности, в которой злого умысла нет. И этот злой умысел так и переходит без изменений из столетия в столетие, из закона в закон. Вот это и есть факт, доказывающий историческую неизменяемость зла. Безвариантность, как говорит Вонлярлярский.

– Я не согласна, Федя. Раб восстает против эксплуататора и убивает его. Он причиняет страдание, а прав!

– Нет, Антонина Прокофьевна. Он освобождается от своего страдания, причиненного ему злым умыслом рабовладельца. У Гоголя есть атаман Мосий Шило. Когда турки захватили его вместе с казаками в рабство, он прикинулся верным слугой паши, и настолько, что свои возненавидели его. А когда вошел в полное доверие, отпер замки на цепях прикованных к галере казаков и дал им сабли, чтоб рубили врага. Все, что делал Мосий Шило, имеет знак плюс. Потому что этому предшествовало страдание, причиненное казакам, которых турки захватили в рабство и морили голодом. Так что раб прав, Антонина Прокофьевна! Эти отношения можно даже математически выразить. Если переносишь член уравнения с правой стороны на левую, он меняет знак. Что было здесь минусом, там – плюс!

– Дай обдумаю. Ага, уравнение... Все правильно. Знаешь, почему я об этом обо всем тебя спрашиваю? После той нашей беседы я все пробую приложить... Я под твоим углом зрения, Федяка, рассматриваю своего остолопа, все его поведение...

Она умолкла. И Федор Иванович молчал, только двигал бровью.

– И я нахожу, что он всегда был редкая сволочь. Не стал в результате воспитания, а вопреки ему всегда стойко пребывал самим собой. Такой ухажер – иногда был как сахар. Но всегда ждал условий для проявления подлости. Я тебя должна, Федяка, предупредить. Как бы он тебе... не причинил страдания. Он ведь там, у вас, работает.

– Знаю, Антонина Прокофьевна, уже давно почуял. А зачем он мячик тискает?

– О-о, это у него серьезное занятие. Кулак развивает. Ему же нужен кулачище, а он у него с изъяном. Давай-ка, Федя, налей... Залью свои угольки...

И еще прошли сутки. В химическом стакане теперь кипела буря – там бился о стенки плотный рой, по дну стакана скакали и сталкивались десятки бескрылых мушек. На третий день в институте, проходя мимо цитологической лаборатории, Федор Иванович увидел через открытую настежь дверь Елену Владимировну и, как всегда в последнее время, прохладно,

мимолетно кивнул ей. Кивнула и она и продолжала свой разговор с молоденькими лаборантами. Больше он ее в этот день на работе не видел. Идя домой, он ломал голову: придет ли? Ведь приглашение он сегодня не повторил. И еще: нужно ли купить цветы? Нет, после всего, что ему стало известно, нельзя. Это вызовет недоумение. Она так хорошо умеет пожать плечами. Конфеты? Это то же, что и цветы...

Он все-таки купил небольшую коробку сливочных помадок, белый батон и триста граммов масла – все, что нужно для холостяцкого чая. Придя домой, он, чтобы не было похоже на свежую покупку, съел несколько помадок и не почувствовал их вкуса. Оставшиеся встряхнул в коробке. Все припасы спрятал в письменный стол, поставил на электрическую плитку полный алюминиевый чайник, закурил и лег на койку. Выкурив одну папиросу, тут же взял другую. «Вот как неожиданно попался! – подумал он. – Прямо заболел! – И замер, усиленно дымя. – Сейчас придет – надо опомниться, взять себя в руки. Надо выстоять этот единственный и последний раз. Стригалева хороший человек, он сильно похож на того, на геолога. Как бы от его имени явился получать долг. Подбивать под него клин – позор и свинство, и вообще невозможное дело. И потом, здесь будет действовать автоматика – там ведь тоже понимают, и чем больше будешь навязываться, тем отвратительнее предстанешь. Клин! Тьфу!» – Он мысленно даже плюнул себе в физиономию и потянулся за третьей папиросой.

– Да, да! – Он вскочил с койки, услышав легкий стук в дверь, и бросился открывать окно, чтобы вытянуло дым.

– Это я, – сказала она, входя, как врач к больному, – серьезная и официально-приветливая. Быстро огляделась, поставила на стол флакончик из-под духов – с эфиром. Жестом пригласила приступить к делу.

– Вот они, – сказал Федор Иванович, ставя на стол химический стакан с мушками. – По моему, и так уже видно, что монахи прав.

– «Видно» – это еще не доказательство. Вот когда мы подсчитаем... Я уже десятки раз считала и каждый раз... Всегда подхожу к этому подсчету как к чуду. Это «один к трем» – всегда руки дрожат!

– У меня тоже что-то вот тут... – Федор Иванович показал туда, где у него была ямка между шеей и грудью. – Я-то никогда еще не считал. Скажу вам, что вообще я впервые буду держать в руках... видимо, настоящие объективные данные.

– Видимо? – спросила она, поведя на него повеселевшими глазами. – Хотя да, вы ведь не верите, вам надо знать. Мы их сейчас усыпим. – Она наклонила флакон над ватой в горловине стакана. Пряно запахло эфиром. – Капнем им сейчас... Есть у вас чистая бумага? Подстелите скорее вот сюда. Вот так...

И, вынув из стакана вату, она вытряхнула на белый лист мгновенно уснувших мушек, похожих на горсточку проса.

– Вы проводите эксперимент – вы и считайте.

Федор Иванович начал передвигать мушек кончиком карандаша, отделяя крылатых от бескрылых.

– Сорок восемь, сорок девять... – шептал он, шевеля бровью и сопя.

– побыстрее, а то начнут просыпаться!

– Девяносто две, девяносто три... Крылатых девяносто восемь!

– Запишите – и крылатых обратно в стакан. Вату сразу на место. Считайте бескрылых! Бескрылых оказалось тридцать четыре.

– Всего сто тридцать две, – сказала Елена Владимировна. – Теперь пишите. Умеете пропорции составлять? Сто тридцать два относится к тридцати четырем, – тихонько загудела она, почти касаясь щекой его уха, – как четыре к иксу.

– Да, да... – кивал Федор Иванович. – Да. Икс получается – один и три сотых.

Высчитали и долю крылатых мушек – получилось две целых и девяносто семь сотых.

– Ну вот. Теперь вы своими руками сделали «один к трем». – Елена Владимировна откинулась и посмотрела на него прямо – в упор, через большие очки. – Три сотых – это можно не считать. У крылатых могли погибнуть два яичка...

– Да, понимаю, Елена Владимировна, понимаю ваш взгляд, – сказал он, краснея. – Спасибо. Больше ничего не могу сказать...

Тут захлопала крышка чайника. Федор Иванович выдернул шнур из розетки. Помолчав, побарабанив пальцами по столу, он сказал:

– Я собирался чай пить. Не разделите со мной?

– А если не разделю?..

– Н-не знаю, что и сказать. Такой вариант не был предусмотрен.

– Вы какой-то в последние дни... Исчезаете как-то. Вот сейчас – получили что надо, свои достоверные данные, – и сразу исчезли, нет вас. Вам не наговорили про меня ничего?

– Н-нет. Я забыл вам отчитаться за свой визит к Ивану Ильичу. Микротом я отнес, он был очень рад, и мы хорошо поговорили. Наверно, будем друзьями. Если примет мою дружбу. И даже если не примет... я всегда буду ставить его интересы выше своих... Он вернул вам портфель?

– Я больше не могу-у... – вдруг протянула она жалобно. – Ну что это вы! Прячетесь, слова всякие. Отчет какой-то... Как не стыдно, я, вот видите, зашла гораздо дальше, чем вы. Давайте помиримся! Ну давайте помиримся, Федор Иванович! И опять начнем заниматься ботаникой!

– Сначала объяснимся. – Он с прохладной благосклонностью посмотрел ей в глаза и вдруг заметил, что рука его сильно трясется. – Объяснимся. Вы мне предлагаете дружбу...

– У нас же была... Я предлагаю ее воскресить.

– У меня условие: без всяких боевых заданий. И открытость!

– Некоторые вещи я не могу вам...

– Во-от! Начинается! Вы кто? Кот – вот кто вы, мягкий кот, живущий сам по себе!

Она широко раскрыла веселые глаза.

– Вы тоже полны таинственности. И умеете ни за что обижать.

Вместо ответа, Федор Иванович достал из письменного стола две чашки и блюда, выложил коробку с помадками и батон. Он заварил чай в круглом белом чайнике и стал разливать кипяток и заварку по чашкам, а она молча следила.

– И дружба бывает тоже страшно ревнива, – сказал он, вдруг резко обернувшись к ней. – Знаете, что вы слышите сейчас? Друга ропот заунывный. Если нам удастся что-нибудь воскресить, то я вас уже не отдам никому. Вцеплюсь и не отдам! И не позволю больше ни с кем водить загадочные... всякие непонятные дела. Подумайте, я серьезно.

– Мне не о чем думать. Не о ком... – И она тихонько положила на его руку свои легкие, очень маленькие, как у девочки, пальцы, шершавые, как картофельная кожура. – Это ничего? Я вам не помешаю хозяйничать?

– Нет, – сказал он. В этот миг кривая их отношений, вся состоящая из замысловатых зигзагов, вдруг ринулась вверх по лихорадочной восходящей – к какому-то ужасному обрыву, – она не может ведь так восходить все время, так не бывает. – Нет, – повторил он, боясь шевельнуться, – не помешаете. Я и одной могу...

Он крепко прихватил указательным пальцем ее пальцы – чтобы оставались на месте – и очень ловко стал распоряжаться свободной левой рукой. Подвинул к Елене Владимировне ее чашку и коробку с помадками.

– А вам удобно будет пить? Одной-то рукой...

– Какие уж тут удобства. – Она стала тише и мягче. – Если такие жесткие условия. Прямо кабала...

– Условия жесткие, и я на них настаиваю. – Он сказал это с дрожью. Он отчаянно в этот момент ее любил, забыл обо всех своих установках. Она, конечно, видела все, боялась посмотреть на него.

– Когда-нибудь я эти условия приму. Может быть, скоро. Есть обстоятельства, Федор Иванович, существовавшие до вашего появления у нас... – Говоря это, она сильнее нажала на его руку. – Ваш отдаленный голос должен бы вам сказать, что в таинственных делах кота для вас нет никакой опасности. Говорить вам я ничего не могу, вы сейчас же произведете расследование, и окажется, что я вру. Так что придется вам согласиться на временное ослабление режима...

Она допила чашку и с мягкой настойчивой силой отняла свою руку. На руке были часы.

– Уже девятый час. Я должна идти...

– Я провожу вас, – сказал он, откашлявшись.

– Пойдемте... Этих мушек я беру с собой. Не хочу их убивать.

Они вышли на крыльцо. Уже горели желтые фонари. Среди быстро густеющей вечерней синевы темнела хмурая туча парка. Елена Владимировна потянула своего спутника за рукав, они почти перебежали открытое место и в теплом мраке под деревьями сразу замедлили шаг. Рука Елены Владимировны вкрадчиво забралась под его руку, и он чуть не умер от волнения. Но, сделав несколько шагов, оправившись от этой раны, он сам нанес себе следующую: он обнял ее за то место, о котором мечтал, – за самое тонкое место, где пояс халатика. Хотя нельзя было этого делать. И обнял так, как мечтал, – коснулся пальцами своей груди. Он почувствовал: Елена Владимировна вся напряглась, как от удара.

Свободной рукой он взял ее за руку, и они молча побрели куда-то во тьме, спотыкаясь о корни.

– Леночка! – шепнул он ей прямо в волосы, туда, откуда шел запах свежего сена и полевых цветов.

Они остановились. Федор Иванович не мог уже оторваться от этого сена и цветов. «Леночка!» – шептал он, все сильнее поворачивая ее к себе, и осторожно поцеловал – сначала пустое пространство, потом очки, потом что-то маленькое, живое и горячее – это были губы. Он так и припал к ним, но тут ее руки с неожиданной силой отбросили его.

– Тьфу! Ужасно! – Волны отвращения сотрясли ее. – Какая конюшня! Бр-р! Вы курили! – закричала она со слезами, отплевываясь. – Не думала никогда, что это такая гадость!

Они прошли молча несколько шагов.

– Ничего себе угостил! – Она опять содрогнулась. И добавила с сухим смешком: – Ну и ну... Первый поцелуй!

В убитом молчании Федор Иванович поплелся за нею через парк, чуть различая впереди себя в темноте маленькую сердитую тень. В поле Елена Владимировна ускорила шаг – она спешила куда-то. Не проронив ни слова, они прошли мост, зашагали по освещенной улице. В арке, над которой висел чуть различимый во тьме спасательный круг, Елена Владимировна остановилась:

– Дальше я пойду одна.

– Елена Владимировна! Вы меня не простили? Вы не умеете, оказывается, прощать.

– Вот как раз и умею. Это вы оказались не на высоте – накурился гадости и пошел провожать. Я-то прощать умею. – Оглянувшись по сторонам, она коснулась его щеки детским поцелуем. – Вот так! Теперь смотрите: здесь черта. Ее никогда не переступайте. Пока не разрешу.

– Но я могу к поэту...

– К поэту? А зачем вам к нему? Ну хорошо. Не переступайте после шести вечера. Может плохо кончиться для нас обоих.

– Подчиняюсь. Согласен. Вам известно, Елена Владимировна, что был такой Миклухо-Маклай? Путешественник.

– Был, знаю...

– Он высадился на острове, где жили воинственные папуасы. И лег на берегу спать. Без оружия. И этим покорил туземцев.

– Значит, я воинственный папуас? – Она напряженно засмеялась и поднесла близко к очкам часы. – И вы хотите меня покорить?

– Как Миклухо-Маклай. Вы можете таиться, а я буду открытым. Лягу на берегу спать, несмотря на вашу подозрительную деятельность. Может быть...

– Хорошо, папуасы уже вас простили и покорены. Я бегу, ложитесь спать, спокойной ночи.

И, махнув ему рукой, она побежала в арку. Вскоре близко зарычала пружинной и хлопнула дверь подъезда.

...Федор Иванович остался стоять перед запретной чертой. Она представляла собой границу между новым асфальтом тротуара и более низким и старым асфальтом двора. Он не мог оторвать глаз от этой границы. Ему хотелось пересечь ее и броситься вдогонку за Еленой Владимировной. Но он тут же понял, что она уже далеко, ее уже не догнать.

Медленным, тягучим шагом он побрел от арки к центру города. Пройдя два квартала, он спохватился и почти бегом вернулся назад. Да, окна поэта были по-прежнему темными. Даже чернее, чем другие темные окна дома. Федор Иванович, забыв о запрете пересекать черту, ринулся в арку, вбежал в подъезд поэта, и тяжелая дверная створка, зарывав, резко хлопнула за ним. Все сильнее чувствуя какое-то новое волнение, почти ужас, он одним духом взбежал по лестнице на четвертый этаж и остановился перед черной дверью с бронзовыми кнопками. Глубоко вдавив красную горошину звонка, он стал ждать. За дверью не слышно было ни звука. Он опять позвонил, держал палец на кнопке с минуту. Тишина за дверью пугала его. Приложив ухо к холодной искусственной коже, он затаился. Ему показалось, что за дверью кто-то ходит, он даже различил что-то похожее на человеческие голоса. Еще раз нажал кнопку и еле услышал где-то вдали серебристую нитку звонка. Он три раза отдельно ударил в дверь тяжелым кулаком. Подождал и еще ударил несколько раз.

– Вы чего здесь дверь ломаете? – раздался над ним глухой, воющий голос. Повеяло водкой.

Он оглянулся. Позади него стоял громадный мужик в белой майке, обтянувшей колоссальную жирную крапчатую тушу. За его спиной была открыта другая дверь – это был сосед Кондакова. – Чего, говорю, здесь?.. Что разоряешься? – недобро спросил он. – Не видишь, человека нету дома?

– Мне срочно нужен поэт Кондаков.

– Утром приходи, получишь своего поэта. Весь подъезд поднимаете своим стуком. То старик стучит, то молодой...

Федор Иванович понял, что ему здесь делать нечего. Легонько сбежал по лестнице – на третий этаж, на второй... Оглянулся. Кудлатая башка смотрела на него сверху, светясь любопытством и смехом.

– Давай, давай! Чего тут... размышляешь...

Выйдя из арки, Федор Иванович остановился. Потрогал лоб: ему показалось, что у него начался жар.

– Ты чего остановился? – послышался где-то вверху над ним дымчатый бабий голос. Федор Иванович поднял голову. На балконе за спасательным кругом маячило голое пузо Кондакова, угадывался халат. – Иди, иди куда шел!

– К тебе я шел! – крикнул Федор Иванович и побежал в арку, влетел в подъезд.

Он несясь вверх, чтобы сломать черную дверь, ободрать на ней всю кожу. Но дверь была открыта. Завернутый в свой малиновый халат, добродушно улыбаясь, в прихожей стоял Кондаков. За его спиной с ухмылочкой двигался его нечесанный сосед в белой майке.

– Заходи, Федя. – Кеша пропустил его в первую комнату. Здесь горел яркий свет, на столе среди стаканов и бутылок была шахматная доска, уставленная фигурами.

Федор Иванович бросился к двери во вторую комнату, но Кондаков уже стоял у него на пути:

– Ты с ума сошел, Федя! Туда нельзя.

Федор Иванович хотел было отодвинуть поэта, но Кеша шире расставил ноги.

– Только через мой труп. Вернее, через твой труп.

И взглянул на своего соседа в майке. Тот прошел между ними к столу, нечаянно оттолкнув Федора Ивановича, и, сказав «извиняюсь», налил себе полстакана какого-то вина и выпил.

– Ревнуешь? – мягко спросил Кондаков. – Счастливый человек! А я уже давно забыл, что такое ревность. – Он махнул рукой. – Старею. Одни деловые отношения. Выпей, Федя.

Федор Иванович страшным быком уставился на него:

– Почему это ты... Кто тебе сказал, что я ревную?

– Смотри-ка! Он правда ревнует! – Кондаков захохотал. – Дурачок, у меня никого нет! Пусть я плюну тебе в глаза, если вру! Не веришь? Ну иди посмотри, кто там у меня. Убедись.

Он даже втолкнул его во вторую комнату. Федор Иванович увидел в желтом полумраке знакомую скомканную постель, бутылки и стаканы на полу.

– Разрешаю и под кровать, – сказал поэт, глядя на него с веселым интересом. – Валяй!

Федор Иванович покраснел. Потоптался, не находя себе места, и вышел в первую комнату.

– Чудак! Мы в шахматы весь вечер режемся! Вот с твоим тезкой, с Федей. Третью партию только что начали.

– Мой тезка... Его же здесь не было! – Федор Иванович, совсем сбитый с толку, рассеянно посмотрел на шахматы. Посмотрел внимательнее, и кровь с сильным напором прилила к корням его волос. Оба черных слона стояли на черных полях! Оба короля и белый ферзь были под двойным боем. Фигуры стояли неправильно – их расставили второпях кое-как, вовсе не для игры.

Федор Иванович почувствовал, что сейчас упадет. Посмотрел на Кондакова с тоской и молча вышел на лестницу, запрыгал по ступенькам вниз. Две нечесанные головы показались наверху над перилами, смотрели ему вслед. «Тезка» смотрел весело, Кондаков – с острым, воспаленным вниманием.

На следующий день он пришел в институт с опозданием – чтобы не встретиться с Еленой Владимировной. Неразбериха, которая поселилась в нем после вчерашних встреч с нею и с поэтом, заставила его сжаться и уйти в глубокую тень, чтобы там, выждав, постепенно прийти в себя. Сам он не был уже способен внести ясность в свои дела, все должно было прийти извне. Но так как ничто извне не приходило, он и на следующий день скрывался, и так прошла целая неделя. А потом он сообразил, что такое поведение может привлечь внимание, что оно может быть истолковано не лучшим для него образом. Поэтому он изменил линию и как ни в чем не бывало появился утром в комнате за фанерной перегородкой. Здесь за четырьмя тесно стоящими столами собрался почти весь состав проблемной лаборатории – по двое за каждым столом. Все листали журналы, приводили в порядок свои записи за лето. Федор Иванович зашел к ним как бы мимоходом и поставил на ближайший стол пухлый портфель. Елена Владимировна за дальним столом повернула к нему сияющее лицо и поздоровалась, задержав на нем взгляд, полный счастья. Потом отвернулась, видимо обиженная холодностью его взгляда, и больше Федор Иванович не видел ее лица, только темный лапоток на затылке, сплетенный из кос.

– Как там с планом на следующий год? – спросил Ходеряхин.

– Академик готовит нам особую программу, – сказал Федор Иванович. – К зиме получим. Пока – всем приводить в порядок материалы. Он сказал, что вся ваша работа пойдет в дело.

– И тех и других? – спросил Краснов.

– И тех и других, – ответил Федор Иванович, любуясь косо бегущими прозрачными волнами волос на его лысоватой голове.

Ходеряхин поднялся, чтобы выйти в коридор, и, достав по пути пачку сигарет, протянул начальнику:

– Федор Иванович, не закурите?

– Я не курю, – спокойно сказал Федор Иванович.

– Надолго?

– Навсегда.

Елена Владимировна вспыхнула и полуобернулась. И тут же пресекла это движение.

– Что это с вами случилось? – не отставал удивленный Ходеряхин.

– Почувствовал, что в жизни это – совсем ненужная, лишняя вещь, – ответил Федор Иванович. – Я сегодня решил выбросить все свои запасы. Потом сообразил: надо принести сюда; может, кому понравится. Я сам их набиваю. С донником.

И, запустив руки в портфель, он выложил на стол горку своих длинных папирос. Все курильщики подошли, взяли по папиросе. Шамкова, держа папиросу между двумя бледными пальцами, закурила и опустила голову, вникая во вкус табака.

– Я беру себе половину, – заявила Анна Богумиловна.

– Еще принесу, – сказал Федор Иванович. – У меня почти годовой запас.

– А что, бросить курить так трудно? – послышался голос Елены Владимировны.

– Детка, невозможно! – гаркнула Побияхо. – Кошмар! Адские муки. Как тебе попонятней объяснить... Это все равно что бросить любить.

– Бросить любить легче, – сказала Шамкова.

– Пра-а-авда? – пропела радостно Елена Владимировна, наклоня голову вправо и влево.

– Я видел бросающих, – сказал Ходеряхин. – И сам бросал. А таких, кто не начал снова, не видел.

– Да-а-а? – пропела Елена Владимировна.

В полдень они встретились в дальнем конце длинного сводчатого коридора.

– Миклухо-Маклай, вы правда бросили курить? – спросила она, потянув его за локоть.

– Правда.

– Навсегда?

– На всю жизнь.

– А почему вы бросили курить? А-а?

Она все время тормозила его: потянет за локоть и оттолкнет. И можно было наслаждаться прекрасными мгновениями. Но слишком свежо помнился вечер у поэта. «Господи! – думал Федор Иванович. – Пусть ходит куда угодно. Сдаюсь! Только улыбалась бы и тормозила меня вот так!»

– Почему вы бросили курить? – настаивала она, дергая его за локоть.

– Это моя тайна. Выходите за меня замуж, тогда скажу – почему. А до тех пор не скажу.

– Ишь какой! А я не выйду, пока не скажете. Не могу же я кота в мешке...

– Это вы кот в мешке. Что делали вечером после того, как мы... Можете не отвечать, я наблюдаю установленный режим.

Мгновенно они договорились встретиться вечером. Когда стемнело, они нашли друг друга в парке на Второй Продольной аллее. Елена Владимировна сама, сжавшись, словно озябнув, скользнула под его локоть, их руки нашли свои места, и они быстро зашагали в ногу – в самую темень, уже не спотыкаясь.

Они долго шли молча и иногда крепко охватывали друг друга, словно убеждаясь, что наконец они нашли то, что долго не могли найти.

Потом Елена Владимировна вдруг спросила:

– Почему скрывались целую неделю? Почему даже не позвонили?

– Видите ли... Я вас... Я к вам очень привязан. Вы мне кажетесь такой необыкновенной... Если бы вы знали, как сейчас, когда я вам это говорю, как сейчас меня тянет изнутри тоска...

– А почему же не позвонили?

– Вот, дайте досказать. Вы запомнили все, что я вам сказал сейчас?

– Ну говорите, говорите.

– Так вот. Я заметил, что у вас что-то... Вы мне уже давно ужасно врете. И не заботитесь, чтоб было безболезненно...

Она как будто смутилась чуть-чуть.

– И не звоните. Ведь и вы не звоните! И мне кажется, что вы хотите, чтобы я нашел в себе силы... чтобы я сам нашел путь и отошел... Самой оттолкнуть меня – это меня унизит. Вы умная, этого не хотите допустить – и подстраиваете так, чтобы я ушел сам. Ну, я понял вас и помог вам...

– Вы очень ревнивы...

– Да, Леночка, да! Прямо умираю. Схожу с ума, и начинается прямо какой-то бред.

– Я заметила. Тяжело вам?

– Ох, Леночка. Я петушился перед вами сейчас. А найдутся ли силы...

– Не знаю, что с вами делать. Видно, все-таки да... Придется мне выходить за вас замуж. Когда открою все, вы поймете и все мне простите. Даже нечего будет прощать.

– Леночка, даже если будет что прощать... Я до такой степени попался... Для меня нет никаких путей отхода назад.

– Значит, бросить курить легче?

– Бросить курить – это пустяки.

– Но вы мне еще ни разу не сказали... это слово.

– Разве? По-моему, я его много раз кричал вам.

– Да-а-а? В общем, да, мне казалось иногда, что вы говорите...

– Прямые слова – это же не для выражения... этой вот... вещи. У нее свои слова. Эта вещь, если настоящая, любит тайну, темноту и иносказание. Когда идут по улице в обнимку – там этого нет. Или когда он при всех берет ее за холку и ведет...

– Вот и я так считаю. Все боялась. Думаю: если он меня посмеет когда-нибудь... за холку... Это будет все. Видите, как у нас с вами...

Они умолкли и долго медленно шли – в полной темноте.

– Как же я теперь буду вас называть? – вдруг спросила Елена Владимировна. – Федяка? Можно я буду называть вас Федор Иванович? Федор Иванович... Прямо мистика какая-то. Эти звуки я полюбила в первый день, до того еще, как узнала вас. По-моему, про имя так говорить разрешается... Этим словом... – Она сжала и отпустила его руку. – И потом, сейчас такая темнота...

Он хотел ответить и не смог: вроде как слезы собрались выступить, и он почувствовал, что голос его выдаст. Хотел поцеловать ее, но сил хватило только приложиться щекой к ее виску.

– Как хорошо! Вы теперь боитесь после того... После табака. – Она тихонько засмеялась. – Ничего, это хорошо. Вы – серьезный. И я тоже. У нас все будет серьезно.

Его голову охватили во тьме маленькие шершавые пальцы земледельца, и на все его лицо посыпалось множество легких, живых и горячих прикосновений.

– Ну как? – спросила она, переводя дыхание. – Помирились со мной?

– Ничего не понимаю, – шепнул он.

Бывает в любви зенит. И ночь зенита. И большей частью мы в лицо эту ночь не узнаём, она захватывает нас врасплох, и мы бываем не готовы к тому, чтобы принять ее всю в себя,

рассмотреть и запомнить навсегда все ее мгновения. Сохранить в себе все, что можно. И потом она живет – уже в грустных воспоминаниях об упущенном, не увиденном, не оцененном...

В полночь, проводив Елену Владимировну до ее двери, Федор Иванович шел домой неверным шагом, как после легкой выпивки. Он еще не открыл для себя этого явления – зенит любви. Он об этой ночи еще вспомнит и будет отчаянно бить себя кулаком по голове. Но уже сейчас тихо надвигалась пора грустных воспоминаний. Пора, которая будет длиться всю жизнь.

«Почему я не кричал ей о том, что люблю? – уже отчаянно корил он себя. – Почему выдумал какую-то теорию о запретных словах? Теоретик! Почему послушно пошел провожать, почему не удержал до утра в парке? Почему водил все по темным местам – так и не увидел ее глаз, когда она произносила: „Можно я буду называть вас Федор Иванович?“ Даже не верится – она ведь сказала: „Эти звуки я полюбила...“»

В эту ночь у Федора Ивановича было еще две встречи. Первая – по телефону. Он пришел домой и, не гася света, растянулся на койке. Протянул руку к папиросам и отдернул. Минут через двадцать его оглушил телефон странным, пронзительным ночным звонком.

– Это ты? – Кондаков нервно хрипел и дышал почти рядом. – Уже пришел, темнила? Так скоро?

– А что?

– Я видел тебя с твоей дамой. Ты знай: если затаскиваешь даму в темный уголок, там обязательно стою я.

– Ошибаешься. Это была сослуживица. Поздно засиделись на работе, и я проводил ее.

– Не разочаровывай меня. А в темном уголке с кем был?

– Мы шли без остановок. Прямо к ее дому.

– Разве в ее доме нет уголков?

«Слава богу, что не затащил, – подумал Федор Иванович. – Он все спрашивает неспроста. Ловит».

– Я же говорю – сослуживица. Я ее доставил прямо к лифту. А ты что – завидуешь? У тебя голос...

– Неужели? Поменялись, ха-ха, местами? Так это ты к ней меня приревновал?

– Да нет же, Кеша! Это совсем другое дело.

– У тебя с ней как? Было?

– С кем? Я не отвечаю на такие вопросы.

– Встреча с вами вдохновила меня на стихи.

– Давай.

– Постой. Рано еще. Лучше скажи: это ты к ней тогда меня...

– Да нет же! К другой.

– А к кому? По-моему, ты был с ножом.

– Я вообще не ревнив. Одни деловые отношения. Старею...

– Ха-ха-ха! Он мне – мое вернул! А мог бы вполне приревновать. Я люблю таких маленьких. Конечно, и богатое, тяжеловесное сложение имеет свои... Но я люблю, когда маленький Модильяни.

– По-моему, у Модильяни все девицы рослые. И потом, все его девицы не умеют любить.

– Ни черта не понимаешь в женщинах. Или притворяешься. Модильяни сидит в каждой красивой женщине.

– Этот вопрос у меня не исследован так глубоко.

– Ты можешь себе представить маленького Модильяни? Ты на нее как-нибудь специально посмотри, когда она...

– Напрасно меня ловишь, Кеша. Я на нее никогда с этой точки... с этих позиций не пытался взглянуть. У нас исключительно деловые интересы. По-моему, когда работаешь вместе, настолько примелькаешься...

– Ты синий чулок. Или страшный притвора. Скажи мне, кто такой Торквемада? Тебя называют Торквемадой – ты знаешь?

– Кто тебе это сказал?

– А что, точно? Видишь, какая у меня информация.

– Н-да... Лучше ответь, почему это шахматы стояли не как у людей? Два черных слона – оба на черном поле...

– Ха-ха-ха! – залился Кондаков глухим хохотом. В его голосе все время звучал скрытый ревнивый интерес. – Говоришь, два слона? Этого тебе не понять, ты пить не умеешь. Когда мы с твоим тезкой хорошо выпьем, для нас все фигуры, которые тебе показались неправильно поставленными...

– Мне они не показались...

– Не знаю, не знаю. А что – на тебя произвело впечатление? Ревнивцу и пьяному – им всегда кажется. Все фигуры для нас, когда выпьем и садимся играть, стоят правильно. Сами же ставим. И партнер не сводит глаз. Мы обдумываем ходы и за голову хватаемся, когда партнер удачно пойдет. Представь, он мне вчера поставил какой мат! Я уже почувствовал за пять ходов. Он говорит: мат, и я вижу – безвыходное положение. И сдаюсь. И руку ему пожал. А как они в действительности стояли – черт их знает. Ни тебе, ни мне не узнать.

– Ну, ты все-таки поэт.

– Но если б ты видел свое лицо, Федя! Ты ее сильно любишь. Я ее знаю, хорошая девочка. Как ты ушел, я сразу сочинил стихи...

– Ну давай же!

– Вот слушай...

И новым, плачущим голосом Кондаков начал читать:

В руках – коса послушной плетью,
В глазах – предчувствие беды, —
Как будто бы на белой флейте
С тоскою трогаешь лады...
Я сердцем слышу этот вещий
Твоей безгласной флейты плач.
Но завтра снова будет вечер,
И ты войдешь, снимая плащ...
Нет, ты скажи, какую цену
Ты отдала за наш кутеж?
Какую страшную измену
На эту музыку кладешь?

Трубка замолчала. Они оба долго не говорили ни слова. Потом поэт угрюмо спросил:

– Ну как?

– Хорошо, – сказал Федор Иванович. Вернее, с трудом выдавил. – Почему флейта белая?

– Была сначала черная. Потом тихая. Тебя это задело?

– Я просто так. Просто подумал: в стихах не должно быть точных адресов.

– Ага, кажется, честно заговорил. Прорвало наконец. Значит, белая флейта – адрес точный? Давай дальше. Какой адрес будет менее точным? Черная флейта?

– Автору виднее.

– Опять ушел. Темнила...

Вот такая беседа по телефону произошла у него в эту ночь, и он не мог заснуть до утра. Хотя он и решил быть Миклухо-Маклаем и несколько раз уже заставлял себя, отбросив оружие, лечь на берегу опасного острова, сон все-таки не шел к нему. Поэт все в его голове перемешал, внес неразбериху.

Незаметно наступил рассвет, и за открытым окном в прохладе и пустоте вдруг зачирикали три или четыре воробья. Федор Иванович, крикнув с сердцем, вскочил с постели и вышел на крыльцо. Его словно окатило родниковой водой – так резка была утренняя свежесть. Чувствовался конец сентября.

Сжав кулак, он нанес несколько ударов в воздух – вверх, вперед и в стороны – и, сбегав с крыльца, бодро зашагал к парку. Эхо его шагов отскочило от каменных стен. Хотя чирикание воробьев стало дружнее, пустыня не просыпалась. Ни вокруг институтских корпусов, ни в аллеях парка не было видно ни одной человеческой фигуры.

«Модильяни... – думал Федор Иванович, стараясь понять причину ночного звонка Кондакова. – Он неспроста позвонил. Но при чем тут Модильяни? Модильяни передает в женщине то, что понятно в ней многим. Он лишает ее индивидуальности. Вынул из нее самый главный алмаз...»

И по свойственной многим мыслящим людям манере он тут же вцепился в мысль, которая еще только начала сгущаться, показала ему свой не совсем определившийся край. «Синий чулок... Как зло было сказано. Может, он это потому, что сам не может мыслить и беседовать в этом плане? А там требуют именно такого, более глубокого подхода... Потому как подход такой показывает и самого человека, который говорит... Тараканы-то надоели. Сегодня тараканы, завтра тараканы... И получилась заминка. Но я – какой же я синий чулок? Ведь я ужасно... Я не могу без нее!» – отдал он вдруг себе отчет. И с этого мгновения еще сильнее стал в нем этот бес. Тут же Федор Иванович как бы спохватился: «Ведь меня так ужасно еще ни к кому не тянуло! Вон ходят „маленькие и большие Модильяни“, и я, тупой, никак не реагирую. Значит, тут есть еще что-то». Он не мог представить себе, как это можно «иметь дело» с женщиной, которую не любишь смертельно. Как это могут с применением угроз, посулов, хитрости, насильно, за плату... Как это можно – «держат про запас». Станные существа! Как понять их чувства? Опять это существо из джунглей Амазонки, с зеленой шерстью, висящее вниз головой! Так же как не постигнешь никогда, что думает собака, как не вникнешь в ход мыслей идиота, – так непонятны были ему и эти люди. А Кондаков врет, что забыл, что такое ревность. Это все у него ораторское искусство. Великий маг лукавства. Его тоже никогда не понять! И то, что он о Модильяни говорит, – тоже неправда. Тоже врет. Маска. Вот в стихах он выдал, выдал себя. Странно, как люди непонятны друг другу. Какая скрытность! А еще о какой-то общности говорим. Она, всеобщая общность, могла бы быть, если б не было непрерывного предательства – маленького и большого. Если бы не было всюду «страстей роковых», заставляющих нас, краснея, делать то, чему нет прощения.

Так его понесло – от любви и желаний к неведомым материям, и он еще быстрее зашагал по бесконечной аллее.

Но Елена Владимировна вернулась и опять мягко взяла его за руку. «Нет, хорошо, что я с нею был в рамках, – подумал он. – Да и не мог бы! Она сама определяет мое с нею поведение. Но кто она такая? Может ли кто-нибудь еще читать ее иероглифы? Нравится ли другим прочитанное? А что она читает во мне?»

Вдали, в конце аллеи, пронизывая парк, горели, как струи розового сиропа, первые солнечные полосы. И в одной из полос что-то красное вспыхнуло и погасло – ее пересекла какая-то фигура. Кто-то спешил навстречу, шагая на длинных ногах, быстро увеличиваясь. Это был тонкий, гибкий, спешащий куда-то Стригалева в своем малиновом свитере. Слегка выкатив глаза, он смотрел вперед и вверх, вцепившись в мысль, которая бежала над ним по невидимому проводу.

Федор Иванович, еще не остывший от своих переживаний, отступил в сторону, и малиновый свитер пронесся мимо.

– Иван Ильич!

Троллейбус замедлил ход и остановился, приходя в себя. Узнав Федора Ивановича, Стригалева чуть заметно двинул щекой – он, похоже, совсем разучился широко, ярко улыбаться. Сделал пальцем жест: «Я давно хотел вам нечто сказать».

– Тоже, значит, Федор Иванович, ходите по ночам? Вроде меня...

– Да вот... Ночь какая-то. Так и не заснул. – Федор Иванович пошел с ним рядом.

– И у меня. Сувальды-то сдвинул с места... А тут попробовал еще предложить руку и сердце. Правда, то, что говорилось, понимал один я. Она, конечно, ничего не поняла из моей болтовни...

«И она все, все поняла», – подумал Федор Иванович.

– Но я-то увидел все. Можно ставить крест. Если бы что было, она бы сразу поняла. Ждала бы этого скрипа. Надо, надо ставить крест. – Троллейбус слишком долго смотрел на свой провод. – Тут он неумело улыбнулся и посмотрел в глаза Федору Ивановичу с доверчивой дружбой. – Ей – двадцать семь, а мне – сорок два. Пятнадцать лет разницы, Федор Иванович. Не тяните с этим делом.

– Сначала нужно определить, с кем я. А потом и жену искать. Среди своих.

– Вот-вот. Будете еще определять. Уж будто до сих пор не решили! Я вас давно зачислил в наш табор. К нам приходят только хорошие ребята. А уходят... Вот Шамкова перебежала. Как и следовало по объективному ходу... Глуповата. Все стало теперь на свое место. Шамкова – туда, Дежкин – сюда.

– Вот что только буду делать в вашем таборе...

– О-о! Бывшие ваши нам дело подыщут. Про «Майский цветок» вы теперь знаете. Когда-то верили, теперь знаете. Это я вашими словами. Теперь я хочу вас... именно вас ввести в курс одного дела. Именно вас. Я как раз собирался. Вы, я думаю, знаете про «Солянум контумакс»? Ну да, вы ведь во время ревизии...

Федор Иванович кое-что знал об этом знаменитом диком картофеле, найденном в Южной Америке.

– Я знаю этого дикаря, – сказал он. – Устойчив против всех рас фитофторы, против вирусов, ризоктонии, против эпипляхны... Против нематоды...

– Еще против чего? Не знаете? А колорадский жук?

– Ну, это еще не доказано...

– Уже доказано. Личинки на нем не развиваются,дохнут, но это все ладно, это в книжках есть. Прочитаете. Вы знаете, что он не скрещивается с культурным картофелем? Ну да, наш Касьян уже пробовал его воспитать. Сажал его в среду. Налетел и отскочил. Не с такой челкой к такому делу. На этого дикаря весь научный мир смотрит. Уже без надежды. Никому не удалось. А вот одному такому Троллейбусу... Помните в оранжерее? В горшке рос... Вам первому докладываю. Будете со мной...

– Я-то что. Разве что лаборантом...

– Дело почти сделано. Удвоены хромосомы! Что никому еще не удавалось. Уже второй раз ягоды снимаю. Как тут не завести два журнала – такая работа и в такой компании. Сейчас же сожрут. Затопчут, и ничего не останется – ни человека, ни работы. Только вам говорю. Вы думаете про скрип, про сувальды – верх доверия? Не-ет, Федор Иванович. Это не доверие, а так... излияние. Я вас наблюдал и теперь начну вводить в курс дела, у которого я в плену. Вот это будет верх доверия. Мало ли что случится. Кто побывал *там*, да еще не раз, тот становится умнее. Не все, правда. И выносит оттуда руководящее правило. Такую максиму. Если хочешь заниматься наукой, если у тебя в руках открытие... Если оно бесценное. Если ему что-то грозит... забудь о смерти. Поднимись над этим биологическим явлением. Страх смерти –

пособник и опора всяческого зла. Отними у зла единственную его силу – возможность лишать свободы и жизни... Помните, как Гамлет, когда его ранили отравленной шпагой...

– Это вам кто сказал?

– Не важно – кто. Некто.

– Ну, значит, доверие неполное. Мне тоже сказали, потому и спросил.

– Мы оба знаем этого человека – вот и славно. А имя называть вслух не будем. Согласны?

– Хорошо.

– Так вот... Тут есть еще некоторый особый поворот. Гамлет, узнав о своей смертельной ране, перестал быть подданным короля. Он приготовился умереть, но перед этим в отпущенные ему две минуты жизни натворил много дел – разгрузил всю совесть. А у меня такой поворот: мне двух минут мало, ничего не сделаю, поэтому я и должен не умирать, а жить, что бы ни произошло. И двигать дело. И если я помру, тому, кто меня отравленной шпагой... убийце... это ему будет только казаться. Я и после этого буду жить, и меня уже никто не поймает, и я доведу дело до конца, что бы ни писали в своем журнале Касьян и Саул. Потому что меня уже будет не узнать. У меня будет ямка на подбородке, и звать меня будут Федор Иванович Дежкин.

Сказав это, Стригалева остановился и, глубоко втянув губы, уставился на своего избранника:

– Вы думаете, это у меня такая манера шутить?

– Нет, я все понял и уже пошел дальше. Есть тормоз: у меня же несколько своеобразная подготовка. Мне придется садиться за парту.

– У вас главная подготовка прекрасная. В нашем городе все мыслящие люди знают друг друга и общаются. Так что наблюдать нового человека легко. Мне известно из нескольких источников, что Федор Иванович ломает голову над приметами добра и зла. Чтоб меньше ошибаться в жизни. И будто уже напал на свежий след. И будто это очень серьезно. Его за это даже назвали Учителем. А кто ломает голову над такими вещами, тому я могу довериться. А что касается парты, Федор Иванович, то опять же: мне известно, что вы хороший ботаник. Это общее мнение. В земле тоже поковырялись достаточно. Книги читать умеете. Термины знаете. И я под боком буду. Хотя бы первое время. Пока шпагой не царапнули...

– Ну уж...

– Я разговариваю с вами серьезно. Так что выбор сделан на основании достаточных и достоверных...

Они оба засмеялись, глядя друг другу в глаза.

– Ну как? Я же знал, что вы согласитесь! – В голосе Стригалева уже звенела мальчишеская радость. – А дело-то какое! Дело-то как раз по плечу нашедшему ключ!

– Иван Ильич, я жду конкретной программы.

– Ну, во-первых, придется размножить новый сорт. Который на смену «Майскому цветку». И доводить еще сначала придется. Это так, мелочи, почти все уже сделано. А во-вторых, нас ожидает этот дикарь, о котором мы говорили. Это и есть самое первое. Тайна. Ради него и вся конспирация. Я даже не хочу вас знакомить с моими ребятами, которые, как и я... Беречь и беречь надо, у Касьяна везде глаза. Чтоб не повторилась судьба «Майского цветка». Если Касьян возьмет наши новые работы на вооружение – гибель всему и всем.

– Не возьмет. Не увидит.

– Мы говорили сейчас о сортах, которые увенчают некую нашу капитальную работу. Слушайте теперь о ней, об этой работе. Я еще год назад, Федор Иванович, затеял нечто и даже начал группировать факты... Давайте сядем вот здесь на лавку, вам придется писать. Вот вам мой блокнот... Вы меня слушаете? Вы думаете о чем-то другом. Между нами должна быть прямота.

– Я скажу. Я еще не пришел в себя от вашего сообщения. Как вы руку и сердце...

– Приходите скорей. Я давно научился встречать неожиданности. И вам надо этому научиться. Так вот, берите этот блокнот в руки...

«Э-эх! – горько подумал Федор Иванович. – Вот ты и забыл о своем скрипе и о сувальдах... Ученый!» И ему захотелось взять Стригалева за руку, помочь чем-нибудь. Стригалева опять прервал научную беседу, пристально и глубоко посмотрел:

– Вы готовы? Значит, так. Нам нужно его, Касьяна, одолеть. Убрать это бревно с дороги. В интересах общества, в интересах будущего. Поэтому пишите. Это вы вставите в свой план. Пишите так: «В материалах, оставшихся после разгрома формальных генетиков, есть много таких, которые дают возможность в относительно сжатые сроки поставить сравнительные исследования. Это будет чистое сравнение – половина работы уже проделана руками наших противников, предпринявших подобную диверсию против нашей науки, счастливо пресеченную в ходе недавней ревизии. Я отчетливо вижу – пишите, пишите! – что сравнение будет не в пользу вейсманизма-морганизма. Эта работа будет содействовать окончательному торжеству передовой мичуринской науки, идей Т. Д. Лысенко и К. Д. Рядно». Написали?

– Написал. Я сам об этом деле уже думал. Еще тогда, во время ревизии...

– Я увидел это сразу по вашим глазам! И сказал себе: вот подарить бы Библии еще один сюжет. Вроде Юдифи с Олоферном. Как она соблазнила Олоферна и отрубила ему башку...

– А кто же был бы Юдифью? – с внезапным подозрением спросил Федор Иванович, которого совсем сбили с толку его запутанные отношения с Еленой Владимировной.

– Да вы же, вы! Что это с вами? Вы возглавите всю работу! Подозрений это не вызовет. Мы с вами теперь заговорщики, у нас общая тайна. И я вам разрешаю со мной на людях не здороваться, выказывать по отношению ко мне всяческое пренебрежение. Говорите направо и налево по моему адресу: «Сволочь, схоласт, отшельник». Ночь, покров для злых намерений и дел, пусть будет теперь убежищем добру. Потому как что мы хотим сделать людям? Страдание? Учитель, отвечайте! Радость, радость мы хотим дать людям! Чудесные сорта! Убрать хотим бревно с дороги! Избавить от страха и ненужных забот. Это Касьян постоянно норовит, чтоб кто-нибудь страдал. А если мы и причиним страдание Касьяну, у которого вытащим из пасти чужой, захваченный кусок, то тут даже математика будет на нашей стороне. Что говорил один учитель нашей Антонине Прокофьевне?

– Уже знаете!

– Такие вещи имеют крылья, Федор Иванович. Так что будем вместе переносить член уравнения с левой стороны на правую. Ну, как я? Усвоил на четверку?

– Все правильно. Пять баллов.

– Тогда расходимся. Блокнот отдайте мне. Страничку выдерите, она ваша. Сейчас Вонлярлярские выбегут. Я найду вас, когда будет надо.

И, бодро подкинув вверх плоскую руку, Стригалева прибавил скорость и стремительно зашагал вперед по пустой аллее. Радость играла в каждом его движении.

VIII

Октябрь и половина ноября прошли в том же вертящемся и непроглядном тумане. И за окнами стоял густой туман. Федор Иванович ждал дела, о котором ему сказал Стригалева, и одновременно ждал особой программы, обещанной академиком Рядно. Он несколько раз на совещаниях у ректора и со своими сотрудниками сказал об Иване Ильиче: «этот бедняга Троллейбус», «странный упрямец», «несчастный раб этой формулы „один к трем“, которая многих сбивает с толку», «надо ему помочь». Схоластом он его все-таки не назвал. Надо отметить, что избранная линия поведения отразилась на нем, начала его сушить и подтачивать. Он очень быстро худел.

Елена Владимировна, когда он, покачивая головой, ронял что-нибудь пренебрежительное о Стригалева, оборачивалась к нему и смотрела вдруг загоревшимися глазами. Направляла на него через большие очки потоки ликующего интереса. Как будто все понимала!

– Почему это вы вдруг стали так отзываться об Иване Ильиче? – спросила она однажды, когда сырым и холодным осенним вечером в ранней темноте он провожал ее домой.

– Не только вы имеете привилегию. У меня тоже есть тайны, – ответил он. – Когда-нибудь я вам открою все, и вы меня простите.

– Ваша тайна шита белыми нитками. Вы надели на белые одежды плащ! Надо меньше его ругать.

Она пискнула счастливым смехом и повисла на его руке – так ей все это понравилось.

Миклухо-Маклай по-прежнему лежал без оружия на опасном берегу, но островитяне держали себя с ним непонятно. Запретная черта на асфальте под аркой по-прежнему действовала. Из-за плохой погоды свидания в парке почти прекратились, и в то же время Елена Владимировна стала почти каждый день открыто, даже привычно говорить ему: «Сегодня вы ведете меня до моста – и ни шагу дальше»; «Сегодня гуляем до семи, и я сразу покидаю вас»; «Миклухо-Маклай! Лежать и не двигаться!»

Раза два она сказала: «Сегодня я свободна. Разрешаю сводить меня в кино».

«Елена Владимировна, когда?» – спрашивал он почти каждый день.

«Вот беда. Обронила нечаянно слово, а он и вцепился, – отвечала она, лаская его взглядом. – После Нового года! Уже скоро. После Нового года!»

К концу ноября выпал снег и растаял. Федор Иванович надел своего «мартина идена» – прямое короткое пальто темно-коричневого агрессивного цвета в чуть заметную красноватую клетку и со скрытыми пуговицами. В начале декабря все окончательно побелело, воздух стал мягче. После звонка на перерыв из подъездов теперь вываливались толпы студентов – все полюбили игру в снежки.

Однажды в самый приятный солнечный тихий день Федор Иванович бежал налегке по тропке в снегу, и его поразило знакомое гусиное гагаканье, доносившееся из-за розового корпуса. Да, сомнения не было. Федор Иванович остановился, приводя в порядок свой смятенный дух. А из-за угла выкатывалась процессия – Варичев, Побияхо, Краснов, новый лектор, аспиранты. Все улыбались, все были счастливы, и в центре этого счастья топтался высокий, слегка согнутый Кассиан Дамианович – в заломленной папаше из мраморной с медью мерлушки, в расстегнутом черном и длинном пальто. На плечах был разложен воротник – та же богатая медно-мраморная мерлушка. Оранжевые лисы, как живые, шевелились, лезли на отвернутые полы. Мелькали высокие белые валенки. Не замечая своего великолепия, Касьян «по-народному» скалил желтые зубы, отвечая на шутки свиты.

Пока Федора Ивановича не увидели, лицо его приняло несколько вариантов выражения. Сначала он вспомнил историю с «Майским цветком», вспомнил Стригалева, и где-то вдали шевельнулось воспоминание о геологе. Как будто они были братья с Троллейбусом. И так как Федор Иванович был человеком искренним и склонным к быстрой реакции, взгляд его отяжелел и стал страшным – можно было подумать, что он подготовил убийство. Но тут с силой вырвалась вперед мысль об общем деле, о том, что ночь должна быть убежищем не только злу, но и добру, и еще о том, что член уравнения, перенесенный на другую сторону, меняет знак. На лице его появилось напряжение – он искал и не мог найти маску. Вдруг, как приказ и как выстрел, прозвучало: «Солянум контумакс!» И лицо его сразу изобразило умеренную улыбку и радость встречи. И, протягивая обе руки вперед, он устремился к академику. А тот прямо затанцевал в своих белых высоких валенках и раскрыл объятия. Навстречу Федору Ивановичу засияли серо-желтые жестяные глаза, и чуткое лесное существо, которое теперь поселилось в нем, сразу разглядело в этих глазах хитрого зверя с птицей в зубах, жившего там всегда. И нахохлилось, припало к земле – чтоб тот не увидел и не сожрал.

Это ему удалось, и Федор Иванович, в душе едко усмехнувшись, поздравил себя с дебютом.

– Вот они, вот наши молодые кадры! – академик Рядно обнял его, на миг прижав к своим лисицам. Больно похлопал по спине и отпустил. – С такими кадрами можно побеждать!

И все счастливые лица повернулись к Федору Ивановичу. Академик внимательно разглядывал его.

– Ты чего, сынок, вроде как спал с лица? Похудел!

– Не замечал, Кассиан Дамианович!

– Идешь против закона, сынок. Получившим повышение положено прибавлять в весе, солидностью обзаводиться. А ты худеешь. В меня, в меня пошел.

– Бегают все. Все бегом, бегом, – пробасила Побияхо.

– Бегают? Бегай, бегай, это полезно. А худеть – нехорошо.

– Курить бросил, – сообщила Анна Богумиловна. – Не курит.

– Вот это правильно, – похвалил академик. – Сейчас такое время. Все силы надо – в одну точку.

И процессия двинулась дальше.

– Так я что говорил? – загагал академик, обернувшись направо и налево, возобновляя беседу. – Сначала войска, надев красные и голубые мундиры, выстраивались в колонны и палили друг в друга. Как дуэль. А потом появился цвет хаки. Маскировка. Куда ни посмотришь, везде поиски в области тактики. Сама природа указывает путь. Кто видел, как фаг впрыскивает себя в тифозную бактерию? Никто не видел? Что ж это вы, товарищи? Нехорошо... Ну и я, по секрету признаюсь, тоже не видел! Но книгам верю. Не всем, правда. Он впрыскивает себя в нее и разрушает ее изнутри. Имеющий уши да слышит. Вейсманисты-морганисты давно надели хаки и впрыскивают свой яд в сознание наших молодых... Я, конечно, неточно привел здесь... с бактерией. Занесло батьку...

Все вокруг весело загудели.

– Но мы в своей компании и пойдем как надо. Стоять надо крепко, товарищи. Враг опытен и про капитуляцию не думает... Фонарик такой бывает. На дне морском... Прогрессивный такой свет. Приветливо мерцает, понимаешь. А килька и бежит, и бежит. А под фонариком – пасть. Как гараж. Не подозреваешь, а уже в ней два часа плывешь... Уже хода назад нет, а ты все плавничками помахиваешь. Рыба-удильщик или как ее... Килька не понимает. Но мы должны бороться за кильку. Не отдавать. У них тактика какая? Я ж их знаю, весь в синяках. Они – начетчики, затаскивают в дебри теории. А я ж не знаю этих Кювье и всех этих *ламатрификаций*. Этим я и отличаюсь, и признаю открыто – да, я не знаю, где и что сказал Кювье. Раз о Кювье до сих пор говорят, значит был не дурак. Все-таки животное мог по косточке восстановить. Ну и пусть. Но я тоже время не терял, у меня опыт, наблюдения... Практика. А практика, она всегда оптику, как заяц лисицу...

Смеясь и перебрасываясь шутками, подошли к ректорскому корпусу. Здесь все опять остановились. Академик положил руку на плечо Федора Ивановича. Плотнo обтянул губами выпуклые зубы, но губы опять разошлись:

– Значится, так. Ступай, сынок, к себе и жди. Мы сейчас с Петром Леонидычем посидим у него, побалакаем малость... посеCRETничаем... И я приду к тебе. Есть серьезный разговор.

Федор Иванович ушел к себе. Часа через два голос академика послышался в коридоре. Федор Иванович вышел встречать. Академик опять был окружен свитой, медленно шел, даря направо и налево свои солоноватые шутки. Его валенки оставляли на каменном полу мокрые следы, и свита с почтением смотрела на эту воду. Увидев Федора Ивановича, он простился со всеми, и оба закрылись в кабинете.

– Дверь не запирай, – сказал Кассиан Дамианович. – Слушай... Тут у вас где-то есть горячий душ. Организуй, а? Полотенце, мыло найдется?

– Конечно! Сейчас зайдём ко мне, все возьмём и – к механизаторам. У них душ при механической мастерской.

Федор Иванович сходил на разведку – разошлась ли свита, и по пустому коридору они почти бегом выскользнули из корпуса. Торопливо дошагав до общежития, поскорей скрылись в комнате Федора Ивановича. Академик все смотрел на «мартину идена», неодобрительно щупал ткань.

– Какой же ты земледелец – ходишь, как московский стилига! Должен быть муравей, а ты стрекоза! Ты ж так чахотку тут схватишь! Скажут, на службе у академика Рядно чахотку заработал. – Он покачал головой. – Пришлю тебе кожушок. До колен полуперденчик. Легкий, аккуратненький. А тёплый – как печка! Чтоб носил мне, без дураков! А эту, гимназию свою... редингот свой чтоб в шкаф мне, до весны. Когда за девочками гон начнется – тогда разрешаю, надевай.

Раньше Федор Иванович в таких случаях слабел от подступающего чувства. Ему хотелось расцеловать это старое, смуглое от настоящего полевого загара, доброе лицо. Но сейчас, когда безошибочно действовал *ключ*, он сразу что-то вспомнил из прошлого, все выстроил в ряд и понял, что старик готовит почву для какого-то щекотливого поручения. Когда академику Рядно было нужно послать кого-нибудь на не слишком чистое дело, он становился очень добрым – легко, автоматически оперировал всеми жестами и повадками душевного, мягкого человека.

«„Сынок“! – подумал Федор Иванович. – Давно уже я тебе не сынок. Ловчая яма с кольями на дне – вот кто я теперь для тебя. Так что берегись...»

– Ты чего покраснел? – спросил академик. – Как девица краснеешь.

– От благодарности, Кассиан Дамианович...

– Ты мне не благодарность... Ты мне дело давай!

Захватив нужные вещи, они опять вышли на яркий свет.

– «От благодарности»... Ну ловкач! – качая головой, бормотал академик, шагая впереди Федора Ивановича. – Теперь никуда не денусь, придется присылать кожушок. Ладно, к Новому году получишь.

После беседы со Стригальевым, после сеанса со старинным микроскопом и «Майским цветком», а теперь еще этот обещанный полушубок вмешался, – после всего этого Федором Ивановичем овладела горячка: прежде чем начать действовать, ему было необходимо собственным пальцем тронуть живое, истинное, то, что составляло скрытую основу академика Рядно. Все было как будто ясно, но вот – потребовалась еще одна проверка. И он приготовился. И совсем без его ведома сжалась в нем и уперлась в чуткий выступ стальная пружина.

Они уже шли через работающий механический цех, и Федор Иванович увидел в глубине за станками Бориса Николаевича Порая. Дядик Борик поднял руку, салютуя Учителю. И Федор Иванович бойко вскинул руку.

– Ты с кем поздоровался? – спросил Кассиан Дамианович, проследив их приветствия.

Пружина тут же сорвалась и ударила.

– С одним вейсманистом-морганистом. С Троллейбусом...

Старик как бы онемел.

– Этот длинный? С кокардой? Постой, какой же это Троллейбус? Троллейбуса я по одним чирьям сразу...

Он совсем забыл, что всего лишь четыре месяца назад, напутствуя молодого ревизора, он сказал о Троллейбусе: «Интересно, что это за фрухт. Посмотреть бы...» Ему тогда было нужнее не знать Троллейбуса. Чтоб сынок не уперся, не забастовал.

– Троллейбус – это ихний здешний генерал ордена. Ха! Троллейбуса не узнал! Что это с тобой, сынок?

– Кассиан Дамианович! Я неудачно пошутил. Это Борис Николаевич Порай. Механизатор.

«Стригалева прав», – сказал себе Федор Иванович, переводя дыхание.

– Непонятно как-то шутишь, – не мог успокоиться академик. – Шутишь не похоже на себя. Мерещится он тебе, твой крестник. Жалеешь небось, знаю тебя. Кончай о нем думать. Другие ждут дела.

Душевая от пола до потолка сверкала молочной керамикой. Закрыв дверь на задвижку и раздевшись, академик опять пришел в веселое настроение. Он был хорошо сложен для старика, сухощав, весь в мелких бугорках старческой одеревеневшей мускулатуры. Хорошо был виден выступающий рисунок скелета. При меловой белизне тела его маленькая и темная сухая голова на коричневой шее казалась взятой взаймы у другого человека. Прикрыв грешное место рукой, он проковылял к душе, стал вертеть краны, загагал, закричал, заплакал и исчез в облаках пара. Некоторое время слышались только крики и шлепки по голому телу. Потом академик позвал Федора Ивановича:

– Давай, сынок, сюда. Спину потрешь.

Федор Иванович под вторым душем принялся мылить колючую мочалку.

– Давай скорей! – Старик нагнулся и ждал. – Потри, потри. Скажешь, академику Рядно спину тер, пусть боятся. Хо-хо! Ух-х, ты! – он закричал еще громче. – Не жалею силы! О! Так, так! Вонлярлярский! Вот кого бы пригласить! Пронститутку, интеллихэнта. И-хи-хи! Потеше, ссатана! Обрадовался! В следующий раз позову его – вот будет комедия! Думаешь, не пойдет? Будет фыркать, а спину потрет! И сделает, чтоб узнали!

– Он у Стригалева микротом хотел чердануть. У Стригалева свой микротом, сам сделал...

– Свой? Что-то я не знаю за ним такого факта. Наверно, такой же допотопный, как и микроскоп...

Вот какие подробности он знал о Троллейбусе!

– Когда Троллейбуса попросили с кафедры, Вонлярлярский сразу хват микротом. В коридоре драку затеяли. Пришлось разнимать.

– Ну-ну... И что?

– Отдал хозяину. Чтоб знал, что мы хоть и крепко берем за глотку, но научные споры на такие мелочи не переносим.

– Пр-рявильно, молодец! – И Кассиан Дамианович с силой повторил: – Молодец, Федя!

Второй заход Федора Ивановича прошел незамеченным. Старик размяк под горячим душем, скалился, желто сверкали его золотые «кутни». И новое, мстительное любопытство, с которым Федор Иванович не мог совладать, толкнуло его на третий заход.

Он чувствовал страх: начиналось что-то вроде смертного поединка с академиком Рядно. Он уже знал, что поединок будет продолжаться не один год и закончится катастрофой для одного из них. Посмотрев на Кассиана Дамиановича своим тициановским взглядом, полным холодной благосклонности, задержав на нем этот отвергающий взгляд, Федор Иванович с трудом оторвался, зажмурился и стал мылить голову. Сквозь обильную пену он прокричал:

– Кассиан Дамианович! Не помните, на какой основе создан ваш «Майский»?

– А что она тебе? Картошка – вот тебе и основа. И наша бессмертная наука.

– В нем вроде «Веррукозум» участвовал...

– Кто говорит? – Старик быстро перешел к нему, под его душ.

– Я сам видел препарат. Я тут же приготовил опровержение. Мол, чистая фальшивка...

– Правильно, фальшивка. Ну и что?

– А то, что не фальшивка. Опровергать-то я приготовился. На случай опасной вылазки. А препарат был настоящий.

– Стригалева тебе показал?

– Кассиан Дамианович, при чем тут Стригалева? Какое дело Стригалева до «Майского цветка»? – Федор Иванович прямо, как судья, посмотрел в его выпуклые степные глаза. – Стригалева к этому времени уже прогнали. Препарат я нашел, когда чистил свой стол от вейсманистско-морганистского хлама. Он датирован позапрошлым годом, и была надпись: «Майский цветок». Видно, кто-то у них интересовался...

– Так у «Веррукозума» у этого хромосомы, как у картошки! Что ты там мог увидеть?

– Увидел, Кассиан Дамианович. У них, у тех, кто делал препарат, реактивы секретные есть. Капнул – и сразу видно. Картошка остается, как и была, а у «Веррукозума» хромосомы сразу сжимаются в шарики...

– А ты? Надо ж было уничтожить! Ужели не дотумкал?

– Я-то уничтожил. Уничтожил его в тот же день.

– А как же ты эти хромосомы смотрел? – Академик сам перешел на строгий вопрос.

– Я смотрел у Вонлярлярского целую серию препаратов и между ними сунул этот. И шарики тут же увидел.

– Да-а?

– Конечно, могла быть и фальшивка. Могли какой-нибудь свой полиплоид, какого-нибудь уродца сделать, а написали «Майский цветок».

– Точно, Федя. Диверсия.

– Только я считаю, что этот препарат у них был для собственных нужд. Для себя им фальшивка не нужна.

– Ты думаешь?

– Надо бы нам самим взять «Майский цветок» и сделать срез. Я попробую выманить у них реактив.

– Зачем тебе?

– Мне кажется, впереди нас ждет драка. Они могут товарищу Сталину игрушку подсунуть. Мушек в пробирке. Бескрылых и красноглазых.

– Не подсунут. Везде стоят наши ребята... Ладно, пусть подсунут. Ну и что?

– Товарищ Сталин поиграет в этих мушек – игра-то занятная. И получится один к трем. И он назначит дискуссию.

– Уже ж была сессия...

– Вы готовы к такой дискуссии? Надо объяснить все самим для себя, почему так получается. Заранее. Почему так получается – один к трем?

– Не знаю, Федя. И очень переживаю. Скажи, сынок, это не выдумка?

– Я тоже так думал. И проделал сам эксперимент.

– И получилось?

– Получилось, Кассиан Дамианович.

– Зачем он тебе понадобился, эксперимент этот? Ой, Федька, не нравишься мне ты сегодня. Стреляешь по батьке из обоих стволов. Зачем эти шарики мне под нос суешь? Почему сразу не сказал, что «Веррукозум»? Знаешь, а спрашиваешь, какая основа у моего... Экзаминуешь...

– Я спросил, Кассиан Дамианович, потому что сам подумал: не фальшивка ли? На всякий случай спросил. Думаю, автор точно знает.

– Складно врешь. Ушел, ушел в кусты. А ведь держал я тебя за фост! – Он так и сказал: «фост». – Я тебя крепко было схватил.

«Насторожился», – подумал Федор Иванович, кашлянув с досады, и принялся вторично намыливать голову, скрылся в пенной шапке.

– Сынок, что с тобой случилось? – помолчав, тихо спросил старик. – Чем они тебя ополчили? По-моему, ты захромал на вейсманистско-морганистскую ногу. Вижу, ты сам не чувству-

ешь, что ты сейчас мне брякнул. Сам план разговора, сам анализ говорит, что ты немножко того... Присматриваешься к ним. Смотри, епитимью наложу. Тысячу прививок сделаешь мне.

«Острит – значит, пронесло», – подумал Федор Иванович.

– Самый большой грех под конец, – сказал он, смеясь. – Тут, когда Стригалева уходил, у него в столе Краснов нашел семена. Шесть пакетиков. Я решил не отдавать. Это не микротом...

– Пр-рявильно! – сверкнул глазами Кассиан Дамианович, совсем не замечая внимательного взгляда «сынка».

– Пусть, думаю, мой академик меня поколотит, епитимью наложит, а семена из рук не выпущу. Сначала высею весной, посмотрю, с чем имеем дело, а потом...

– Эти семена у кого? У Краснова? Я их сегодня все заберу. Чтоб не смущали...

– Вот только Краснов...

– Краснов заткнется и будет молчать.

Через час, распаренные и потные, они сидели в комнате для приезжающих и пили чай. Выпив чашку и подставив ее под чайник – чтобы Федор Иванович налил вторую, – академик наконец заговорил о деле:

– Мне тут Цвях подсказал: пусть Дежкин принимает все картофельное хозяйство Троллейбуса. А я думаю – еще и расширим. Будет проблемная лаборатория и опорный пункт нашего московского института. Поставим теоретические работы и дадим Родине сорта. Цвях о тебе очень высокого мнения. Задача – изучить весь материал, имеющийся у вас в наличии на сегодняшний день. К весне определим и конкретные объекты. Это что касается сортов. Как ты думаешь? Привлечешь фитопатологов, Вонлярярского, биохимиков.

– Я так вас и понял, когда по телефону... Я листал их журналы. Там, среди оставленного ими наследства, есть перспективные образцы.

– Вот такой ты мне и нужен. Я в Москве подумал, а Федька здесь уже дело делает. Это тот стиль, который мне по душе.

– А что касается теоретической работы, – деловито, негромко продолжал Федор Иванович, – то и для этого здесь есть много данных, наводящих на серьезные мысли. Когда я их ревизовал, я наткнулся... мне показалось, что они тайком готовили материал для сопоставления методов. Конечно, с выводами в их пользу. Поймать за руку не удалось... А может, ничего такого они и не собирались. Во всяком случае, они уже проделали треть того, что нужно было бы сделать нам, Кассиан Дамианович... Если бы мы – по своему плану – предприняли такое сопоставление. Главное – нам никаких упреков, сам противник все сделал и записал в журналы!

– Федька! Вот это как раз нам и надо. Составляй скорей план и пришлешь мне.

– План уже есть, – сказал Федор Иванович. – набросок. Это будет большая работа. Года на четыре...

– А если на два? Будем медлить – нас капиталистический мир обгонит.

Федор Иванович внимательно на него посмотрел:

– Надо же увенчать сортом... Хотя бы уверенно заявить, что дадим...

– Ну и увенчаем! Почему не увенчать? Заявим через год, а увенчаем через два!

– Хотите перешеголять академика Лысенко? Хотите подарить Родине вторую ветвистую пшеницу? – не удержался, ядовитейшим тоном сказал Федор Иванович. *Но нет, он этого, оказывается, не сказал.* В первый раз с ним случилось такое. Притом само собой. Вся энергия ядовитого протеста вдруг сжалась, и он промолчал. Только в глубине глаз мгновенно пробежала остренькая серебристая змейка.

– Пиши – на два года, – твердо распорядился ничего не заметивший академик Рядно. – Это будет замечательная работа. Пора тебе выходить на большую дорогу...

Федор Иванович тонко улыбнулся, и улыбка его сказала: «Как это понять?»

– Не переиначивай бабкины мысли! На большую – в смысле капитальных работ. Хватит смеяться над бабкой, пора становиться зрелым, серьезным ученым. Я буду руководить. Для публикаций дадим зеленый свет. Давай, сынок. План ты мне завтра вручишь?

– Вручу сейчас. Вот он, в столе...

Поглядев на него с немим восторгом, Кассиан Дамианович надел квадратные черные очки, опустил в стакан с чаем большую таблетку и, прихлебывая свой напиток, постукивая «кутнями», принялся листать план. Федор Иванович устремил на него свой прохладный, как бы ласкающий взгляд. Глядя на старика и двигая бровью, он то и дело закипал: «Народный академик! Ничего твой пустой орех не варит в селекции. Господи, он держал меня за фост! Читай, читай. Пусть, пусть будет два года. Нам кое с кем и двух хватит, успеем и с теоретической работой, и увенчаем!»

– Ты что на меня смотришь? – спросил вдруг старик, не поднимая головы от страницы.

– Изучаю, Кассиан Дамианович.

– Изучай, сынок, изучай. Полезно.

Потом перевернул страницу и, продолжая читать, он вдруг проныл:

– А для чего ты меня изучаешь? А?

– Думаю, даст он мне докторскую степень или нет?

– Ты еще сомневаешься, дурачок?

Отложив план, он растянулся на койке Федора Ивановича:

– Не возражаешь? Пусть бабкины кости немножко понежатся. Люблю после бани. Так он наконец проговори-и-ился! Доктора хочет!

– Кассиан Дамианович! Плох тот солдат...

– В генералы хочется? – Академик, закрыв глаза, одобрительно кивнул несколько раз. Хрустя суставами, потянулся. Задумался. Ему хотелось поговорить. – Так ты живой человек, я вижу! Это хорошо. По крайней мере, я тебя начал понимать. Слава богу, на место все стало. Конечно, я тебе скажу, мысль о своем месте в обществе посещает иногда и, можно сказать, нередко даже головы гениев. Карьеризм, Федя, свойство всей мыслящей материи. У одного карьеризм – в приобретении вещей. А у ученого... Ученый тоже стремится. У ученого, у государственного деятеля высший карьеризм. Рвение приобретателя – ничто. И некрасиво, и мелко. Ученый приобретает умы. Вон я сколько их приобрел. Среди них есть очень большие люди. Не будем по именам, ты знаешь... Кто меня хочет оспаривать... или подсиживать... того я сейчас же переведу в идеологическую плоскость и отдам в распоряжение умов, которые я приобрел. И они его чувствительно – как я скажу – посекут. Хочешь не хочешь, а это приходится учитывать. Это я тебе отвечаю на твою юношескую, сынок, дерзость. Библия говорит: учи сына жезлом... Аш-ш-ш, ты! Мушками он интересуется! Экзаменовывать старика надумал! Зачем тебе? Смирися, гордый человек! Прежде чем командовать, научись подчиняться. Охотись во второстепенных угодьях, которые я тебе отвел. Я тебя оттуда не шугну. Даже, как видишь, помогаю. Загоняю тебя в доктора, дурачка. А ты не упирайся, иди. Там хорошо. И попробуй стать как я. А потом сделаю и наследником. Будешь моих оленей гонять...

– Кассиан Дамианович! Мне кажется, вы все это говорите кому-то другому. Может быть, этому схоласту Троллейбусу. Но я! Что же мне – о шариках, о препарате молчать надо было?

– Это ты правильно сигнализировал. А вот почему ты Троллейбусом назвал... механизатора этого?.. Я теперь не смогу, буду все время думать. Знаешь, как тяжело... Побыл бы на моем месте. Один же за другим – так и отходят. Все туда, туда. К мушкам. А оттуда только дураки, мелочь... Ты первый с головой, кого мне удалось удержать около себя. За это и я не останусь в долгу. Хоть и колеблешься иногда. Флюктуируешь. Я вижу, все вижу... – Он уставился на Федора Ивановича глазами, полными муки. – Скажи лучше прямо: могу я еще опираться на тебя, сынок? Ведь борьба, борьба! Не подведешь старика? Я ж тебе так верю...

– Можете опираться больше, чем опирались всегда, – твердо отчеканил Федор Иванович и долго смотрел в глаза академика, выдерживая его исследующий душу взгляд.

Часть вторая

I

В начале января у Федора Ивановича был странный разговор по телефону с академиком Рядно. Кассиан Дамианович позвонил рано утром прямо из своей московской квартиры: ему внезапно пришла в голову хорошая *думка*:

– Слушай, Федя, ну что это у нас все война и война? Давай же вступим с ним в переговоры. Устроим на часок перемирие, а? Он работает над картошкой, так и мы ж над картошкой! А почему не вместе? Разве мы не для социализма? Ты подъедь к Троллейбусу, ты ж это умеешь – подъезжать...

– К схоласту? – спросил Федор Иванович, чуя в словах академика какую-то новую игру.

– Подожди-и, – нетерпеливо проныл Рядно. – Я тебе дело предлагаю. Слушай, поговори с ним, я знаю, он способен вести переговоры. Ему ж наверняка что-нибудь надо. Зарплаты ж у него нет...

– Так у нас ведь с вами программа...

– Ты не притворяйся, ты все уже понял. Программу делай, а тактику не забывай. Он должен клюнуть и клюнет. Пусть назовет свою цену, что ему надо. Нет человека, который не клюнет. Он будет ломаться, у него в руках сила, он владеет материалами, навезли ему из-за границы дружки. Попрятал... Пусть ломается, а ты меняй наживку, подбирай. Соглашайся на все, открой пар полностью. Ты чего молчишь? Дурачок, это ж не значит, что мы так все ему и дадим. Он сейчас сидит, во все стороны оглядывается, перепрыгивает свое сокровище. Надо вывести его из этого состояния.

– Кассиан Дамианович, мы с вами действительно, хоть и в разных местах находимся... Я об этих материалах все время думаю.

– Так ты ж не думай, а делай! А батько будет думать.

– Лапу мы и так наложили. Все материалы у нас...

– Ой, сынок, не все. Ну что ты говоришь... Тьфу, мне даже не хочется слушать. Ревизию разве не ты делал? – Он опять противно, болезненно заныл: – Ну что, ну что ты в самом деле? Забыл?

– Не забыл. Помню.

– Вот то-то.

Они помолчали.

– Надевай сейчас мой полуперденчик... Извини, теперь он твой... И отправляйся к нему. Привет передай. Скажи: «Мой старик раскололся, поднимает белый флаг и выслал меня парламентаром».

И Федор Иванович надел этот пахнувший бараном новый черный полуперденчик с толстым черным воротником и с красно-ржавым, как жареная капуста, дико-лохматым *хутром*, как академик называл мех подкладки, надел еще подаренную академиком черную курчавую ушанку и отправился к Стригалеву.

Иван Ильич был дома. Встретив его, сейчас же вернулся за свой стол и продолжил давно начатое дело – стал пересыпать картофельные семена из одного пакетика в другой и писать на пакетиках сложные формулы известного только ему шифра. Слушая новость, таращил время от времени глаза и наклонял лохматую голову.

– Я думаю, Федор Иванович, вы должны ему сказать, что я сказал вам, чтобы вы сказали ему... – тут он угрюмо усмехнулся, – чтобы вы сказали ему... Будто это я вас уполномочил так сказать, что меня нет дома, застать нельзя. Но что на самом-то деле эта сволочь Троллейбус

сидел в своей хате и упаковывал какие-то клубни и семена. Без сомнения, для того, чтобы отправить их в надежное место.

Федор Иванович согласился с таким ответом.

– Будем сами делать первые ходы, – сказал он. – Так вернее.

И когда на следующее утро академик опять позвонил, старику так и было доложено: «Он сказал мне, чтобы я сказал вам...» – и так далее.

– Никуда он не пошлет их, сейчас мороз, – неуверенно проговорил Кассиан Дамианович после длительного раздумья.

– У нас ноль градусов, – заметил Федор Иванович. – Троллейбус перекладывал клубни паклей, целая гора лежала на полу. Если не далеко посылать, могут и не замерзнуть.

– Пыль, пыль он пускает! – в отчаянии закричал академик. Потом надолго умолк. Федор Иванович даже подумал, что Москва отключилась. Но нет, она не отключилась – размышляла. – Ты так считаешь? – прорычал старик. – Л-ладно...

И повесил трубку. И ни слова на прощание. Ни одной шутки. Решил что-то важное для себя.

С тех пор – уже целых два месяца – он не давал о себе знать. И Федор Иванович забыл об этом разговоре. Чего ни в коем случае нельзя было допускать, потому что могущественные люди вот так произносят свое «л-ладно» не зря. И притом редко. И стараются при посторонних не допускать подобных неуправляемых движений, выдающих дурные намерения.

Уже шел март. Уже начались – одна за другой – яркие оттепели. Жизнь Федора Ивановича текла, как течет хроническая болезнь. В основном вся его работа была в учхозе: он вместе с Ходеряхиным и Красновым, с Еленой Владимировной и аспирантами раскладывал клубни по ящикам – для светового проращивания, набивал горшки землей, высевал в чашки Петри легкие, как чешуя, картофельные семена. При этом только у него одного в груди постоянно щекотало чувство риска, большой, опасной игры.

Он появлялся за спиной то одного, то другого из работающих, и его рука неожиданно протягивалась к ящику или к чашке Петри, похожей на дешевую стеклянную сахарницу с крышкой, и бесшумно вносила поправки. «Вот так будет лучше, вы не находите?» Шамковой среди них уже не было. Она перешла к Анне Богумиловне Побияхо, занималась вместе с нею злаками.

Появлялся Федор Иванович и около Елены Владимировны, она чувствовала его приближение и, чуть порозовев, наклонившись к своим горшкам, спрашивала иногда: «Придешь сегодня?» Они были уже на «ты», и Федор Иванович почти каждый день приходил к ней в гости. Бабушке было уже известно, что он жених.

Его удивляла одна вещь: Краснов всегда работал неподалеку от Елены Владимировны, в кружке бывших аспирантов Стригалева, и, похоже, был своим в их компании. «Чего это вы альпиниста от себя не отводите? – спросил он как-то у Елены Владимировны. – Он же Касьянов соглядатай, он семена украл у Ивана Ильича». Лена отвечала, что не украл, а нашел в ящике стола, и что все это известно, и ничего страшного нет.

Было последнее воскресенье марта. В этот день Федор Иванович должен был идти к Елене Владимировне, к трем часам. В восемь утра он уже встал, побрился и выгладил электроутюгом свой новый костюм – темно-серый с мужественным фиолетовым оттенком. Купил он его по требованию Стригалева – чтобы все видели процветание нового зава проблемной лабораторией. Он собирался выйти из дому часа на три раньше – надо было прогуляться по парку, справиться с волнением. Он до сих пор еще не понимал некоторых особенностей в жизни Елены Владимировны. Но уже примирился с ними, временно подчинился. У некоторых людей с такого временного подчинения начинается страшный процесс охлаждения, и это хорошо знают мудрые старики.

В двенадцатом часу он медлительно облачился в новый костюм и сразу стал похож на строгого худощавого боксера, получившего несколько прямых ударов в лицо и собравшего

всю свою волю для ответной атаки. Протянув руку к вешалке, где, выпитив наружу всю свою лохматую огненную душу, висел подарок академика – ставший уже любимым черный полуперденчик, Федор Иванович замер – он увидел за окном полковника Свешникова. Михаил Порфирьевич неторопливо, помахивая сложенной газеткой, шагал вдалеке, направляясь по кривой тропинке в сильно подтаявшем снегу сюда, похоже, к крыльцу Федора Ивановича. Он был в черном пальто с черным каракулевым воротником, в черном каракулевом треухе и сапогах. Полковник не подозревал, что находится под наблюдением. Сложив полные губы трубкой, наклонив голову и чуть выкатив светло-серые с желтишкой глаза, напряженно следил за какой-то своей мыслью.

Месяца два с лишним назад – как раз под старый Новый год – они, беседуя о свободе воли, прогуливались по Советской улице вдвоем – он и Федор Иванович – и зашли в большой магазин «Культтовары», размещенный в том же доме, где жил поэт Кондаков. Зачем зашли, Федор Иванович уже забыл. Но одно запомнилось: подойдя к какому-то прилавку, они оба сразу увидели под стеклом коробку грима для самодеятельной сцены и взглянули друг на друга. «Подарю-ка ему грим! – подумал Федор Иванович. – Будет в самый раз!» И, затаив улыбку, полез в карман за деньгами. Свешников опередил. Попросил у продавщицы эту коробку и, протянув ее своему спутнику, сказал:

– Мой вам новогодний подарок.

– Это что – с каким-нибудь значением? – спросил Федор Иванович, весело глядя ему в глаза.

– Сам не пойму – взял да и купил. Зато оригинально.

Теперь эта коробочка лежала на подоконнике. А за окном, помахивая газеткой, шел сам даритель. Он пересек все поле зрения и исчез. «Пронесло», – подумал Федор Иванович. Его беспокоили странные отношения, уже давно сложившиеся между ними. Отношения продолжали развиваться, и впереди уже смутно угадывался какой-то предел. Хотелось вырваться из этой упряжки, но не было сил – для этого надо было бросить какую-то резкость в эту приветливую, растерянную, почти детскую улыбку. А как бросишь? «Ведь я же не знаю его целей... Ну и что же, что он оттуда...»

Он вдруг услышал шаги по коридору. Полковник шел к нему. Раздался негромкий стук в дверь.

– А-а! – закричал Федор Иванович, открывая дверь. – Кто пришел! Кого принесло! Какими судьбами!

– Вот он где живет! – тем же слишком радостным голосом откликнулся Свешников, топчась у двери, с любопытством озираясь. – Жилище философа! Так вот где он проводит бессонные ночи в размышлениях!..

– Михаил Порфирьевич! Давайте ваше пальто! – Чувствуя всю трусливую фальшь своего голоса, Федор Иванович подошел, чтобы помочь гостю раздеться.

«Вот черт! – подумал он, протягивая руки к черному пальто. – Сейчас начнет потихоньку вытаскивать из меня...»

– Я сам. – Полковник вдруг посмотрел ему в лицо с мгновенной укоризной и стал снимать пальто. Перед этим он бросил свою сложенную газету на стол. Она медленно начала раскрываться, и оказалось, что туда вложена книжка: «Т. Морган. Структурные основы наследственности». И на ней был знакомый чернильный штамп: «не выдавать». Наискось, поперек слова «Морган».

«Что это – пароль? Или приманка?» – подумал Федор Иванович.

Возникла пауза. Свешников заметил взгляд Федора Ивановича, на миг остановился с пальто, висющим на одном плече, но мгновенно же и овладел собой. Спокойно повесил пальто на вешалку у двери. На нем теперь был военный китель с золотистыми погонами.

– Интересуетесь? – спросил Федор Иванович, кивнув на книжку.

– Да так вот, решил... Взял тут у одного... Вы, конечно, знакомы с этой штукой?

– И труд читал... – Федор Иванович хотел сказать еще: «И книжку эту знаю, и даже ее хозяина», но промолчал. Важные сведения нельзя выпускать из хранилища памяти без особой нужды. Он промолчал. А сам факт, растревожив душу, уселся там, похоже, навсегда.

Лицо у Михаила Порфирьевича, шея и руки – все было крапчатым и нежным. Светились рыжие волоски. Но из этой нежности были собраны на лице толстые складки, которые и при детской улыбке не утрачивали своей самостоятельной суровости.

– Ну что же, товарищ полковник, – сказал Федор Иванович, помедлив, – садитесь и рассказывайте. Вы пришли специально ко мне – значит, у вас...

– Вы думаете, у нас всегда должны быть дела? Ну да, я понимаю... Без приглашения...

– Скажу честно: когда так входит человек вашей профессии, всегда...

– Вы думаете, нам следует быть в полной профессиональной изоляции? Думаете, это приятно – вот так знать...

– Ничего не попишешь – служба.

– Но я же с вами, по крайней мере сейчас, не на работе...

– Сказал волк барашку...

– Вы не очень приветливы, Федор Иванович.

– А что остается Федору Ивановичу, когда ему говорят: «С вами, дорогой, я не на работе. По крайней мере, сейчас». Интонацию вы улавливаете?

Они оба затаили дыхание и стали смотреть по сторонам. Сидели друг против друга, барабанили пальцами по столу. «Вот и бросил резкость в лицо, – думал Федор Иванович. – Вот и вырвался из упряжки. Никуда, никуда не уйти!» Он уже искательно поглядывал на гостя – что бы такое сказать ему помягче... Свешников, видимо, тоже чувствовал себя виноватым. Он быстро справился с неловкостью:

– Это у вас на подоконнике, по-моему, мой подарок. Любуетесь?

– Грим ведь предназначен... очень определенно. До сих пор не знаю, что с ним делать.

– И не надо знать. Это – средство общения. – Полковник дружелюбно улыбнулся.

– Если бы я тогда опередил вас, это средство лежало бы на вашем окне.

– Разумеется... – Свешников опять замолчал, поглядывая по сторонам. – Что это за таинственные знаки вы тут поставили? Вот я вошел – и куда ни посмотрю, везде они. На стене, на подоконнике... Тут вот, на столе, сразу три. Крест какой-то... Это икс? У вас был неразрешимый вопрос? Или знак умножения? Что это такое?

– Не крест и не икс. Объемная фигура, вроде песочных часов. Видели песочные часы? Два конуса. Вот этот конус вверх расходится, в бесконечность. А второй – вниз. Тоже в бесконечность.

– Это вы рисовали, когда впервые пришло в голову? Обдумывали?

– Когда впервые услышал от другого человека. Рисовал, чтоб понять то, что услышал.

– Я забыл... У вас всегда автор мысли не вы, а кто-то другой. А вас больше интересуют разработки и интерпретация готовых идей.

– Лучше не скажешь!

– Хорошо... И что же они показывают, эти песочные часы?

– Ну, отчасти то, что бесконечностей в мире бесконечное число.

– Хороший символ. Наглядный. В общем-то, это мы и так знаем.

– Это особые бесконечности. Их вы еще не знаете. Один мой знакомый открыл.

– Умный человек. А мне можно что-нибудь про них узнать? Про эти песочные часы...

– Потом как-нибудь.

– Вы куда-то собираетесь?

– Да. Если бы вы пришли минут на пять позднее...

– Так пойдете! Я вас провожу, можно? Федор Иванович! Поверьте, у меня самый непосредственный, личный и дружественный интерес к вашим... концепциям. Безопасный для вас. Они всегда очень оригинальны и всегда дополняют... чем-то существенным...

«Нет, не отстанет», – подумал Федор Иванович. Он мог бы, конечно, уйти от опасного человека. Решиться и порвать с ним. Но его тянуло к нему, и, если полковник долго не появлялся, чувствовалось что-то вроде тоски.

Они оделись и вышли на яркий, сверкающий лужицами воды снег, и их сразу оглушило отчаянное, радостное карканье грачей.

– Весна! – сказал полковник, покачав головой.

– Да! – покачал головой и Федор Иванович. – Она – свое, а человек знай гнет свое.

Полковник сразу услышал намек, взглянул, но не стал развивать невыгодную для него мысль. Только начал оправдываться:

– Федор Иванович! Вы же меня сами заразили этим. Философией. Помните, вы мне что-то говорили о ключе...

– О ключе? Вам? Никогда не говорил.

– А тогда? Помните, когда пришли...

– Тогда у меня еще и ключа не было. Это вам кто-то. Кто Моргана дал...

– Может быть, и так. – Свешников бросил на Федора Ивановича быстрый смущенный взгляд. – Но вы мне и так многое доверили. Так валяйте до конца, я не продам. Давайте про ключ.

Он так и ломился вперед со своими вопросами.

– О ключе – это очень много, – сказал Федор Иванович. – Вы хотите часовую лекцию?

– Да, да! Именно!

– Ну, во-первых, поскольку существует авторское право, я должен заявить вам, что все, что будет... если будет... изложено ниже, принадлежит не мне, я уже говорил... А будет всего-навсего вольным пересказом чужих мыслей и не претендует на полноту. Фамилию автора я пока не назову.

– Меня фамилия автора не интересует, даже если бы это были вы, – сказал Свешников как-то небрежно, слегка презрительно и даже с торжеством, и Федор Иванович сразу понял, что его новая попытка уйти из упряжки пресечена. Кроме того, ему очень хотелось хоть один раз изложить свои мысли в чьи-нибудь, в посторонние уши. Родившаяся новая мысль не дает покоя, пока ее не выскажут другому человеку.

– Ну ладно. С чего бы начать? Вот, представьте себе, человек тонет. Под лед провалился. А я ишу шест – помочь. А мой приятель молча мне говорит. Глазами. Говорит: «Не ищи особенно». Я все же увидел шест, хочу взять. А он поскорее – молча – закричал: «Ты не видишь этого шеста! Может быть, это и не шест! Пойдем лучше покричим на помощь, а он в это время утонет». Вы не чувствуете здесь, в этом примере, взятом из жизни, неполноты? Чего-то не хватает, верно? Ответов нет. Почему кричит «не ищи»? Почему доверяется мне, крича это? Наверно, знает, что у нас с ним может быть единство на этой почве? Почему надо пойти, а не побежать за помощью? Почему покричать все-таки на помощь, когда все делается так, чтоб человек утонул? Наконец, кто этот тонущий, верно? Почему я его все же хочу спасти, а приятелю непременно нужна его смерть?

Федор Иванович посмотрел на Свешникова. Толстые светло-розовые губы полковника уже вытянулись в трубку.

– Михаил Порфирьевич, разве разберешься в таких отношениях с помощью кодекса?

– Разбираются... – заметил полковник.

– Ну да, это если налицо мертвое тело. А если дело происходит на защите диссертации? Или касается занятия должности? Или внесения вашей фамилии в список на получение? Тут

кодекс и вся криминалистика теряют свою силу. Кодекс – это старинная пищаль... аркебуза ржавая... на поле боя, где действуют танки. А?

– Вы оригинальный мыслитель.

Тропинка в жидком снегу вела их напрямиком к парку.

– Мы общаемся с миром... А он весь прямо вибрирует от пересекающихся скрытых интересов. – Федор Иванович входил в любимую колею и чувствовал, что уже не сможет остановиться. – Активность каждого из нас начинается с намерений. А намерения ведь разные бывают... Одни направлены на вещи, а другие, смотришь, и на человека... Я в лесу увидел цветок и хочу понюхать. Или копаюсь в огороде и нашел камень, бросить его хочу за межу. Чтoб огурцам расти не мешал. Другой человек и его интересы здесь не присутствуют...

Федор Иванович умолк. Полковник тоже молчал, внимательно слушал.

– А вот теперь совсем иной тип намерений. Я хочу человеку преподнести что-нибудь хорошее, чтобы он таким образом получил удовольствие. Хочу неожиданно подарить вещь, которую тот безуспешно искал. Огорошить счастьем. И человек вспыхивает от радости. И я с ним. Доброе у меня намерение, верно? Что придает ему эту черту? Заключенное в намерении добро.

– Я слышал уже об этом. В городе уже многие говорят. Видимо, настоящий автор тоже не сидит сложа руки, бесстрашно высказывается. – Полковник с улыбкой косо глянул на Федора Ивановича. – Но, по-моему, это очень отвлеченно. А вот ключ...

– Мы уже говорим об этом ключе. Нужен ведь подход. Давайте рассмотрим еще такой случай. Я завидую чьим-то успехам, а может быть, просто хочу получить некое благо, а человек по неведению уселся у меня на пути. Добросовестно владеет, дурак, и доволен, не хочет со своим счастьем расстаться. Новый сорт картошки нужен мне, а его вывел другой. Тогда как я идеально подхожу в авторы, это мне яснее ясного. Знаменитый ученый, а своего сорта нет! Всю жизнь это меня грызет. Да еще правительству наобещал. И я хочу причинить ему вред, завалить, а готовый сорт прикарманить. Еще не прикарманил, бегаю вокруг. Но это хотение уже сложилось во мне и горит огнем...

– Горит! – согласился полковник. – Ох горит!

– Горит! И знаю ведь, что, если отниму у него его счастье, он может даже не перенести удара. Но все равно горит. И ничем не унять. Или добро, или зло – что-то должно лежать в основе наших намерений. Если они касаются другого человека. Их даже физически чувствуют! Вам знакомы такие слова: «задыхаясь от злобы», «предвкушая гибель своего врага»? Или наоборот – «светился доброжелательством», «предвидел крушение его надежд и страдал от этого». От этих ощущений можно даже заболеть! И то и другое ощущается! Существует вне моего сознания, если я – посторонний наблюдатель происходящего. Хотя, правда, и мое сознание сразу кинется участвовать. Есть, впрочем, такие, у кого и не кинется... Это нужно сказать тем, Михаил Порфирьевич, кто вас за эти мысли обвинит в идеализме и потащит, как дядика Борики...

– Ну-ну. Оговорки при мне можно не делать. Давайте дальше.

– Добро и зло родят и действия, специфические для соответствующих случаев. Можно даже классифицировать и составить таблицу. Обратите особенное внимание... какая получается зеркальность! – Федор Иванович, сильно взволнованный, повернулся к собеседнику. – Смотрите! Это же чудеса! Открытие! Добро хочет ближнему приятных переживаний, а зло, наоборот, хочет ему страдания. Чувствуете? Добро хочет уберечь кого-то от страдания, а зло хочет оградить от удовольствия. Добро радуется чужому счастью, зло – чужому страданию. Добро страдает от чужого страдания, а зло страдает от чужого счастья. Добро стесняется своих побуждений, а зло – своих. Поэтому добро маскирует себя под небольшое зло, а зло себя – под великое добро...

– Как? – закричал полковник, останавливаясь. – Как это добро маскируется?

– Неужели не замечали? Ежедневно это происходит, ежедневно! Добро великодушно и застенчиво и старается скрыть свои добрые мотивы, снижает их, маскирует под морально отрицательные. Или под нейтральные. «Эта услуга не стоит благодарности, чепуха». «Эта вещь лишнее место занимала, я не знал, куда ее деть». «Не заблуждайтесь, я не настолько сентиментален, я страшно жаден, скуп, а это получилось случайно, накатила блажь. Берите скорей, пока не раздумал». Один друг моего отца, побеседовав с ним по телефону, говорил: «Проваливайте ко всем чертям и раздайте всем детям по подзатыльнику». Добру тягостно слушать, когда его благодарят. А вот зло – этот товарищ охотно принимает благодарность за свои благодеяния, даже за несуществующие, и любит, чтобы воздавали громко и при свидетелях. Добро беспечно, действует не рассуждая, а зло – великий профессор нравственности. И обязательно дает доброе обоснование своим пакостям. Михаил Порфирьевич, разве не удивляет вас стройность, упорядоченность этих проявлений? Как же люди слепы! Впрочем, иногда действительно бывает трудно разобраться, где светлое, а где темное. Светлое мужественно говорит: «Какое я светлое, на мне много темных пятен». А темное кричит: «Я все из серебра и солнечных лучей, враг тот, кто заподозрит во мне изъяз!» Злу иначе и вести себя нельзя. Как только скажет: «Вот, и у меня есть темные пятна, неподдельные», критиканы и обрадуются, и заговорят. Не-ет, нельзя! Что добру выставить свои достоинства и подавлять людей благородством, что злу говорить о своей гадости – ни то ни другое немыслимо.

– Нет, никак. – Свешников закивал. – Никак немыслимо. – Он, похоже, понял что-то главное и был согласен. – Ни в коем случае нельзя. – Тут он задумчиво выпятил свою мягкую трубку губы. – Прямо как у одного теоретика получается, – сказал он вдруг невинным тоном. – Если переносим член уравнения на другую сторону, он меняет знак...

Федор Иванович на миг остро на него взглянул. Полковник собирал все его высказывания, оброненные в разное время и в разных местах.

– Вы правы, Михаил Порфирьевич, – сказал он, овладев собой. – Здесь скрывается целая наука. Белое пятно. Только изучай. Зло ведь не только норовит себя преподнести как добро, но и доброго человека любит замарать под злого. «Очернитель!» «Лжеученый!»

– Точ-чно!

И вдруг полковник, взыграв глазами, тронул Федора Ивановича за локоть:

– «Вейсманист-морганист!»

– Я вижу, вы уже пробуете применять этот ключ на практике, – с прохладной улыбкой сказал Федор Иванович. – Несомненные успехи!

Его не так-то легко было захватить врасплох. Произошла минутная заминка. Полковник думал о чем-то своем, Федор Иванович, не зная, откуда может грозить неведомая опасность, осторожно присматривался к нему.

– Для этой очень ценной науки, видимо, еще не настало время, – вдруг сказал Свешников. – Или, может быть, пропущено.

– Почему? – осторожно спросил Федор Иванович. – Зло переключивается из одной формы в другую. Было бы наивно... и смертельно опасно... думать, что с революцией, с Октябрем зло полностью из общества отфильтровано. Этот вирус проходил пока через все фильтры... Во все века в шествии счастливых рабов, сбросивших оковы, шло и оно, Михаил Порфирьевич...

– Парашютист шествовал, – задумчиво обронил полковник.

– Вы о чем?

– Так... Это уже мое открытие. О парашютисте говорю. О спустившемся парашютисте. О нем пока не стоит... Мысли ваши мне понятны. Я их разделяю. Но это не значит, что некоторые...

– Это не для официального обнародования.

– И суд будет не на вашей стороне, если включить в практику. Судебному секретарю нечего будет записывать в протокол.

– Это не для секретаря и не для протокола. Это должно помогать человеку там, где суд бессилён. Это для беззвучного внутреннего употребления.

– М-может быть... Согласен. У меня кое-какая практика есть, я тоже наблюдал, но не с того конца. Когда живешь в гуще событий, невольно суммируешь свои наблюдения. И когда-нибудь, когда мы лучше узнаем друг друга... Можно бы и сейчас, но, по-моему, мы еще не исчерпали...

«Хорошо стелешь, – подумал Федор Иванович. – Не зря полковником стал».

– У нас не решен еще один важный вопрос, – задумчиво проговорил Свешников, останавливаясь. Широко открыв белесые с желтинкой глаза, он прямо взглянул в лицо собеседника и сложил губы в напряженный толстый кукиш.

«Он серьезно вникает в это дело!» – открыл вдруг Федор Иванович.

– Один вопрос мне пока недостаточно ясен. Вы говорите – для внутреннего употребления. Вот я хочу употребить этот ключ. Этот критерий. Так это же и зло может сказать: «Я тоже думаю о критерии!»

– Ничего вы еще не поняли! – загорячился Федор Иванович. – Сама ваша тревога о критерии уже есть критерий. Раз в вас сидит эта тревога – вам-то самому это ясно, тревога это или маска! Тревога есть – имеете право занимать активную позицию.

– А если мне ясно, что тревоги нет и что мои слова – маска?

– Раз маска – значит есть за душой грех. Если есть грех, если вы хотите заполучить новый сорт, анализ намерений вас не будет интересовать. Зло своих намерений не изучает. Его интересуется тактика. Как достичь цели.

– Пусть. Но я же закричу! И за голову схвачусь. Ах, я так тревожусь!

– А я вас тут и накрою. Ваш крик – маскировка злого намерения. Тактика! Тревога этого рода существует не для того, чтобы заявлять о ней другим. Я же сказал – для внутреннего употребления. Кто искренне тревожится – молчит. Страдает и ищет путь. Искреннее добро редко удастся подглядеть в другом человеке.

– Тонковато это все...

– Еще как! Вообще все эти дела требуют тончайшей разработки. Я же говорю – белое пятно. Нужна наука, тома исследований.

– Молодец! – сказал полковник, любовно оглядывая Федора Ивановича. – Первый раз встречаю человека, так глубоко зарывшегося в эту сторону наших переживаний. По-моему, вы уже лет восемь болеете... разрабатываете эти идеи. Вас что-то к ним привязывает...

– Правильно, болею. Привязывает. Болею и не могу выздороветь. Потому что допустил в жизни кое-что... И никак не разберусь. И продолжаю допускать. А еще потому, что впереди меня ждет будущее, и там мне придется что-то допускать... Каждый поступок, малейшее движение оставляют след. Семь раз отмерь – не зря сказано.

– А можно узнать, – полковник все еще оглядывал его, – можно узнать, по какому списку вы такой полушубок отхватили?

– Подарок академика.

– Любит он вас. Подождите-ка... Я сейчас вам... Маленький беспорядок...

Полковник шагнул, протянул к груди Федора Ивановича руку, и тот, проследив за его пальцами, почувствовал легкую досаду, почти оторопь. Эти короткие розоватые пальцы с желтыми крапинами поддевали ногтями, тащили из толстого шва на груди полушубка туго свернутую бумажную трубку.

– Ишь, не дается, – приговаривал Свешников, увлеченно трудясь. – По-моему, это любовная записка. Почта амура.

Он выдернул наконец бумажный стерженек и, не разворачивая, протянул Федору Ивановичу. Тот уже знал, что может быть в этой бумажке, – на протяжении минувших трех месяцев он нашел в полушубке две таких записки – одну нашупал в кармане, как только надел

присланный из Москвы подарок, другую обнаружил недавно в случайно открытом секретном кармашке на груди.

– Поскольку вы нашли это, вам и читать, – несколько опрометчиво сказал он.

– Федор Иванович! – Свешников серьезно посмотрел на него. – Я не настаиваю.

– Оглашайте.

– Ну что ж... – Полковник развернул трубку. – Это действительно... Ого! Значит, так: «Сынок, батюка видит все. Не предавай батюку».

Широко открыв веселые глаза, посвященные в чужую тайну, Свешников передал записку Федору Ивановичу, и тот сунул ее в карман.

– По-моему, он чувствует, что дитя выросло. На вашем месте я бы серьезно задумался над этим. Старик располагает какими-то источниками. Его информируют... То есть я, разумеется, хотел сказать – дезинформируют.

– Это он авансом. Ему постоянно чудятся подкопы вейсманистов-морганистов, дезинформатор играет на этом. А старик и лезет на стену... Вернейшие кадры начинает подозревать.

– По-моему, у академика достаточно жизненного опыта, чтобы прокладывать свою собственную дорогу.

– В науке – да. В науке у него не просто дорога. Стальные рельсы – вот его путь в науке! А в жизни наш академик очень прост. До сих пор остается крестьянином. Доверчив, как дитя.

Федор Иванович бросил эти слова как бы вскользь и торжественно пошел по тропке вперед. Спинай он чувствовал недоумевающий и острый – лесной – взгляд из-под хмуро опущенных желто-белых бровей.

Долго шли они молча по утоптанному снегу Поперечной аллеи – между черными голыми деревьями. С ними вместе и навстречу им двигался воскресный людской поток, но они не видели никого. Полковник о чем-то размышлял, остекленело уставясь в невидимую точку перед собой. Федор Иванович с веселым напряжением ждал нового захода.

– Федор Иванович... Да не спешите вы так! Куда понесся? А что же песочные часы? Два ваших конуса – вы так и не объясните мне, с чем их едят?

– Я же говорил, это не мои конусы, а одного моего знакомого. Мне никогда не допереть до таких вещей.

– Еще больше заинтриговал. Может, вкратце посвятите?

– Отчего же не посвятить. Это графическое изображение нашего сознания – как оно относится к окружающему миру. Изображение условное, конечно. Верхний конус, который уходит в бесконечность, все время расширяется – это Вселенная, мир, вмещающий все, за исключением моего индивидуального сознания. Или вашего...

– Как это – за исключением? Разве я и вы не составные части мира?

– Конечно, составные. Но как только я о нем начинаю думать, я противопоставляю себя ему. Отделяюсь мысленно.

– Ах вот как...

– А нижний конус, который тоже в бесконечность уходит и у которого нет дна, – это я. Вы стремитесь, я же это вижу, проникнуть через вход внутрь бесконечности моего сознания, посмотреть, что там делается. А дырочка узка, и вам никогда внутрь моего «я» не протиснуться. Вы это знаете, вам же приходилось допрашивать... Оставьте надежды навсегда. Можем и поменяться местами. У вас свой конус, ваше сознание. А я могу быть для вас внешним объектом. Я топчусь в верхнем конусе, у входа. И тоже хочу проникнуть в ваше сознание. Хочу кое-что понять. Что это он так мною интересуется? Чем я для него привлекателен, интересно бы посмотреть. Но и мне к вам тоже не пролезть. И я ничего не узнаю, если вы не пожелаете меня посвятить. А посвятите – тоже узнаю не все. С ограничением. Разве по ошибке выпустите наружу информацию. Но и тут... Еще никто не проникал в сознание индивидуального человека. Даже того, который твердит, что он большой коллективист. Наша внутренняя свобода

более защищена, чем внешняя. Здесь никто в спину не ударит. Мысли не звучат для чужого уха. Пока технари не придумали свой энцефалограф, над которым упорно бьются. Пока не научились записывать наши мысли и чувства на свою ленту с дырочками, до тех пор может жить и действовать неизвестный добрый человек, скрывающийся в тени, готовый биться против ухищрений зла. Что такое добро, что такое зло, вы уже знаете.

– Вертелся, вертелся и поставил мне мат.

Они оба засмеялись.

– Федор Иванович! Это верно: когда такой записывающий аппарат начнут сериями кидать с конвейера, тут уже вашему неизвестному солдатику места в жизни не будет.

Полковник умел в некоторые минуты смотреть на собеседника добрым, мягким провинциалом. Умел и мгновенно перемениться, показать свой металл. И сейчас, после своих слов, поглядев на Федора Ивановича с лаской, он вдруг как бы перешел к делу:

– Но имейте в виду, Учитель, мотайте на ус: то, чем я, как вы говорите, интересуюсь в вас, я все-таки получил.

– Захотелось прихвастнуть? – Федор Иванович был спокоен. – Тактика учит, что лучше не показывать достигнутого преимущества.

Полковнику понравились эти слова. Он помолчал, любясь собеседником. Потом продолжал:

– Можете также быть уверены, что я ни с кем не поделюсь своей находкой. Приятной находкой... Хотя да, вам же нужна не вера, а знание...

Он остановился и с полупоклоном развел руками. И Федор Иванович развел руками и чуть заметно поклонился. Оба покачали головой и двинулись дальше. Наступил долгий перерыв в беседе. Потом полковник опять остановился.

– Как я понимаю, у зла есть тоже своя нижняя колба песочных часов. Свой внутренний конус...

– Только маленькая разница, Михаил Порфирьевич. Но существенная. Самонаблюдение злого человека не интересует. Его жизнь – во внешнем конусе, среди вещей. За ними он охотится. Ему нужно все время бегать во внешнем пространстве, хватать у людей из-под носа блага и показывать всем, что он добряк, благородный жертвователь. И вся эта маскировка может быть хорошо видна добру, которое наблюдает из своего недоступного укрытия. Если оно постигло... Если научилось видеть. Добро, постигшее эту разницу, будет находиться в выгодном положении. Это сверхмогучая сила. Особенно если она осенена достаточно мощным умом. Точка, на этом я заканчиваю. Вы получили от меня весь курс.

Продолжая беседовать – теперь уже о других, но не менее мудреных вещах, – они вышли из парка, пересекли, идя по тропинке, край протаявшего черно-пегого поля, протопали по уже высохшему толстому настилу моста и вышли на улицу, которая вела Федора Ивановича к его цели. Когда приблизились к знакомой арке, он постарался вести себя так, чтобы нельзя было догадаться, что именно здесь, за аркой, заканчивается его маршрут. Не замедлив шага и не взглянув в сторону арки, он прошел мимо. Ему помог в этой маскировке Кеша Кондаков. Дымчатым, но зычным голосом вдруг окликнул сверху:

– Учитель! Учитель!

Он стоял на своем балконе над спасательным кругом, завернутый в малиновый халат.

– С учениками гуляем? Что же не заходишь, равви? Михаил Порфирьевич, вы-то почему мимо? Зашли бы!

Федор Иванович и полковник энергично помахали ему.

– Учитель, заходи! Подарок получишь! – вдогонку крикнул поэт.

– Как вам наш областной гений? – спросил Свешников, когда они миновали магазин «Культовары».

– У него есть хорошие стихи.

– Я его сначала недолюбливал. Без изытия. За некоторые особенности личной жизни. Почти всегда пьян. И прочее... А потом смотрю – дело-то сложнее. Он мне напоминает одного моего друга у нас во дворе. Лет шести. У вас есть дети?

– Нет.

– И не было?

– И не было. Есть в мечтах один, белоголовенький. После войны вдруг начал сниться. Один и тот же. Недавно опять...

– И у меня нет. Вот я и завел во дворе дружка. В доверие вошел. Говорю ему как-то: «Где ты был летом?» Серьезно отвечает: «Путешествовал». – «Куда же ты ездил?» – «На острова Зеленого Мыса». Наш поэт тоже такой путешественник. То на островах Зеленого Мыса обретается... то вдруг в сугубо реальной действительности. Стараюсь замечать его, когда он на островах. У него есть очень грустные стихи про болотный пар и про головастиков. Наблюдения над самим собой, довольно критические...

Федор Иванович простился наконец со Свешниковым на площади около городской Доски почета, где на него строго взглянул с фотографии папа Саши Жукова. И сразу торопливо зашагал, почти побежал назад. В его распоряжении был еще час, и он решил оставить дома полушубок и надеть «мартина идена». Он и сделал это, и через пятьдесят минут по Советской улице уже быстро шагал стройный и решительный молодой мужчина без шапки и с озабоченным лицом – журналист или, быть может, архитектор. Так преобразило Федора Ивановича это любимое пальто.

Он свернул в переулок и подошел к дому Лены через проходной двор. Этот новый путь ему показала она. «Потому что эта вещь любит тайну, темноту и иносказание» – так она объяснила необходимость пользоваться проходным двором. Он пренебрег лифтом, взбежал на четвертый этаж и позвонил у крашеной двери с табличкой «47». Открыла бабушка – чистота, привет, интерес к молодости и привядший, колеблющийся пух на голове. Маленькая и выразительная в движениях, как Лена.

– Здравствуйте, Вера Лукинишна!

– Здравствуйте, Федя. Хоть один грамотный человек в гости ходит. А то все – Луковной... Да еще поправляют. Раздевайтесь, проходите.

– Лена дома?

– Проходите, сейчас будем обедать без нее.

– А Лена?

– Леночка убежала. Приказала обедать без нее.

– Но ведь воскресенье!

– По воскресеньям-то у нее самые-самые дела.

– Тогда я, может быть, пойду...

– Ничего подобного! Будем обедать. Она приказала не отпускать вас.

Федор Иванович покорился и, повесив пальто, ничего не видя вокруг, был за руку переведен в комнату и почти упал на тот стул, который ему был указан. Усевшись, закрыл глаза, вникая в тихую боль. Не удержался – громко вздохнул. Бабушка пристально на него посмотрела и ушла на кухню.

«Ведь ты же сама, сама же пригласила, – шептал Федор Иванович. – Неужели у тебя так... До того дошло... Назначила же время. Три часа. Знала, что приду. Что прибегу...»

– Кому говорю! – сказала бабушка около него. – Ешьте суп!

Перед ним уже стояла красивая старинная тарелка с желтым бульоном, и в нем празднично краснели кружки моркови. Он опустил в бульон старинную тяжелую, отчасти уже с обьеденным краем серебряную ложку, и тарелка мгновенно опустела.

– А пирожки? Она же специально для вас пекла!

Он взял пирожок.

– Федя! Ну что с вами? Вы нездоровы? Почему вы так похудели? Вы знаете, я врач. Так худеть не годится, даже от любви.

– Почему я похудел...

– Ешьте, ешьте пирожки. Я сейчас еще положу. Правда, вкусно?

– Почему похудел... Отчасти в этом виновата ваша внучка.

– Так у нее же очень сложное положение! Бедняжка разрывается между двумя огнями.

– Не полагается, Вера Лукинишна, иметь сразу два огня.

– Знаете что... Вот послушайте. – Бабушка сидела против него и, склонив набок голову, окруженную колеблющимися легкими волосами, смотрела на него с печалью. – Вот послушайте, это вам адресовано. Айферзухт ист айне лайденшафт, ди мит айфер зухт, вас лайденшафт. Поняли?

У нее был, видимо, настоящий немецкий язык. Слова круглые и с пришепетыванием.

– Что-то частично понял, – сказал Федор Иванович. – Про ревность что-то. И про страдания.

– Именно. Ревность – это такая страсть, которая со рвением ищет то, что причиняет страдания. Пожалуйста, не страдайте, у вас нет причин. Съешьте еще тарелку бульона, я пойду за вторым.

Он послушно, быстро, сам того не заметив, опорожнил вторую тарелку.

– Молодец, – сказала бабушка, внося блюдо с очень красивым куском жареного мяса.

У Федора Ивановича, несмотря на его страдания, на миг проснулся аппетит.

– У нее, у бедной, не закончены некоторые дела, – сказала бабушка, разрезая мясо и кладя в тарелку Федора Ивановича. – Я их немного знаю. Они для вас не опасны.

– Вера Лукинишна, она водит меня за нос! – почти закричал он.

– Нет! Что вы! Она вас так любит!

– Она очень пылко относится к своему незаконченному делу.

– У интеллигентных девушек пылкость может быть распределена между двумя объектами, совсем разными...

«Вот-вот...» – подумал Федор Иванович.

– С этим надо считаться. Они творят иногда сумасшедшие вещи. Могут и на карту поставить...

«Именно...» – подумал он.

– Она хорошая девчонка. Берегите ее. Вы не найдете второй такой нигде.

– Но я никуда не могу уйти от этого чувства... Айферзухт... которое ищет со рвением... Страдания-то и искать не приходится!

– Ничего, ничего. Это все не страшно. Ревность – это сама любовь. Любовь в своем ином бытии, – философ сказал. Философ моей молодости. Не теряйте время на глупости, наслаждайтесь своим богатством и ни о чем страшном не думайте.

Часа три они беседовали так за столом. Вера Лукинишна, положив сухонькую теплую руку на его крупный костлявый кулак, мягким голосом толковала ему о ревности. О том, что в ней, в ревности, есть хорошая сторона. Стремление удержать того, по ком сохнешь.

– Продолжайте стремиться, держите покрепче, – говорила она. – Я не хочу, чтобы ревность ваша ослабла. Не привыкайте к этому, это было бы худым предзнаменованием.

Федор Иванович все прислушивался – не заворочается ли ключ в замке дальней двери. Так и не дождавшись Лены, он наконец поднялся:

– Пойду...

– Ничего, ничего. Все будет хорошо, – сказала бабушка, выйдя за ним на лестничную площадку. Она с тревогой глядела ему вслед.

Спустившись вниз, он остановился во дворе. Сумерки, сильно надушенные весной, что-то таили. Он чувствовал себя как бы спустившимся на грешную землю. Да, ревность – это

страсть, которая специально, жадно ищет то, что задевает всего больше. Он уже смотрел на подъезд, ведущий к поэту. Он быстро зашагал к нему. Зарычала пружина, и дверь хлопнула. «Лифт не работает», – прочитал мимоходом и понесся по лестнице вверх. У черной двери с бронзовыми кнопками позвонил. Поэт тут же открыл, как будто ждал.

– Ты что, Кеша, видел меня?

– Почуял. По обстоятельствам сообразил.

– Ну, здорово. Где подарок?

– Не торопись. Поедим?

– Ну давай поедем. – Федор Иванович сказал это для того только, чтобы заглянуть на кухню.

Ах, здесь все было не так, как раньше. Цветная страница из иностранного журнала с голой юной красавицей куда-то исчезла. И ни одного таракана.

– Ксаверий где?

– Казнен, Федя, – отозвался поэт из дальней комнаты. Он шарил в своем законном мешке, собираясь кормить гостя.

– Ладно, не старайся, я раздумал, – сказал Федор Иванович, переходя из кухни к нему. – Я уже пообедал. Так где подарок?

В обеих полутемных комнатах был беспорядок – как будто здесь готовились к ремонту. Поэт зажег в спальне большую лампу ярко-белого накала. Посредине комнаты стояли два чемодана. Деревянную кровать хозяин разобрал, и ее части были стоймя прислонены к стене. Волокнистые диваны поблескивали лакированными выпуклостями. Только сейчас Федор Иванович заметил, что Кондаков сильно изменился. Лицо потемнело, беспомощно и грустно отекло.

– Ты что – пил много? – спросил Федор Иванович.

– Вопросы какие-то задаешь... Ты как, воздухом дышишь? Или у тебя жабы и ты ныряешь в ведро? У меня, например, внутри жабы... И я должен туда регулярно заливать.

Он не забывал шутить, но на месте ему не стоялось, все время срывался бежать куда-то. Заставлял себя остановиться и смотрел на Федора Ивановича, готовя какое-то важное слово.

– Не торопись получить свой подарок, – сказал наконец. – Никуда не уйдет. Никуда не уйдет.

– Что это все означает? – спросил Федор Иванович, садясь на чемодан. Он не снял пальто, только слегка распахнул. – Затеял ремонт?

Поэт как прикованный смотрел на пальто. Пошупал ткань:

– Давно у тебя? Продай!

– Ремонт будет? – Федор Иванович оглядывал стены.

– Ну да. Ремонт будет. Ремонт... Вот, я решил подарить тебе эту кровать. По моим сведениям, у тебя дела идут на лад. Кровать необходима. А у меня перемена в жизни. Похоже, навсегда.

– Женился?

– Нет, это ближе к разводу, Федя. Так возьмешь? Отдаю со всем набором, с одеялом и подушками. На улицу жалко бросать такую вещь. Если что-нибудь заплатишь, не откажусь. Мне она тоже от хорошего человека перешла. Примерно в таких же обстоятельствах.

– Ты-то почему с этой штукой расстаешься?

– Для твоей дамы будет сюрприз. Им нравятся такие удобства.

– Почему ты вдруг...

– Блажь, блажь. Ухожу в монастырь.

«Она бросила его! – подумал Федор Иванович. – Она обманывает не меня, а его».

– У нее, ты сам понимаешь, и до меня было. Но ты должен разбираться – одно другому рознь. Она от того ушла вроде как ко мне. Муж, муж у нее был. Но и от меня быстро улетела. Посмотрела вплотную – не тот. И улетела. Только перышко осталось в руке, а ее нет. Это очень,

скажу тебе, Федя, неприят-ствен-но. Даже не то слово. Пытка! Казнь! Вот даже стихи сочинил. Хочешь?

И он, придвинувшись, глядя куда-то в сторону, загудел глухим полусшепотом:

Был я бесей породы,
Баламут родниковой струи,
И терпела природа
Несуразные песни мои.
Был судьей всем, кто ползал
И летал средь прибрежной травы,
И взимал в свою пользу
Я налоги с беспечной плотвы.

В этом месте поэт остановился и сквозь всю свою грусть со слабой улыбкой покачал головой:

– Было, было...

И, переждав свои воспоминания, продолжал гудеть стихи:

Ведал дремой болотной,
На мели головастика пас...
Но без жалости отнял
Все судьбою назначенный час.
Грянул гром небывалый,
В поднебесье послышался стон,
Лебедь белая пала,
Обагря притихший затон.
Я дела забываю,
Я к ослепшей от боли лечу,
Песнь любви запеваю —
Ту, которой от горя лечу.

Дал я ране закрыться...
Но, очнувшись от тяжких обид,
Видишь ты, что не рыцарь —
Пень чудной на болоте стоит.
Поднялась молодая —
Только крыл пролилось серебро...
И, навек улетаю,
Обронила в болото перо.
И не знала, что нищий,
Навсегда обездоленный черт
В тине знак тот разыщет
И к душе деревянной прижмет.

Наступило молчание.

– Вот какие стихи родятся от горя, – заговорил наконец Кеша. – Только крыл пролилось серебро, представляешь? Улетела...

– Но ты, я вижу, еще жив, Кеша... – заметил Федор Иванович.

– Никогда не воскресну. Нет. Она приходит и сейчас иногда, можешь себе представить такую пытку? Жалеет! И так сказать, понимаешь, готова... Я ее беру, держу ведь в охапке. Но чего-то нет. Что такое? Одни перья... Перья держу, а самой ее нет. Сама где-то в другом месте, вся там.

– А раньше?

– Раньше все было мое. И перья, и душа. Недолго, правда. Несколько дней.

Кондаков взял веник и начал подметать комнату. То хмурясь, то усилием расправляя лицо. Федор Иванович, выгнув бровь, смотрел на него слегка сбоку.

– К кому улетела – хотелось бы глазком глянуть. – Кондаков посмотрел на него. – Морду набить счастливицу...

Он подметал, сгоняя в кучу какие-то бумажки и, между прочим, чей-то портрет на почтовой открытке. Федор Иванович узнал – это был Рахманинов, коротко остриженный, почти наголо. Выхватив открытку из-под веника, он стал протирать ее платком:

– Эту открытку я забираю себе.

– А я не отдаю. Променять могу.

– Так ты же кровать такую даром отдаешь!

– Если возьмешь кровать, и Рахманинова бери. А так – нет. Так – только за эквивалент. Я видел у тебя ботиночки летние, видные такие, с дырками. Давай на них.

– Они же ношенные!

– Ничего. Еще год проходят.

– Ну что ж... Считай, они твои.

– Мне еще нравится твой пиджачок. «Сэр Пэрс», так ты его зовешь. Что хочешь за него? Могу вот Оскара Уайльда. Чего молчишь? Хочешь вот Есенина? Правда, только один том. С березами, первое издание.

– Странно как-то... В общем-то, конечно! За Есенина давай...

– Принеси сначала «сэра Пэрси».

– Он же на тебя не налезет, Кеша.

– Это моя печаль. Похудею.

Какая-то новая странность открылась в этом Кеше. Он явно что-то задумал. Какой-то свой невиданный шахматный ход.

– Ты это самое... Скажи мне: берешь кровать? Не бойся, клопов нет. Не хочешь платить – не надо, бери так. Ты, я вижу, не веришь. Представь, дарю! Накатила щедрость...

Не говорить бы ему этих слов – о щедрости. Федор Иванович сразу почуял маскировку. И сам ушел в тень.

– Хорошо. Приду еще и заберу. Спасибо, Кеша.

– А ты не можешь сегодня? И потом доложишь, как понравится даме. Обязательно! Это будет твоя плата. Договорились?

Дурачок! Он был весь как на ладони. Свихнулся от своей дамы.

– Нет, сегодня не заберу. – Федор Иванович с грустью на него посмотрел. – И вообще... Надо еще транспорт... Нет, в ближайшее время не смогу.

И сразу Кеша засуетился, глаза забегали.

– Надо же мне что-нибудь на память тебе... Возьми вот скрепки. Коробочку. Ты таких никогда не видел. Заграничные.

Федор Иванович, быстро взглянув на него, взял коробок. Неудачно выдвинул картонный ящичек, и на пол со стуком просыпалось штук десять больших канцелярских скрепок для бумаги. Они действительно были особенные – оранжевые, блестели эмалью. Федор Иванович, присев, стал собирать их. Собирая, он думал: «Да, конечно, у нее мог быть и муж. Почему не быть?.. Когда люди сходятся в нашем возрасте, каждый приносит свой чемодан, и не пустой.

И заглядывать туда нельзя». Он собирал скрепки, а Кондаков наблюдал, оскалив непонятную полуулыбочку.

– Учитель, а не понял, почему дарю. Эти скрепки – особенные. Они помогут тебе глубже понять и оценить красоту женщины.

Федор Иванович поднялся, внимательно посмотрел.

– На женщину надо каждую секунду смотреть, Федя. Стой на цыпочках, как будто лезгинку танцуешь, и не своди глаз. Каждая женщина – необыкновенное явление. Неповторимое.

– Но ведь во всех сидит Модильяни, – заметил Федор Иванович.

– Не мешай! – вдруг озлился Кеша. – Я тебе этого не говорил никогда! Ты лучше слушай, – голос его стал тихим. – Ты слу-ушай. Когда она разденется... Когда шагнет к тебе, она увидит эту коробочку. А ты ее заранее подставь. На видное место. И еще лучше, если нарисуешь на ней собачку смешную. Она схватит, обязательно схватит! И пальчиком тык туда. И все скрепки рассыплются по комнате. Ах! – кинется их собирать, забудет все. Федька! Это такие движения! А ты смотри! Смотри! Не упusti ничего. Это пятьдесят процентов познания жизни! Больше никогда такой живой красоты не увидишь. Чудо! Пик жизни! Пройдет, и все – жизнь пролетела. И не вернешь. Я там донышко выдрал, в коробке. Как ни повернет – все равно рассыплются.

– Ишь ты, изобретатель...

– Спасибо скажешь, дурачок. А мне остается только слушать твой рассказ...

– Ну вот ты повесил нос. Так она же к тебе и сейчас приходит.

– Жалееет, я же говорил. Жалееет. Невозможно терпеть!

– Но у тебя же всегда есть про запас!

– Не обижай меня, Федя. У меня горе.

– Ну и что – вот придет...

– Придет и тоскует. Невозможно! Говорит: «Нам нет хода назад».

– А ты-то! Такое дело, а он тут... Меня со мной затеял какие-то. Кровать, скрепки предлагаешь... Послушай, ты зачем мне... зачем эти скрепки даришь? – Федор Иванович не мог смотреть в явно лгущие глаза Кеши и говорил, отвернувшись.

– Не нужны? Тогда давай назад. Считаю! Раз! Два!.. Ишь вцепился! Ха-а! Греховодник ты, Федька. Смотри, потом Расскажи мне, как прошел сеанс. Доложишь все подробно.

Да, Федор Иванович вцепился в этот коробок, как в драгоценность. Только он не собирался любоваться и изощрять до таких тонкостей наслаждение, может быть и ожидавшее его в отдаленном будущем. Он готовил себе муку и не знал, перенесет ли он ее? Видавшая виды чуткость его уже проникла в цели Кеши, а сатанинская изобретательность ревнивца подсказала ему страшный план.

«Тоскует... Но все-таки назад хода нет! Леночка, я тебе прощу! Все без остатка! – так думал он, пряча в карман пальто коробок со скрепками. – Даже нет – какое может быть у меня право ее прощать или не прощать? Я просто заставляю ее улыбнуться, будто ничего не было».

Но, шагая домой, он то и дело трогал в кармане эту проклятую коробку.

«Кошмар какой-то, – думал Федор Иванович. – Кешка применил уже эти скрепки. Для своих эстетических... У нее, конечно, рубец в душе остался. Она же – чистейшее существо! Он тоже помнит и про этот рубец. Психолог... Хотел, чтобы я взял эту кровать в качестве брачного ложа. Чтоб напомнил ей о... А потом доложил чтоб о впечатлении... Ужас! Ну, Кеша, ну ты садист! Хочешь надеть „сэра Пэрси“ и показаться ей. И посмотреть на реакцию! Теперь вот скрепки сунул. Изобретатель! Ничего не выйдет, ничего!»

«Но прояснить всю картину надо», – шепнула в нем та страсть, что ищет новых, непереносимых страданий.

II

На следующий день в учхозе, проходя в оранжерее мимо Лены, он остановился и довольно долго молча на нее смотрел, и взгляд его был благосклонно-холодным, взгляд тициановского Христа, отвергающего динарий. Она вспыхнула, оцепенела, сильно сжала в руках глиняный горшок с землей, как бы прижимая его к груди, и поставила на место. Он прошел дальше, ни разу не оглянувшись, вышел из оранжереи и так же, не оглядываясь, исчез за дверью финского домика, где у него была своя рабочая комната. Тут были стеллажи в три яруса, и на них стояли стеклянные плоски – чашки Петри, а в чашках в воде на фильтровальной бумаге прорастали картофельные семена. Передвигая чашки, он слышал, как отворилась и закрылась дверь, и знал, кто вошел.

– Бедный, – сказала Лена, крепко обняла его и прижалась к нему сзади.

– Почему это я бедный? – спросил он, не оглядываясь. – С какой это стати? Посмотри-ка – пошли наклевываться семена! – Потом быстро обернулся. – Знаешь, на чем я сейчас себя поймал? Я умирал от страдания и скрыл это. Во мне что-то начало закрываться от тебя, затягиваться. Если так дальше пойдет – и с моей стороны начнется притворство и вранье... Я сейчас еле остановил в себе это. А так хотелось притвориться равнодушным. Так что имей в виду...

– Дурачок, ты все еще думаешь, что я тебе изменяю?

– Измена – выдуманное слово, – сказал он с кривоватой тоскливой ужимкой. – Измены в любви не может быть. Любовь имеет начало и конец. Когда конец наступил и любви не стало, не все ли равно, куда пойдет, что будет делать тот, кто не любит. Если бы любил – никуда бы не пошел.

Она закрыла ему рот рукой. Он отнял ее руку.

– Кроме того, любовь неповторима. Со мной ты одна, а с другим будешь другая. Измена была бы, если бы можно было повторить одну и ту же любовь, но с другим человеком. То, что было мое, останется со мной и не повторится. Со мной ты трогательно чиста. Но в том обществе, где над чистотой красиво и мефистофельски смеются... там и ты можешь смеяться. А мое ты там забываешь. Вполне естественно...

Она еще сильнее зажала ему рот:

– Сочини-тель! Что ты знаешь о том обществе? Ничего же не знаешь!

– Может, и ты о том обществе ничего не знаешь. То общество с тобой может быть одно, а со мной – другое.

– Можешь ты подождать еще две недели? Нет, лучше месяц. Подожди. И не притворяйся больше, пожалуйста. Гони все из головы. Изо всех сил борись. – И она поцеловала его и сильно встряхнула. – Проснись, ладно?

– Конечно! – сказал он и все же небрежно пожал плечами, как бы храбрясь. – Могу, могу подождать. Подожду.

В этот день к нему подошел в оранжерее академик Посошков. Мягко взял под руку и повел в сторону от людей. Лицо у него было, как всегда, желтоватое, с ямами на щеках, и серые усы были подстрижены, как дощечка, и сам он в своем сером халате был весь загляденье – аккуратный и молодой. Только тени под бровями были гуще, и там, в глубине, словно вздрагивали две чуткие мыши – то покажутся, то исчезнут.

– Феденька, – сказал он. – Короткий конфиденциальный разговор. У тебя лицо нехорошее. Неприятности?

– Все в ажуре, – ответил Федор Иванович. – Полный порядок.

– Есть у тебя дама сердца?

– Нет, – солгал Федор Иванович.

– Не верю, есть. Раз врешь, раз говоришь нет – значит дела у тебя не слишком. Когда они хороши, еле удерживаешься, чтобы не похвастаться. У меня нет сил смотреть на тебя. Я вижу иногда, как ты бежишь по этой улице... По Советской. И в арку... Ничего, не отчаивайся. Знаешь, нужда бывает в таких случаях поделиться. Не бойся, делись. Найдешь во мне понимающего конфидента. Не хмурься, а пойми, Федька. Я, например, был рожден для огромного счастья в семье, а у меня все неудачи, неудачи. Большой накопился опыт по линии неудач, и потому я все-таки угадал твое. Мы идем не по параллельным, а по сходящимся прямым, и впереди нас ждет обоюдная исповедь.

Федор Иванович прижал локтем его руку.

– Да, пожалуй, в чем-то вы коснулись истины. Но я пока не созрел еще для такой исповеди. Скоро, видно, выпью всю чашу до дна. Еще месяц. И тогда напрямик к вам. Реветь.

– Давай, милый, давай...

Но ждать целый месяц не пришлось. И чаша оказалась совсем другой. В середине апреля – там же, в учхозе, в финском домике, – Лена вдруг зашла к нему перед самым концом работы. Бросилась на шею:

– Ты меня любишь?

– Наверно, – сказал он и посмотрел устало.

Не отпуская рук, откинувшись, с тревогой посмотрела сквозь очки. Брови сошлись.

– Бабушка права...

– Новые тайны! В чем она права?

Прошлась, повернулась на одной ноге, задумчиво глядя в пол. «Новые иероглифы! Специально для меня!» – подумал он, замирая.

Припала к его груди, глядя вниз, странно трепеща. Он чувствовал этот трепет.

– Ты меня правда любишь?

– Правда. Скорей! Что ты хочешь сказать?

Приложила голову, будто слушая его сердце. Молчала.

– А ты долго будешь меня любить?

– Всегда.

– И никогда не...

– Никогда.

– Смотри же...

И они замолчали оба.

– Паспорт у тебя с собой? – спросила вдруг, строго и прямо посмотрев.

– Нет... А что?

– Ничего. За паспортом зайдем. Вот, смотри.

На ее маленькой ладони лежали два тяжелых золотых кольца.

– Это бабушка нам. Это ее с дедушкой кольца. Подставь-ка палец. Федор Иванович, я тебя страшно, больше жизни люблю и избираю своим мужем. На всю жизнь. Если бы тебя не было, у меня, наверно, не было бы больше никого...

Она даже шмыгнула носом и, сняв очки, вытерла лицо о рубашку.

– И ты мне надень. Вот на этот палец. Вот так. До конца надевай. Поцелуй меня. Молодые, поздравьте друг друга, – вспомнила она чьи-то официальные слова и засмеялась, опять шмыгнув носом. – Ах, Федька, Федька, не мешай, дай я выплачусь. Я не могу остановиться...

Она даже взвыла слегка, усмешка на этот раз не получилась, и она зарылась лицом в его рубашку и зашмыгала, ударяя его кулачками в грудь.

Долго они так стояли около чашек Петри, слегка качаясь, постепенно приходя в себя. Потом умылись оба над большой эмалированной кюветой, вытерлись платками.

– Ну что, пойдем? – спросила она.

– Куда?

– Как – куда? В загс!

Они бегом полетели одеваться, выбежали, как школьники на перемену, из домика на чуть подмерзшую грязь. Лена была в коротеньком – выше колен – каракулевом пальто – бабушка перешила для нее свое – и в тонком шерстяном платке цвета жирного красного борща, посыпанного мелкой зеленью. Федор Иванович хотел покрепче схватить ее под руку, но по ее лицу, рукам тут же пробежал строгий иероглиф: «Подождем с обнародованием наших отношений». И молча пошли рядом.

– Значит, бабушка разрешила? – спросил он.

– Бабушка приказала! Бабушка мне выговор закатила за тебя! Строго велела немедленно жениться!

Пройдя через парк, они зашли к Федору Ивановичу за паспортом и быстро, весело зашагали через поле, по Советской улице и переулкам – и к райисполкому. Лена уже знала весь путь. Проведя его по длинному коридору первого этажа, сказала: «Вот здесь», и они умолкли перед запертой дверью, на которой была приколота бумажка: «15 и 16 апреля отдел не работает».

– Ну и ладно, – сказала она, помолчав. – Ну и пусть.

– Отложим? – тихо спросил он.

– Нет, зачем... Пойдем жить ко мне. Там все готово.

– А бабушка?

– Бабушка вчера благословила меня и уехала в другой город. А потом она осторожно вернется.

И они неторопливо побрели обратно. Оба чувствовали некоторое беспокойство. Сунув руку глубоко в карман его пальто, Лена то и дело толкала его, толкала и притягивала, держась за этот карман.

– Жениться официально нам нельзя, – вдруг загадочно проговорила она. – Нельзя жениться. Ты мне не веришь.

«Да, – подумал Федор Иванович. – Нет, не „не верю“, а знаю, что у тебя есть какая-то начиночка». И промолчал в ответ на ее вынуждающее молчание.

– Во-от. Нельзя. А что мы идем ко мне – это я беру целиком на себя.

И, посмотрев на него, она кивнула выразительно: «Понимай как хочешь». Он не сказал ничего.

– Что загс? – Она толкнула его и притянула. – Тебе я, конечно, тоже не верю. Я знаю, что ты – Федор Иванович. И беру тебя без гарантий закона. Берить и вы меня безо всяких гарантий. Береть? Что это у вас? – Она достала из его кармана картонный коробок.

– Скрепки, – сказал он.

Она повертела в руке коробок, как будто не видя его, и положила обратно.

С того момента, как он вспомнил про эти скрепки, какая-то гадость опять засела в нем, отнимая волю.

– Ты какой-то торжественный. – Она приблизила к нему свои большие очки. За стеклами плавала, льнула к нему ее душа.

Сегодня что-то должно было произойти. «Нет, пусть, пусть будет ясность, – оправдывал он себя. – Объяснимся, войдем в рай чистыми».

– В какой рай? О чем ты?

Оказывается, он говорил вслух.

– Надо, наверно, ко мне сходить за вещами, – сказал Федор Иванович, когда они прошли через арку под спасательным кругом. Он пытался остановить время, влекущее его к неизвестному концу.

– Успеем, – ответила она. – У меня все есть.

– Может, купим что-нибудь?

– Все куплено. Ты боишься?

Они вошли в лифт, и, пока кабина медленно плыла на четвертый этаж, обе руки Лены успели залезть к нему в пальто, обняли его за плечи.

Квартира номер 47. Дверь никак не отпиралась. Потому что Лена все время смотрела на него. Наконец отперлась.

– Это вот тебе, – сказала Лена, подавая ему новые малиновые тапки. – Это я купила.

Стол в первой комнате был торжественно накрыт для двоих. Чернела бутылка. В овальном блюде что-то горбилось под крахмальной салфеткой.

– Это я бегала днем накрывать. Для нас с тобой.

Во второй комнате рядышком стояли две кровати, застеленные голубыми пикейными покрывалами. Изголовьями к дальней стене. А по сторонам – по тумбочке.

– Нравится? – спросила Лена, забираясь под его руку. – Это мы с бабушкой тут...

– А мухи где?

– Ты разве не видел? Они в той комнате. Между окнами.

– Ага...

– Ну что теперь будем делать?

– Наверно, я пойду умоюсь как следует...

– Пойдем. Вот сюда. Можешь сначала зайти и в эту дверь. Не желаешь? А здесь у нас ванная. Газ открывается вот так. Ты полезешь в ванну? Это твоё полотенце. А это твой халат. Бабушкин подарок...

Халат был малиновый, мохнатый. В точности как у Кондакова, только новый.

Из ванной он вышел, почти дважды обернутый этим халатом. И сейчас же туда скользнула Лена, сделала ему таинственные глаза и захлопнула дверь.

Тянулись минуты. Окна уже стали сиреневыми. Он зажег свет в обеих комнатах. Потом он вспомнил и, достав из своего пальто коробок со скрепками, отнес его в ту комнату, где чисто голубели под покрывалами два ложа. Нет, у него не хватило духу рисовать на коробке собачку по совету Кеши Кондакова. Но не было сил и отказаться от замысла. Невыносимые воспоминания зашевелились в нем, и он, с ненавистью взглянув на коробок, положил его на трехногий столик у двери – на самом виду. «Сейчас ты получишь сигнал оттуда, – подумал он. – От твоего того общества».

Вскоре хлопнула дверь ванной, и в комнату, где был накрыт стол, вошла порозовевшая Лена в узко подпоясанном лиловом мелкокрапчатом халатике с белыми кантами.

– Давай питаться. Садись во главе стола. Привыкай к положению главы семьи. Как ты думаешь, будем пить вино?

– Может быть, выпьем по рюмке?..

– А не повредит? Бабушка предупреждала... У нас же будет дитя.

– Но за счастье надо выпить. По полрюмки. Давай выпьем за счастье.

– Давай. Я думаю, не повредит. Наливай скорей!

Он налил в маленькие рюмки какого-то вина.

– За счастье, Леночка. Ты – моя жизнь. Что бы ни было в будущем... И в прошлом. За тебя. Чтоб отныне, с этой минуты у нас не было никаких тайн друг от друга. Ни малейших.

– Кроме одной, Федя. – Она посмотрела на него с мольбой. – Кроме одной, которая для тебя не опасна. И думаю, скоро перестанет быть тайной.

– Значит, и мне можно держать про себя кое-что? А то я сейчас чуть не покаялся...

– Н-ну, если тебе хочется... Если так надо... Это твоё кое-что – оно не опасно для меня?

– Это что – ревность? – поспешил он спросить. – Айферзухт?

– Инобытие любви – бабушка так говорит.

– Понимаешь, это кое-что, оно является частью и твоей тайны и живет, пока существует твой секрет. Оно может быть страшным, но может быть и смешным...

– Мы ведь все скоро откроем друг другу? Обещаешь? Ну и хорошо. Хорошо! – Она тряхнула головой, отгоняя свои сомнения. – Ты меня любишь?

– Да, – твердо сказал он.

– А я умираю от любви. Выпьем за это счастье. За любовь.

И они медленно выпили сладкое детское вино, сильно пахнущее земляникой.

Неуклонно надвигалось молчание, предшествующее великой минуте. Уже Федор Иванович под ее непрерывным ласковым взглядом сквозь очки съел большой – лучший – кусок индейки. Уже выпили чаю. Свадебный ужин пришел к концу.

– Ну-у? Что теперь будем делать? – спросила она, и голос ее сорвался на шепот. Она смотрела на него. Это было мужское дело – произнести решающие слова.

И он их произнес:

– Пойдем теперь туда?

– Придется идти...

Они вошли в другую комнату. Федор Иванович улыбнулся ей:

– Взойдем на ложе?

– Придется взойти... Ты ложись, а я сейчас...

Она вышла. Он неумело сдернул пикейное покрывало с одной постели, обнажив красивое плюшевое одеяло – белое с зелеными елками и оленями. Сбросил халат на тумбочку и лег, утонул в мягкой, холодной, пахнущей туалетным мылом, совсем непривычной среде.

«Что мне нужно? – думал он. – Мне ведь очень немного нужно. Чтоб пришел наконец из области снов белогловенький мальчишечка и чтоб рядом был самый близкий взрослый человек. Вот этот, что за стеной. Мать мальчишечки. Не таящая от меня ничего. И тогда мне море по колено... С самого детства буду учить моего малыша разбираться в красивых словах, не попадаться на их приманку, чисто смеяться и не бояться ничего. И не иметь в душе ничего такого, от чего на лицо ложится особенное, несмываемое выражение: как будто человек почуял дурной запах...»

Вдруг он как бы проснулся. Дверь была открыта. Там стояла, сияя глазами, молодая женщина в длинной ночной рубашке с розовыми бантами. На ней не было очков. Распущенные темные волосы легко шевелились на плечах.

– Кто это такой? – Он попятился в постели. – Какая-то новая! Как вас зовут?

– Ты меня не узнал?

– Леночка, Бог создал для меня не эту незнакомую красавицу, а тебя. А этой прекрасной рубашкой надо любоваться отдельно. Бабушка подарила?

Она кивнула, и оба рассмеялись.

– Сними... Для первого свидания.

– Может быть, не надо?

– Мы ведь с тобой одна плоть. Я хочу видеть тебя всю. Ты лучше, чем эта рубашка.

– Может быть, потом?

– Нет, сегодня! Сейчас!

– Хорошо... – И вышла.

Должно быть, там, за дверью, она набралась мужества – вошла спокойная, нагая. Повернулась и плотно закрыла дверь. Спина, тонкая шея и плечи у нее были как у семилетнего мальчика из интеллигентной семьи. Тем неожиданнее поразила того, кто лежал в постели, зрелая сила ее тяжеловатой женственности, тронутой чуть заметным, размытым румянцем. Еще плотнее притянув дверь, она повернулась, откинула волосы назад. Качнулась и дрогнула грудь, как две большие напряженные грозди. Почувствовав быстрый мужской взгляд, Лена безжалостно придавила их, сложив обе руки локоть к локтю, и они в ужасе, полуживые, выглянули из-под ее рук.

– Леночка! Милая, не бойся меня. Для того все это и создано, чтобы любящий, допущенный лицеизреть, воспламенился.

Они оба все время пытались шутить, чтобы отогнать неловкость.

– А ты любящий?

– Леночка, я истаял по тебе. Жизни осталось пять минут...

– И ты воспламенился?

– Погибаю! Иди!

– Придется идти, – сказала она, недоуменно пожав детскими плечами, обреченно качая головой. Это был иероглиф, адресованный только ему. Он устанавливал какой-то совсем новый контакт. – Я все-таки не могу... Погашу свет.

– Не надо! В раю же было светло.

– Окно... Закрыть бы чем-нибудь.

– Там же висит... Не надо.

– Что это? – Она уже держала в руке коробок со скрепками. – Как это сюда попало? Ты принес?

Она рассеянно подбрасывала на ладони эту коробку. Сунула в нее палец. Со страшным треском рассыпался по полу оранжевый дождь. Она замерла, держа пустую коробку в поднятой руке. Потом присела, подобрала одну скрепку, вторую... «Пик жизни!» – вспомнил Федор Иванович, мертвея от ужаса. Вдруг она задумалась, держа скрепки в горсти, медленно, все ниже опуская голову.

– Брось все! – закричал он в отчаянии. – Брось, брось! Ничего не думай!

– Почему ты так? – посмотрела, недоумевающая.

– Ты что – видела где-нибудь такие скрепки?

– Еще бы... Их у Раечки в ректорате целый склад. Есть что-то в этих скрепках. Что-то непонятное. Ладно... Веником потом подмету.

Она выпрямилась. Эти скрепки сняли всю ее застенчивость. Мгновенно она протекла к нему под одеяло, как будто прыгнула в воду с высокого берега. Федор Иванович протянул руки, но она слегка отпрянула. Вытянулась и молчала.

– Мне еще надо тебе кое-что сказать.

– Не надо. Не говори. Я все знаю.

– Что ты знаешь?

– Не надо ни о чем.

– Нет, надо. Почему-то считают некоторые, что это изъясн...

«Вот оно», – вяло подумал он, сдаваясь. Но тут же воспрянул: «Это невозможно! Нельзя, пусть будет неопределенность!»

Он зажал уши и еще шевелил пальцами в ушах – чтоб ничего не слышать. Закрыв глаза и сквозь ресницы, как бы в сумерках, все же видел, как она шевелила маленькими, детски-чистыми губами и при этом растопыренными пальцами лохматила волосы на его груди. Она исповедовалась ему в чем-то, в каком-то своем грехе. Потом подняла глаза со вздохом. Улыбнулась виновато. И вдруг заметила, что он по-настоящему, намертво закрыл уши. Смеясь, стала тормозить его, схватила обе руки, оторвала от ушей:

– Ты не слышал ничего! А ты ведь должен узнать.

Сковала обе его руки и прямо в ухо продудела:

– Ю стую дуву! – так у нее получилось. – Я старая, старая дева! Знаешь, кто я? Бледно-голубая муха-девственница, только старая. Ты разве не видишь, что я вся – длинная, прозрачная и бледно-голубая! Ну? Разве я не должна была тебя предупредить?

Вот так бывает... Он провел рукой по лицу, сгоняя мертвую шелуху долгодневного наваждения. Взор его повеселел. Он радостно улыбнулся, получила лучшая из его улыбок, и Лена, следившая за этой переменой в его лице, так и потянулась к нему.

В полночь они уже были мужем и женой. Лежа рядом с ним, она с преувеличенным вниманием рассматривала свои пальцы, и это тоже был иероглиф.

– Я ожидала большего от этого события, – сказала она. – Операция без наркоза.

Он хотел сказать нечто, но удержался. Тихо поцеловал ее.

Нечаянный ласковый смешок выдал его.

– Ты что хотел сказать? Ну-ка, выкладывай.

– Я хотел сказать: ученый всегда на посту.

– А что? И правильно.

– Не болтай чепухи, все так и должно быть. Я, например, счастлив. Наложил наконец на тебя лапу.

– Наложил, говоришь?

– Ожидания еще сбудутся.

– Ты так думаешь? Что-то интересное. Смотри покрепче держи лапу...

– Ожидания сбудутся завтра.

– Завтра – нет. Завтра у меня будет листок нетрудоспособности. Как подумаю... Придется ведь еще рожать... Мне больше нравятся наши отношения, которые предшествовали... Начиная с того утра, когда я варила кофе. Ты помнишь потенциаллу торментиллу?

– Конечно. А ты помнишь мой несчастный первый поцелуй?

– Еще бы! Чем дальше от него отхожу – тем прекраснее! Я не знаю, возможно ли это – чтобы затмило всю эту... прелюдию. Правда, одна дамка бывалая говорит, что заслоняет... Говорит, что это способно забрать власть над человеком. Будет грустно, если это затмит. Я даже не могу представить...

Утром они проснулись, взглянули друг на друга, и на них вдруг накатило веселье. Она бросилась его душить, он заорал, оба перекатились на соседнюю постель, которая так и оставалась всю ночь под пикейным покрывалом. Не каждому могут быть понятны невообразимые детские шалости молодой супружеской пары, двух первых жителей рая, сошедших с ума от счастья. Но если Бог существует, да к тому же имеет человеческий облик и способен видеть, слышать и реагировать, – ему достались редкие возможности. Он, конечно, не видел ничего – мгновенно опустил глаза. Но Он слышал, Он слышал!

Вот что дошло до Его ушей:

– Не спеши, я не могу так бегать. Сам знаешь почему. И не смотри так. Дай лучше я на тебя посмотрю. Стой, не двигайся, а я обойду. А ты ничего! Ты худощавый, это мне даже нравится. Это у тебя рана? Как страшно... Можно потрогать? Ужас! Ты лежал на поле боя с этой дыркой в груди? И никого не было? Ох, еще... Какая ра-ана... Это из-за нее ты иногда хромаешь? В общем, ты мне нравишься. Ты герой... Но дальше тебе худеть нельзя. Пошли доедать индейку.

Потом заговорил мужчина:

– Нет, индейка потом. Дай теперь я! Стой на месте! Посмотрю на тебя. Ты прекрасна! Поцелуй меня. Красавица! Это ты? Я не видел такого совершенства! Господи, неужели это моя жена! Неужели навсегда! погоди одеваться, пройдишь! Пробегишь!

– Федор Иванович, мне же тру-удно бегать. Ох, впереди еще роды!..

Я представляю себе Бога, слушающего все это. Он улыбается своей умиленной улыбкой. А может быть, и с некоторой грустью. Потому что Он передал человеку самое лучшее, чего у Него самого нет, никогда не было и не может быть. Из чего я могу заключить, что самая большая святость и ценность во всей вселенной – это чистая человеческая душа, способная вместить любовь и страдание.

Полуодевшись – он в трусах и майке, она в халатике, – молодые супруги долго сидели за столом и доедали индейку. Одну поджаристую ногу все же оставили, чтобы Федор Иванович мог днем прибежать и пообедать дома. После чая он посмотрел на часы и стал одеваться – надо

было идти на работу. Она повисла на нем, обеими руками вцепилась в его плечо и сказала, что, наверно, сегодня весь день пролежит дома на больничном листе. Он взял было веник – подмести скрепки, но Лена отобрала:

– Потом. Полежу – сама подмету.

И тут он, подумав, сказал:

– Я, пожалуй, выдам тебе свою тайну. Чтоб совесть не мучила. Эти скрепки мне подарил наш поэт.

И, виновато на нее поглядывая, рассказал ей всю историю своих страданий – про попытки ворваться к Кондакову, про тезку и шахматы, про ботинки с дырками и «сэра Пэрси», про резную старинную кровать и эти скрепки.

Лена сразу же отпустила его плечо.

– И ты поверил! Ужасно! Это совсем на тебя не похоже!

– Ты смотришь, Леночка, с позиции Белинского, который считал ревность низменным чувством. А ты с позиции бабушки посмотри. Дело было почти верное – я терял тебя. Ты же бегала к нему. В тот подъезд.

– В какой подъезд? – Она густо покраснела. – Господи! Ты видел, как я... Как ты не умер?..

– Может, и умер бы. Но перед этим я мог натворить дел.

– Как права была бабушка... «Сэра Пэрси» не смей отдавать, он мой, я его люблю. Ах, это я столько времени тебя терзала!

– И сейчас ведь продолжаешь...

Она опять тяжело повисла на нем.

– Все вижу. Ничего не выманишь. Придет время – узнаешь все.

Сам же он, между прочим, так и не открыл ей одной тайны – его и Ивана Ильича Стригалева. Тайна совсем не касалась Лены и настолько была серьезна, охраняла такие важные ценности, что он даже ни разу и не подумал о ней. Как будто ее совсем не было.

В два часа дня он прибежал на обеденный перерыв. У него теперь был свой ключ, он отпер дверь и, вешая пальто, закричал:

– Жена-а! Женка! Супруга!

В квартире было тихо. Он ворвался в первую комнату. Нет, он, оказывается, не испил еще всей своей чаши. Похоже, что она без дна. Он увидел стол, накрытый для одного человека. Около тарелки белел поставленный стоймя, согнутый пополам листок: «Обедай без меня. Я скоро приду. Целую».

Он сел около окна – ждать. Ждал сорок минут, час, полтора часа и шептал: «Этого ей не следовало бы делать».

Потом вскочил и, схватив пальто, хлопнув дверью, побежал по лестнице вниз, понесся по двору, по улице – назад, в учхоз.

В его комнате в финском домике стоял Краснов и задумчиво глядел на стоявшие перед ним на стеллаже чашки Петри и длинные узкие ящики с землей. Федор Иванович уже знал: спортсмен смотрел на чашки Петри только для виду. Он в это время втягивал и отпускал прямую кишку и считал.

– Уже пикируете в ящики? – спросил Федор Иванович.

Краснов кивнул – боялся сбиться со счета.

– Это те семена?

– Ага...

– Старик поделился?

– Пять пакетов увез, а один велел высеять.

– Блажко не видели?

– Она не пришла сегодня. Ее аспиранты искали...

Когда после работы он открыл дверь сорок седьмой квартиры, Лена – ласковая, мягкая – вышла ему навстречу:

– Почему не обедал?

– Где была?

– Позволь мне не отвечать. Позволь, хорошо? Не хочу тебе врать.

– Хорошо...

Он молчал. Она не отходила от него. У нее теперь появился, стал постоянным проникающий в душу долгий взгляд. И еще: она стала, проходя мимо него, со специальным усилием опираться, повисать на нем. Однажды, когда они вместе подошли к окну, она вдруг тяжело – специально – наступила ему на ногу. Ловя его взгляд, сказала:

– Ну улыбнись же, а то я скоро подохну. Так страшно смотришь. Улыбнись, кому говорят! Я живу от одной твоей улыбки до другой.

В этот вечер они легли рано. Наступила их вторая ночь. Долго молчали. Потом она сказала:

– Ты что, забыл, что около тебя лежит твоя любящая без памяти жена? Ну-ка поцелуй ее. Еще...

– Завиральный теоретик – вот ты кто, – сказал он, обнимая ее, и она счастливо засмеялась.

Мужчины по природе своей получают от жизни больше, чем женщины. Многие и пользуются этим преимуществом на сто процентов. А настоящий мужчина должен подняться еще на одну ступень – к сверхпреимуществу. Оно состоит в том, чтобы время от времени отказывать себе, притом в существенном. Конечно, в пользу обойденного, но скрывающего обиду друга – женщины. Не скользить легкомысленно по лугу наслаждений. В этом – сверхвысота.

Это, должно быть, закон природы. Федор Иванович ни о чем таком не думал, но стихия закона жила в нем. И среди ночи он вдруг увидел, как на ее лицо пала тень темной злобы, как плотно сошлись сердитые брови, сжались губы. В эту минуту она находилась в глубоком уединении, сама с собой. Сквозь сжатые ресницы заметила его взгляд, полный жадного и немного испуганного интереса, и, слабыми пальцами залепив его глаза, оттолкнула. Через несколько мгновений она легко засмеялась и, расцеловав его, счастливо объявила:

– Заслонило!.. Заслонило, представляешь...

С детским удивлением и с любопытством ученого встретила она приход в ее жизнь этой темной силы. И больше не расставалась с нею, с каждой ночью все больше вникая в эту страсть, и эти ночи понеслись одна за другой, непохожие, пугающе новые. Захватывали иногда и день. Так что Федор Иванович, который с невольной робостью наблюдал этот ее рост, даже стал подумывать: не наступит ли у нее теперь стадия интереса к другим мужчинам?

И был еще вечер, последняя суббота апреля. Они лежали, полуодетые, на его постели, и вдруг он почувствовал, что Лена не с ним, что ее милая, непредсказуемо разнообразная сущность, которую он так любил, куда-то улетела. И, совсем неожиданно и не таясь, Лена слегка разомкнула его объятия и посмотрела на часы.

– Тебя нет со мной, – со стоном сказал он и отвернулся.

Она бросилась его целовать.

– Ну разве я не с тобой? – Она снова и снова прижималась к нему.

– Только тело, только тело! Оболочка! – И, поглядев ей в глаза, всматриваясь, он отчетливо добавил: – Только перья! Обронила в болото перо...

– Ничего ты не понимаешь. Скажи, ты счастлив со мной?

– Не совсем...

– Но все-таки частица есть. Есть? Вот и не ставь ее на карту. Я сейчас уйду на два часа. А ты лежи. Можешь даже заснуть. И смотри не ходи за мной. Береги то, что есть. Его больше, чем ты думаешь. Ладно? Ах, я уже опоздала!

И, легко отстранив его, она спрыгнула с постели и быстро начала одеваться.

В окнах уже стояла весенняя томительная синь. Лена помахала ему и ушла. А вернулась не через два, а через четыре часа. Посмотрела ему в лицо, потемнела:

– Ладно. Я постараюсь реже ходить туда...

Это было в субботу. А в воскресенье, уйдя на полчаса в магазин, она, должно быть, услышала какой-то зов. Федор Иванович сразу это почувствовал. К вечеру тягостное чувство его усилилось, – она начала тайком поглядывать на часы и один раз в коридоре в отчаянии сплела пальцы и заломила их.

– Я прилягу, – сказал он и как бы подавил зевок. – Какая тоска – завтра опять на работу. Ложись и ты, а?

– Ты располагайся, а я немного постираю. Ложись, я скоро приду.

Он разделся и аккуратно сложил на стуле брюки, повесил ковбойку. Взяв газету, громко зашелестел ею. Опять зевнул, уронил газету и, повернувшись на бок, зарылся лицом в подушку.

«Раз ты меня продолжаешь обманывать...» – Он зажмурился, чтоб подумала, что спит. Были слышны тихие шаги в другой комнате – она подходила к двери, заглядывала. Ушла в ванную, пустила громадную струю воды. Потом по лицу его скользнуло как бы дуновение ветерка – она неслышно подходила проверить.

«Господи, это моя жена! – думал он. – Как скрытны люди! Где же берега твоей загадочной жизни? Вот сейчас ты думаешь о чем-то, а может быть, и о ком-то, только не обо мне. Но вчера – только вчера – что же это было? Вчера у тебя был всего лишь кратковременный обморок любви. И вчера ты думала не обо мне – вникала в свои временные переживания. К сожалению, этот обморок быстро проходит. И ты начинаешь смотреть на часы. Хватить бы их об пол. Нет, надо кончать с этим. – Он старался дышать тихо и мерно. – Ты попалась, попалась, дружок».

Вода в ванной тяжело гремела. Он чуть приподнял голову. Лены не было. «Наверное, уже на лестнице...» Он вскочил. Точно и быстро двигаясь, оделся, сунул ноги в тапочки. Ее не было и в коридоре. Набросив «мартина идена», он неслышно открыл наружную дверь. Далеко внизу щелкали ее быстрые каблочки. Хлопнула дверь подъезда. Оставив незапертой квартиру, он понесся вниз гигантскими скачками. Приоткрыл дверь подъезда. Лена в синей, принадлежавшей ему телогрейке, наброшенной на плечи, сквозь сумерки легко бежала через двор к тому, знакомому подъезду. Зарычала пружиной дверь. Тут Лена остановилась, посмотрела назад – на окна, на свой подъезд. И скрылась. И дверь тяжелым ударом как бы прибила этот миг, поставила точку на всем.

Он перебежал двор по сухому асфальту. С напряженной медленностью обманул пружину двери и без звука скользнул в подъезд. Ее замедленные шаги стучали наверху. «Лифт не работает», – прочитал он мельком и неслышно запрыгал по лестнице, с первой ступени на третью, на пятую, попадая в такт ее шагам. «Выясним теперь, у кого ты пропадаешь все время, – бежала рядом с ним мстительная мечта. – Потом объяснимся раз и навсегда, и ты навсегда перестанешь применять ко мне свою завиральную теорию. И у нас больше никогда не будет белых пятен. Если вообще останется что-нибудь...»

Вот и четвертый этаж, знакомая дверь с кнопками. Шаги Лены слышались выше. Федор Иванович взлетел без звука еще на этаж. У этих малиновых тапок был замечательно мягкий ход! Вот Лена остановилась, похоже, на шестом. Слышен ее приветливый голос. Ответил еще чей-то – чей-то мужской, очень молодой. Опять ее шаги. Негромко вздохнула и присосалась на место дверь, и все затихло. Федор Иванович в несколько скачков пролетел три марша. На промежуточной площадке – на подоконнике – сидела пара: девушка и желтоволосый молодой человек. Саша Жуков! Федор Иванович кивнул им. Оба запоздало соскочили с подоконника, что-то крикнули вслед. Но он уже рванул почему-то незапертую дверь, вбежал в маленькую, как у Кондакова, прихожую. Здесь был сумеречно-желтый свет, а впереди чернел зев полукот-

крытой двери. Там, в комнате, было темно. Протянулась мужская рука в черном пиджачном рукаве и закрыла эту дверь.

Федор Иванович сейчас же ее распахнул и остановился на пороге. Он ничего не видел в черном мраке, который открылся перед ним, кроме большого голубоватого светлого квадрата, на котором двигалось что-то расплывчатое. Легко трещал киноаппарат. Здесь смотрели фильм.

Федор Иванович всмотрелся. На голубоватом экране двигалось что-то вроде серых пальцев, мягко ощупывающих пространство. Потом показалось, будто две прозрачные руки совместили серые пальцы и они склеились. С трудом разорвав этот контакт, пальцы сложились в две щепоти, и прозрачные руки с мягкой грацией развели их вновь. «Чертовщина какая-то», – подумал Федор Иванович, и в этот момент аппарат умолк, движение пальцев остановилось, и экран погас.

– Товарищи! У нас чужой! – раздался молодой мужской голос. – Вон стоит, у двери.

И сразу из тьмы к нему бросилась Лена, он увидел ее очки и за ними – бегающие глаза. Уперлась обеими руками ему в грудь. Он отвел ее руки.

– Что же наши-то! Сашка для чего сидит? – возмутился кто-то. – Зажгите свет!

– Ни в коем случае! – послышался дребезжащий повелительный голосок, как будто принадлежащий очень маленькому человеку. Нельзя, не зажигайте. Он же увидит всех!

– Здравствуйте, Натан Михайлович! – сказал в темноту Федор Иванович.

Он уже понял все. Здесь тайно собиралось то самое кубло, которое академик Рядно искал и не мог найти, и они смотрели какой-то запретный научный фильм. «Это же хромосомы! Деление клетки!» – догадался он.

– Я за него ручаюсь, товарищи. – Лена повернулась к нему спиной, как бы закрывая его от всех. – Это мой муж. Мой ревнивый муж. За мной прилетел. Добегался, муженек. Это я привела за собой такой пышный хвост...

– Когда в дело вмешиваются матримониальные дела... – опять вмешался непреклонный саркастический голосок Хейфеца.

– Товарищи! Пусть он и муж нашего ученого секретаря... – послышался строгий девичий голос, – я все равно должна напомнить то, о чем мы строго условились. Чтобы ходить на наши семинары, одного поручительства мало.

– Я тоже могу поручиться, – вмешался очень знакомый тенор. И сбоку вышел из темноты приветливо улыбающийся Краснов. – Федора Ивановича у нас все знают. Федор Иванович – это Федор Иванович. Человек неподкупный, справедливый...

– А я решительно против, – послышался во тьме спокойный, как всегда угрюмый голос Стригалева. – Федор Иванович принадлежит к враждебному направлению. И вообще в этих делах формальность соблюдать не лишне.

Иван Ильич ничем не выдал своего отношения к новости, которая больно коснулась и его, и к тому же была возвещена самой Леной. Душа Федора Ивановича напряглась, слушая: не скрипнет ли что-нибудь в ржавом замке, не шевельнутся ли сувальды. Но Троллейбус как будто и не слышал откровенного заявления Лены. Помнил только о тайне, навсегда породнившей его с Федором Ивановичем. И берег ее, показывая всем, насколько он чужд неожиданному гостю и как он решительно несогласен с попытками ввести чужого в эту компанию.

– Я тоже принадлежу к враждебному направлению, – весело гнул свое Краснов. – Можно и принять.

– Мы знаем вас, – заметила строгая девица. – Условие есть условие.

– Прошу вас помнить, товарищи! – резко возвысился голос Хейфеца. – Увеличится число членов – увеличится и основа для опасений. В каждой аудитории, где больше двух человек, может находиться любитель писать доносы. Чем они руководствуются, эти добровольцы, не знаю.

«Он помнит мою ревизию, – подумал Федор Иванович. – Считает меня главным виновником всей беды».

– Действительно. Всю жизнь думаю об этом феномене природы и не могу найти ответа, – сказал кто-то вдали, явно в его адрес. – Это такой же имманентный закон, как и менделевское один к трем...

«Это кто-то с другого факультета», – подумал Федор Иванович.

– Удивительно, – жаловался детский голос Хейфеца, как бы спохватившись и постепенно затихая. – Его, может быть, здесь и нет, он, может, сидит сейчас в ресторане «Заречье» и ест осетрину под шубой... А мы вынуждены строить свою жизнь с расчетом на его присутствие. Чем он держит нас?

– Страхом, страхом, – ответил кто-то, вразумляя.

– Прошу прекратить эти разговоры. Прошу заниматься только тем, чем мы всегда занимаемся, – холодно и спокойно приказал Стригалева. Он, видимо, был здесь главным.

– Товарищи! – наконец заговорил и Федор Иванович, глядя в настороженную тьму. Ему все никак не удавалось вставить свое слово. – Товарищи! Я должен заявить следующее. Я действительно не разделяю некоторых научных концепций. И твердо стою на позициях, занимаемых академиками Трофимом Денисовичем Лысенко и Кассианом Дамиановичем Рядно. – Это он подавал сигнал Стригалева, что тоже помнит о тайне. – Я действительно принадлежу к другому направлению, но враждебности к вам не чувствую. И я торжественно клянусь вам: поскольку я не считаю ваши занятия опасными, я ничего из того, что увидел и услышал здесь, никому не передам. Ни в устной, ни в письменной форме. Ни в форме намека. Какого бы мнения ни придерживались на этот счет мои единомышленники...

– Мы знаем вас, можно было бы и не вкладывать столько огня в вашу клятву, – сказал Стригалева, давая понять Федору Ивановичу, что тот слегка сбился с нужного тона, что надо резче, четче. – Тем не менее мы не можем разрешить вам...

– Я сейчас же ухожу...

– Пусть досмотрит с нами рулончик, – проговорил кто-то с явной симпатией к Федору Ивановичу. С симпатией и с полемической ухмылкой. – Это будет ему интересно... Как ученому, стремящемуся к истине...

– Рулончик пусть досмотрит, не возражаю, – согласился Стригалева. – Федору Ивановичу повезло, это фильм-уникум. Иные доктора и академики не видели этого фильма. – И перешел на деловой тон: – Давайте тогда смотреть сначала, это и нам будет нелишне.

Вдали, как фонарик в ночном лесу, мигнула лампочка-малютка. Долго шелестела пленка – ее перематывали. Потом что-то застегнулось, что-то защелкнулось, вспыхнул яркий экран, и на нем задрожали слова английского текста. Федор Иванович напрягся – он был не очень силен в английском. Но тут Стригалева со своего места начал лекцию!

– Этот фильм, как я уже говорил, представляет собой высшее достижение современной техники микрофильмирования. С помощью тончайших приемов удалось выделить и поместить под объектив живую клетку и создать условия, при которых она могла продолжать свои естественные отправления, продолжала делиться. В нее нельзя было вводить никаких красителей, тем не менее, как вы видели, и опять сейчас... Вот, вы уже видите, структура ее ядра. Хромосомы. Вы увидите их сейчас в разных стадиях митоза... то есть деления клетки...

Федор Иванович понял: Стригалева перевел это слово специально для него. «Мог бы и не переводить, что такое митоз, я знаю», – подумал он.

– Перед нами клетка... Живая клетка амариллиса...

– Все же, по-моему, это аллиум сативум, – миролюбиво прохрустел голосок Хейфеца.

– К сожалению, начало оторвано, Натан Михайлович. Мы сейчас не сможем решить наш спор.

На экране уже началось деление клетки. Хромосомы шевелились, как клубок серых червей, потом вдруг выстроились в строгий вертикальный порядок. Вдруг удвоились – теперь это были пары. Тут же какая-то сила потащила эти пары врозь, хромосомы подчинились, обмякли, и что-то их повлекло к двум разным полюсам.

– Человеку удалось подсмотреть одну из сокровеннейших тайн, – проговорил Хейфец. – Перед нами такой же факт, как движение Земли вокруг Солнца. И столь же оспариваемый...

Федор Иванович по этому разъяснению профессора понял, что здесь сидело немало студентов, молодежи, еще стоящей на пороге науки.

– ...И если я увидел такое, меня уже не заставишь думать, что этого нет, – продолжал Хейфец. Последние его слова были адресованы явно тем, кто твердо стоит на позициях академика Рядно.

– Натан Михайлович, пожалуйста, пропаганду ведите вне этих стен, – сказал добродушно Стригалева. – Вот видите, товарищи, тут опять... Хромосомы обособились, выстроились... Готово! Произошло удвоение... Вот они расходятся, разошлись... И сразу образуется перетяжка... Уже видна, вот она. Разделила клетку на две дочерние. Получились две клетки, в каждой то же число хромосом, какое было в начале процесса. Останови, пожалуйста, аппарат. Свет не зажигаю.

Экран погас. Стригалева помедлил, как бы собираясь с силами.

– Теперь, товарищи, вам покажут главное, ради чего мы бились, доставали этот фильм. Достать его было нелегко, слишком много заявок, а рулончик один...

«Кубло, – подумал Федор Иванович. – У них есть еще кто-то повыше, кто принимает заявки!»

– До сих пор вы видели здесь нормальное деление клетки. Как она делится, живя в нормальных условиях обитания. Без привходящих аномалий. Вы это уже знали по теории, видели в учебниках. А сейчас будет такое, чего вы нигде не увидите. Пока... Кроме этой комнаты. В процесс деления вмешивается внешний фактор. В одних случаях это бывает температурный шок, в других – активная частица солнечного света... Или, скажем, химический фактор вторгнется. В нашем случае именно он вторгается в делящуюся клетку. Очень слабый раствор колхицина. Этот алкалоид содержится в луковицах колхикума аутомнале. Надо привыкать к латыни, это безвременник осенний. Мы о нем уже говорили. Не синтетическое какое-нибудь вещество, а естественный продукт, поставляемый самой природой. Пожалуйста, давай фильм...

Экран ярко вспыхнул. В центре его ясно обособленная клетка начинала делиться.

– Вот она нормально делится, – как бы недовольно звучал голос Стригалева. – Вот приливается раствор колхицина. Уже заметно: видите, хромосомы почувствовали, если можно так сказать. Реагируют. Видите, какие стали движения... Не тот порядок, верно? Но ничего. Разошлись все-таки, а вот и перетяжка. С грехом пополам, но образовалась. Две нормальные клетки. Правда, нормальные ли они, это еще неизвестно. О тонких изменениях мы еще поговорим в будущем. Но так, внешне, вы видите, получились две жизнеспособные клетки. С тем же числом хромосом в каждой. Значит, раствор был слишком слаб. Вот еще клетка. Делится, делится, видите? Приливается опять колхицин. Уже покрепче, сразу видно. Перетяжка – пошла, пошла... Смотрите, что с нею делается! Рвется, тает! Так и не разделила... Вот и клетка успокоилась. Каждому видно – получился гигант. Было восемь – стало шестнадцать хромосом. Если бы окрасить, можно бы и точно сосчитать все до одной. Но мы с вами уже и окрашивали, и считали. Вот еще одна клетка делится. Опять... То же самое, сейчас получится двойная клетка. Уже! Видите, как отчетливо! Вот так мы получаем полиплоидные клетки, из которых развиваются потом наши картошки с новыми свойствами. Вот еще одна – видите, как точно все! Наверно, один и тот же процент алкалоида в растворе. Мотайте, ребята, на ус. Теперь, когда будете в учхозе проращивать семена или когда будете наблюдать, как ваше растение развивается, закрывайте иногда глаза. Чтоб перед вами эта картина вставала. Чтобы знать, что вы

делаете. Чтоб не верить на слово профессору, а знать, только знать. Как требует один большой ученый... очень оригинально мыслящий... Во-от... Вот тут показано сейчас будет, что получается... Видите – прилили колхицин, и пошло, пошло. Сейчас хромосомы начнут разваливаться на кусочки. Видите, кутерьма пошла какая... Это уже смерть. Тут уже никаких новых клеток не получите. Здесь была превышена критическая концентрация. Тонкость нужна, товарищи! Тонкость! Сотые доли процента.

Все это время Лена стояла рядом с Федором Ивановичем, держала его за руку. Когда экран опять погас, она шепнула ему в полной темноте:

– Уходи. Жди меня около «Культтоваров».

И он, кратко поблагодарив всех и извинившись за вторжение, вышел. Минут через сорок на тротуаре Лена чуть не сшибла его, внезапно налетев сзади:

– Ну что, узнал? Узнал теперь, к кому я бегаю? Прекратил свое инобытие?

– А ты – оценила наконец мой подвиг?

– Господи! Он в тапочках! Неужели так серьезно! – И она потащила его во двор, домой.

Пока лифт плыл, они молчали, и объятие их было, пожалуй, самым крепким за все время их любви, отчаянно-слитным, горьковатым. Лифт остановился, а они стояли, обнявшись и закрыв глаза.

– Что ж мы стоим? – спросила наконец Лена. И они вышли. – Смотри, дверь! Даже дверь оставил!

– Это я, моя работа, – сказал он. – Это я был в состоянии наивысшего инобытия.

– Ох, там же льется вода! – спохватилась она. И побежала в ванную закрывать кран.

Когда сели за стол пить чай и выпили уже по чашке, Федор Иванович сказал ей:

– Мы будем каждый год отмечать с тобой день свадьбы. Надо будет всегда считать именно этот день. Двадцать девятое апреля. День, когда мы покончили наконец со всеми тайнами.

– Со всеми? – Она чисто, ясно посмотрела на него через очки. У нее даже очки умели говорить.

– У меня еще осталась одна.

– Женщина в ней не участвует?

– Только один-единственный человек, мужчина. Тайна вроде твоей. Почти копия.

– Надеюсь, этот мужчина не Касьян Демьяныч?

– Леночка, не бойся. Нет.

– Тогда оставь тайну при себе. Не хочу вникать. Ради прочности гнезда. У меня уже действует инстинкт воробьи. Вот ты вник – думаешь, лучше сделал? Груз новый взял на себя. Как было хорошо, когда не было... И мне было лучше. Что ж, хочешь нести – неси. Только нам обоим тяжелее будет от этого. Оттого, что он у нас с тобой стал общий...

– Почему? Не понимаю...

– Не понимаешь? – Она придвинулась, налегла ему на плечо, стала тяжело смотреть сквозь очки, как будто прощаясь. Вдохнула. – Сейчас поймешь. Ты слышал, что сказал Натан Михайлович? Увеличилась основа для опасений. Пока ты не появился у нас, ты был вне подозрений. У нас же все что-то предчувствуют. И каждый смотрит на соседа с опаской. А настоящий опасный действительно осетрину, может, ест где-нибудь. А Хейфец наш каждого подозревает. Тебя, конечно, в первую очередь.

– Теперь и тебя будут...

– Естественно. – Она улыбнулась. – Скажи, ты ради своей тайны заявил, что твердо стоишь на позициях?

– Только ради нее.

– Получилось натурально. Ты умеешь. Так натурально, с силой, что я даже испугалась.

– Леночка! Там же торчал этот... Соглядатай академика Рядно!

– Ты о ком?

– Да о Краснове же! С Тумановой ты дружишь? Это же тот, о ком она говорит «мой подлец». Или «сволочь порядочная». Он же все время в ректорате около Варичева да около Касьяна отирается!

– Ты вроде наших, заразился. Краснова я не идеализирую. Но ничего такого за ним мы пока не замечали. Он уже полгода у нас... Мы его проверяли, проверяли...

– Полгода! Да вы у Касьяна в кармане все! Я правильно заявил о своей твердости. Еще слабовато, надо было четче. Он уже наверняка доложил Касьяну о моем появлении у вас.

– Ты не прав. Что он, как ты говоришь, отирается, так это, знаешь, был такой святой Себастьян. Он тоже отирался. В стане язычников.

– Это он тебе рассказал?

– Ну да, он. Ну и что?

– Это же он у Тумановой этот исторический пример... Бросил инвалидом и ходит к ней. Деньги кланчит. Ты спроси, где у него стан язычников – у вас или там.

– Спросили уже. Он отвечает: конечно там. Оснований не верить пока не было.

– Не было? Ничего, появятся еще! Увидите тогда, что такое слепая вера. Вспомните меня.

– Без риска ничего бы не случилось. – Она легко засмеялась и положила руку на его костистое запястье.

Поздно вечером он сказал ей:

– Теперь я побегу. По своей тайне.

– Возвращайся поскорей. – Она обняла его. – А то я побегу по твоему следу.

Он гибким и очень быстрым – новым для себя – шагом с легкой хромотой проскользнул по улице к мосту, перебежал его, свернул на тропку, что вела к трубам, и еще через три минуты позвонил у темной калитки Стригалева. Хозяин сразу вышел. Приветливо что-то промычал, потащил пить чай.

– Нет, нет, – уперся Федор Иванович. – Вот сюда пойдете, где чисто, где нет ни стен, ни кустов. Вот сюда.

Они вышли в поле.

– Иван Ильич! Я вас со всей решительностью... предупреждаю, – быстро заговорил Федор Иванович. – Я даже бежал. Я видел у вас Краснова. Он у вас уже полгода! Когда Рядно посылал меня к вам, он говорил, что в институте есть подпольное кубло. Откуда мог узнать? Он хвалил мне Краснова!

– Если бы Краснов нас продал, нас давно бы... – перебил Стригалев. – Рядно не имеет в руках фактов.

– Он говорил, что Краснов у него свой!

– Мы все у него были свои. Кроме двух-трех... Открытых не своих он давно...

– Он же страшная личность! Весь кривой... Он же родителей... отца и мать родных... Он Бревешков!

– Да, я слышал об этой истории.

Федор Иванович чувствовал, что простые ответы Ивана Ильича, а главное, его спокойная позиция – все это действует на него. Тревога его не то чтобы оседала – в ней исчезала убеждающая сила.

– Как он к вам втерся? – спросил он.

– У Тумановой мы встречались. Там обстановка была... благоприятная... Вот мы и присмотрелись. Я вижу, вы сами не очень уверены. Уже остыли...

– Это грохот мыслей заглушил.

– О чем вы?

– Есть такая штука. Отдаленный голос. Если привыкнешь его слушать...

– Это что – теория?

– Скорее, практика. Наблюдение. Факт.

– Вы не беспокойтесь, Федор Иванович. Мы подпустили его к себе не сразу.
– Вот спросите у Тумановой, чья была инициатива. Пусть вспомнит.
– Видите, если я начну сейчас принимать меры, никто мне не поверит. Но я чувствую, здесь чем-то пахнет. – Стригалева смотрел в сторону, ерошил волосы. – В общем, будем приглядываться...

На следующий день Федор Иванович и Лена пошли на работу порознь. Так решили оба. Тайна Федора Ивановича и ее тайна требовали этого. «Святой Себастьян... – шептал Федор Иванович, шагая. – Пролез! Ух ты какая, оказывается, тварь!»

Все же шевелились и сомнения. Ведь могло быть и так, что Краснов познакомился с фактами настоящей науки, почувствовал вкус к истине и перешел в этот лагерь. Такие факты, как этот фильм, кого хочешь убедят. И если человек что-нибудь соображает, он должен бы понять, что окончательная победа будет за этим направлением. А поскольку он наверняка равнодушен к дорогим костюмам и любит быть в списках на получение, значит и другое должен видеть: вся выгода достанется победителю. Рано или поздно.

«В том-то и дело. Все в этом. Рано или поздно... – подумал он о Краснове. – Альпинист уверен, что это произойдет слишком поздно, когда костюмы будут не нужны».

В финском домике в его комнате на столе лежал серый мяч Краснова. Сам Ким Савельевич стоял среди стеллажей, у окна. Ящики со своими растениями он устроил на самое лучшее место и каждый день по несколько раз приходил любоваться ростками.

– Привет! – сказал Федор Иванович.

После ответного восклицания, бодро прозвеневшего среди стеллажей, он коварно замолчал и подошел к ящикам.

– Ага, семена-то наши! Настоящий лист выкидывают! Та-ак, и здесь пошел листок... Смотри-ка, дружно! Хорошо перезимовали... – Он слегка мучил Краснова, которому не терпелось заговорить о вчерашнем.

– Как вам вчерашний рулончик? – спросил наконец Ким.

– Я чувствую, ты попался на эту фальшивку.

Спортсмен выглянул из-за ящиков с веселой зеленью, внимательно посмотрел на него и ничего не сказал. «Кажется, я перехватил», – подумал Федор Иванович.

– Первые кадры, где простое деление, конечно, чистая натура, – продолжал он. – Надо сказать, ловко сделано. А с колхицином фальшивка. Эти англичане просто подогревали препарат.

– А клетка? С удвоенным набором хромосом...

– Она нежизнеспособна...

– Как же... А у Троллейбуса? Вон у нас на стеллажах. А вот в ящике, из этих семян?..

– Вижу, научился кое-чему. Ты, по-моему, давно у них?

Ким уклонился от ответа.

– Вам и так верят, – сказал он после долгой паузы, во время которой обстоятельно, серьезно он думал черт знает о чем. – Так что клятва ваша была ни к чему. Она только настаживает.

– Ты думаешь? Заметил что-нибудь?

– Перегнули. Хейфец шушукался со студентами – сразу замолчал. Могу, между прочим, организовать и третью рекомендацию. Походить к ним стоит. Там бывают интересные вещи...

«Ловит», – подумал Федор Иванович.

– Вас кто послал? Рядно? – спросил Краснов, не отрывая взгляда от своих растений.

– Нет, от себя.

– Ну да, кто послал, вы не скажете. Ревнивый муж – это у вас получилось похоже...

«Ловит, ловит, – подумал Федор Иванович. – Но на чьей он стороне?»

– Я действительно ревнивый муж, – заметил он. – Но тебя-то я не ожидал там встретить. – Он сделал глупо-восхищенное лицо. – Наш-то шеф! Смотри какой старик хитрый. Тебе он тоже ничего про меня не говорил?

– Не говорил. То есть кое-что, конечно, говорил...

«Ага!» – подумал Федор Иванович.

– Ну, кое-что он и мне про тебя... А про то, что и я там буду, – это он тебе говорил?

– Про это не говорил. А про меня что?

– Так мы с тобой далеко зайдем. Что тебе про меня, что мне про тебя – давай оставим это. Старик не любит. Но информация у шефа на высоте!

– Шеф у нас еще тот! – сказал Краснов, несколько разочарованный беседой. – И сотрудники у него... Умеет кадры выбирать!..

– Хо-хо-хо! – хохотнул Федор Иванович, даже не улыбнувшись.

III

В следующее воскресенье – это был уже шестой день мая, – солнечным утром, Лена раскладывала в пробирки для своих мух свежесваренный кисель. За распахнутой дверью мелькал ее мелкопестренький, узко перехваченный в поясе домашний халатик; Федор Иванович в трусах и майке лежал на постели, полуоткинув одеяло, и шелестел газетой. Из-за газеты он все время посматривал – любовался Леной. Она чувствовала его взгляд, и в ее движениях ласковыми волнами пробегали тайные иероглифы. И он все это читал. И она понимала, что газета шелестит вовсе не потому, что ее мужа так уж интересуется пахнувший керосином текст.

– Что происходит с нашими девчонками? – заговорила она вдруг. – Совсем с ума сошли. Ты слушаешь меня?

– Конечно! Я тебя всегда слушаю.

– Девчонки, говорю, наши. Все время кого-нибудь выдают замуж! Шамкову принялись сватать. А полгода назад на меня напали. Новый парень тогда появился у механиков. Гена. Или Валера, не помню. «Так он же темнота!» – говорю им. «Не такая уж темнота, ремесленное кончил». – «Так он же моложе меня на шесть лет! От него пахнет водкой!» – «Дурочка, она еще рассуждает. Брать надо, брать!» Это, значит, я должна была еще ловить его, а они собирались загонять мужа мне в сети!

– Давай продолжай уж... – Федор Иванович отложил газету.

– Вчера пристали: «Это у тебя обручальное?» – «А как же, – говорю. – Я уже полмесяца в брачном полете». – «Врешь! А где свадьба? Мы тебя не пропивали!» Я говорю: «Свадьбу буду праздновать вместе с крестинами». Фату я, конечно, никогда не надену. А небольшое пропивание придется устроить, а? Для самых близких. Закончится учебный год, тут и устроим.

Федор Иванович был согласен. И они замолчали. И Лена опять занялась мушками.

– Нет, я так бы и осталась мухой-девственницей, – вдруг заговорила она, – если бы не встретила тебя. И за тебя я не просто так высочила. Имей в виду. Не просто, а потому что ты – Федор Иванович. Ты еще Федор Иванович?

В этом последнем вопросе и была вся суть начатого ею разговора. Гибельная суть. Он мгновенно понял это.

Дня три назад в поведении Лены чуть проступил новый тонкий оттенок. Этот рубеж обозначился вечером. Кто-то позвонил, Федор Иванович открыл дверь и увидел худенького юношу в неопределенном вислом сером полупальто. Почти мальчик, с вихрами коротко стриженных волос, бледный, должно быть студент, стрельнул в него строгими глазами, помолчал и спросил Елену Владимировну. Федор Иванович хотел было пригласить его в коридор и позвать Лену, но она сама, слегка оттеснив его, продвинулась в дверь и, взяв юношу за руку, провела его в большую комнату. Федор Иванович шел сзади. Юноша оглядывался на него, не решаясь пере-

дать Лене письмо, которое уже достал из кармана. Лена подняла на Федора Ивановича глаза. «Неужели не догадываешься?» – сказал ее приказывающий жест, и он, пройдя в спальню, тихо прикрыл за собой дверь.

Он сидел на своей постели в темной от поздних сумерек спальне и смотрел на яркую щель в двери. И это тянулось, наверно, минут сорок. Потом дверь приоткрылась, в нее проскользнула Лена, протянула руку:

– Карандаш, карандаш дай скорее...

Федор Иванович дал ей свой карандаш, и она сейчас же скрылась. Она все время заботилась о том, чтобы дверь была закрыта и чтобы он не увидел того, что делалось в большой комнате. Но во время ее ловких предусмотрительных манипуляций с дверью внимание Федора Ивановича за долю секунды произвело моментальный снимок: посреди комнаты в море электрического света стоит незнакомый юноша, растопырив руки, распахнув обе полы своего короткого пальто, и там на специально прошитой подкладке рядами блестят стеклянные пробирки, заткнутые комками ваты. Этого снимка и всех осторожных движений Лены было достаточно. Федор Иванович сразу понял, что Лена снабдила своими мухами присланного откуда-то смелого, преданного делу ходока. Видимо, где-то в другом городе было еще одно «кубло», менее обеспеченное, нуждающееся в помощи.

Он ни слова не сказал Лене об этом своем открытии. Но впервые заметил: в речах ее появилась настороженная обдуманность. Появилась – и уже не исчезала. И их обоих понесло куда-то чуть заметным течением.

– Конечно, я знаю, – вдруг сказала она в это же воскресенье, но часа на три позднее. Значит, держала это все время в голове! – Я знаю, – сказала она, – что ты – это ты... Ведь иначе и быть не может, правда? Характер у тебя такой: ты ищешь истину. И признаешь только ее. По-моему, никому не своротить тебя с этой дороги. Так? «Куда это я должен свернуть? – спросишь сразу. – Покажите, куда нужно сворачивать. Куда и зачем? Представьте мне ваши соображения. Докажите!» Так ведь? Но вот я все же... – она мучительно потупилась, – все же я... никак не пойму. Зачем тебе твой Касьян? Белые одежды свои ты прикрыл, это хорошо. Но зачем ты должен, как ты говоришь, отираться там среди дураков и подлых душонок? Вот я... Ну и я немножко маскируюсь. Но я же иду своей дорогой...

– А куда идешь – знаешь? – не удержался, спросил Федор Иванович. Сейчас он был близок к тому, чтобы открыть ей всю свою тайну. «Надо будет поговорить с Иваном Ильичом. Надо ей открыть», – подумал он.

– У тебя такие крылья, Федька. Почему не летишь?

– А почему ты считаешь, что у тебя есть право требовать, чтоб у меня был какой-то полет? – спросил он, крепко держа себя в руках, потому что она все время трогала ручку запретной двери.

– Есть право. Если я доросла до того, чтобы понять этот полет, и если есть уже такие люди, что летят, то я могу, имею право требовать полета и от тебя. И ожидать.

– А если это невозможно?

– Тогда может быть плохо...

– А знаешь, это вовсе не обязательно, чтобы ты видела, как я лечу. Лоэнгрин помнишь? «Лишь имя в тайне должен он хранить» – эти слова помнишь? А как имя откроется, Лоэнгрин уже не будет. Ты этого хочешь?

– Тут Лоэнгрин, там святой Себастьян... Можно даже запутаться... – И она неуверенно, по-чужому хихикнула.

– Ты уже путать начала меня с этим... с этим...

– Сам говорил, что нужно знать, а не верить. Вот я и хочу... Мне кажется, что ты слишком преуспел в деле мимикрии. У белого медведя только и есть одно, что выделяется на фоне снега, – черный нос. А ты и его лапой закрыл. Как же я увижу, где снег, а где медведь?

– Так это он когда к тюленю крадется...

– А вдруг этот тюлень – я? Мы все там тюленями себя чувствуем...

– Ленка! – Он бросился к ней, обнял.

Она смело глядела на него сквозь большие очки.

– Он говорит, что ты – правая рука Касьяна. Незаменимая.

– И ты веришь?

– Федька! Для чего ты связываешься с ними? Что тебе там надо? На что тебе эта должность? Они же тебя покупают! А может, и купили уже, а ты еще не видишь сам. Лоэнгрин – это у тебя самооправдание, ты чувствуешь зло в себе и стараешься замаскироваться добром! Сам для себя. Мне со стороны виднее. Вот так и происходят почетные капитуляции... Давай уедем из этого города!

Они оба старались разбить стену непонимания, а она поднималась все выше.

– Уедем, а? – Лена делала последнюю попытку спасти себя и его. – Будем где-нибудь на сортоиспытательной станции. Будем ходить в телогреечках в стеганых. И никто не будет знать, что под этими телогреечками прячется самая большая, самая верная... вот это самое слово... которое любит темноту, тайну и иносказание...

– А ты сможешь оставить своих?

– Свое кубло, хочешь сказать? – Она замолчала, увядая. – Конечно нет. Не оставлю.

– Кубло... Я этого слова, по-моему, тебе не говорил. Это слово тебе кто-то сказал. Я, кажется, догадываюсь. Ты знаешь, чье это слово?

– Слушай, правая рука! Неужели можно позволить, чтобы по милости твоего Касьяна научная мысль годами стояла на месте! Это же немыслимо, чтобы никого не нашлось, кто мог бы взять на себя риск сохранения истины, сделанных находок, позволяющих науке удержаться на плаву. Ведь рано или поздно откроются, откроются же глаза! И что мы тогда увидим? Грандиозное пепелище! Отставание страшное! Как можно – знать, быть ученым, иметь возможность – и ничего не сделать!

– Ты меня хочешь образумить! – закричал он. – Я же это самое и делаю!

– Ладно, делай. А этот твой... альгвазил. Этому что надо от тебя?

– Ты о ком?

– Да этот же, рыжий. В крапинах! Тебя видят с ним на улице. Беседуете.

– Это один мой... давний мой оппонент по вопросам нравственности...

– Не трать усилий, я знаю, кто он. Вот и ты виляешь и врешь. Скажешь, нет?

– Я тебе могу все подробно рассказать.

Она согласилась выслушать и не освобождаясь из его объятий, но, напряженная, молчала минут двадцать, пока он ей рассказывал все о полковнике Свешникове.

– Я чувствую, Лена, сам: дело здесь не простое. Он или ходит вокруг меня, что-то учуял... То самое, что я тебе хотел бы рассказать, но пока не могу. Или он тоже признает только истину и ищет ее. И может быть, надеется, что я освещу ему что-то. Такое в истории бывало. Я осторожно пытаюсь осветить...

– Да?

– Да...

– Ты меня, пожалуйста, ни на кого не меняй. И ни на что. Ладно?

– Ленка! Ну что ты здесь мне...

– Потому что если это произойдет... Я не верю, чтоб... Но если вдруг... Я не буду жить! Ни одного часа! Ты представляешь, что получится? Получится, что я любила не тебя, а образ, то, чего нет... – в ее голосе нарастал высокий звон. – Я без этого образа уже не смогу. Я уйду к нему. В эфир.

Тут напряжение покинуло ее. Она повисла на нем и горько, тихо заплакала.

– Ну тебе кто-то и нагудел же про меня, – сказал он, перебирая сплетение мягких темных кос на ее затылке.

– Все гудят. Ох, если бы можно было выплакать все...

Вечером он водил ее в кино. Потом гуляли по длинному бульвару, пахнущему весной. Мирно и тихо беседовали. После чая легли спать. Они были опять ласковыми супругами, даже истосковавшимися. Но в объятиях их сквозил все время как бы горький дымок. И Лена, глядя в сторону, вдруг сказала, будто самой себе:

– Да... Не правы те...

– Кто не прав? Почему? – Он приник к ней.

– Так, пустяки.

Лена повернула к нему угасшие, больные глаза.

– Дамка не права. Которая говорит, что заслоняет. Что может даже забрать власть. Заслоняет, но, к сожалению, Федя, не все. Когда начнется такое, как у нас...

Неведомое течение все так же несло их куда-то.

Ночью он проснулся. Было около трех. Окно чуть синело – это еще была чуть заметная синь глубокой ночи. «Почему это я проснулся?» – подумал Федор Иванович. Лена спала, как всегда, на его постели, лежала в том же своем дневном жесте – словно повиснув на его плече.

И вдруг он услышал настойчивое, часто повторяемое сипенье звонка. Три раза мягко, но сильно ударили в дверь. И опять прерывисто засипел звонок. Федор Иванович осторожно снял руку Лены с плеча и босиком, неслышно ступая, прошел в соседнюю комнату. Тут, как ветер, мимо него в полутьме пронеслась Лена, запахивая халатик.

– Я открою, – приказала шепотом. – Стой здесь.

Она открыла входную дверь и закрыла ее за собой. Там, на лестничной площадке, кто-то быстро, горячо защебетал. «Ка-ак!» – воскликнула Лена, а кто-то в ответ опять, еще быстрее испуганно защебетал. Потом дверь хлопнула. Федор Иванович зажег свет. Схватившись рукой за голову, вошла Лена. Остановилась, глядя в стену.

– Сашу Жукова арестовали... – Бросила на него быстрый взгляд. – С пленкой захватили. Отвозил в Москву этот ролик. Под курткой...

Они сели оба за стол. Лена не смотрела на него.

– Сашу! Арестовали! Такого мальчика... Бедный отец! – Перекосив губы, она судорожно вздохнула. Пресекла плач.

– Куда Саша вез?..

Нельзя было этого спрашивать. Облитая слезами, она твердо взглянула на него:

– Позволь мне не говорить – куда...

Федор Иванович опустил глаза.

– Ты видишь обстановку? Неужели не видишь? – почти простонала она. – Ох, я ведь чувала, чем кончится эта любовь между моим мужем и этим osobистом. Ведь целый год ничего не было, пока ты... Вот что: ты сиди дома, никуда не уходи. А я сейчас... Я скоро вернусь, и мы поговорим.

Она быстро, резкими движениями оделась и хлопнула дверью. Вернулась часа через полтора. Синева за окнами уже сильно смягчилась. Он все так же сидел за столом.

– Продолжим наш разговор. – Уронив синюю телогрейку на пол, она села рядом, накрыв обе его руки на столе своими – маленькими, шершавыми, дрожащими. За очками горели решимость и боль. Долго, загадочно молчала.

– Я готов, – сказал он. – Говори.

– Сейчас. Я слушаю отдаленный голос. Он говорит, что ты – тот самый, кем я тебя всегда считала. Сейчас я вижу только тебя и не верю тому, чего наслушалась. Но грохот мыслей слишком велик. Боюсь, что мне не устоять. Ты же знаешь, что у нас за кубло... Ты слушай, не перебивай! Вот нас, допустим, двадцать человек. Увидел бы их, когда Иван Ильич показывает

интересный препарат. Я всегда смотрю. Взъерошенные все, пальцы кто прикусил, кто в волосы запустил. Прямо видно, как зреет мысль. Это же смена! Будущее!

Она остановилась и долго смотрела на него. Он молчал.

– Ты знаешь, что будет завтра? Завтра твоего дурака, порождение массового безумия... твоего трухлявого идола швырнут на свалку, и он будет там лежать, моргать... Как дохлая кошка. А вонища еще на долгие годы протянется. На всю Вселенную. Диссертации будут писать... Об особенностях человеческих сообществ. И нас в пример... Он же всех профессоров... Ты же видел приказы министра! Видел в ректорате? Несколько лет студентов во всех вузах учил галиматье! Кто будет завтра настоящую науку преподавать? Некому! Некому! Тут мы и объявимся, – ну разве ты не понимаешь, как это важно? Двадцать человек по сорок студентов возьмут – это же будет почти тысяча!

– Зачем ты мне все это? Зачем агитируешь? Леночка!

– Постой. Разве ты не видишь, что твой Рядно обманывает лучшие чувства людей? Это же невиданное зло! Народный академик... Косоворотка, сапоги... Не поверить-то этому нельзя, этим сапогам в дегте. Этому народному акценту. Никто еще так не перекрашивался... Как не поверить!..

– Вот так и не поверить! Ничему! И в первую очередь акценту и сапогам, намазанным дегтем. И всяческим обрядам... Хлебу с солью...

– Да перестань! – закричала она. – Пока молодой научится знать, он тысячу раз помолится на эти сапоги. Тысячу раз Касьян сварит из него свою галушку, ни на что не годную. Тут и знание не спасет, так устроена жизнь! Дети, дети предшествуют взрослым, и зло прежде всего сюда, сюда! Все, кто обманывается, все хотят ведь прекрасной жизни для всех. Кто не хочет, тому и обманываться незачем!.. Так что мы должны делать? Что мы должны делать?

– Спасать...

– А что входит в это спасение? Тройная... нет, удесятеренная чуткость. Осторожность! Ведь вот же кто-то... Каин, гадина... Нераспознаваемый! Нового типа! С кукишем вместо сердца... Это, конечно, не ты... Но все говорят же, говорят! И если ты... Не слушай меня сейчас! Сегодня я буду немыслимое... Если ты, я убью и тебя, и себя. – Шепнув это, она уткнулась ему в грудь, вцепилась в майку, затряслась. – Я сделаю это... В поисках глотка воздуха. И сама улечу вместе с тобой.

Они надолго замолчали. Федор Иванович осторожно обнимал ее. Она о чем-то думала, пыталась намотать его майку на кулачок.

– Даже если ты обыкновенная шляпа, все равно это уже будешь не ты. Ты не шляпа.

– Леночка... Я не шляпа, но я обыкновенный. Не идеал.

– Ты мне не нужен, если ты не идеал! – прошептала она, шмыгнув.

– Ну, ты, может быть, найдешь настоящий идеал... Я тебя к нему отпущу. Иди. Я в этом случае даже постараюсь не страдать.

– Не будешь страдать? – Она подняла на него слепые, полные слез глаза. – Не будешь?

– Ле-еночка! Ты не понимаешь, о чем я. Ты не найдешь лучшего, чем я.

– Да, я знаю, что не найду. Мне даже сейчас хочется тебя поцеловать. Закрыть от всех. Но Саша!.. Сашу забрали! Знаешь, я тебе все-таки объявлю временный развод. Временный – можно? Давай, Феденька... Обоюдно решим... Пока не получу опровержения. Хотя куда уж тут опровергать! Ничего, потерпим. Ведь опровержение – я его получу? Здесь будешь жить, в этой комнате.

– Хорошо. Давай попробуем так. Кольцо я могу у себя?..

– Кольца снимем. Символически. Твое пусть у тебя... Сегодня и перетащишь сюда постель. И поменьше общения. Тихий перерыв.

«Ах, бабушки, бабушки нет...» – подумал он.

– По-моему... Лучше, может... Я лучше вернусь тогда в свою конуру? – тихо сказал он, как мог безразличнее, деловым, убитым тоном. – Тем более что и чемодан мой там...

– Может быть, так даже будет лучше, – согласилась она. – Ко мне ведь могут зайти. После того, что получилось, мы не имеем права быть счастливыми. Ни ты, ни я...

Торопливо оделся, надел пальто. Посмотрел на Лену. Хотел поцеловать, но она шагнула назад. И он ушел, тихо закрыл за собой дверь.

Он медленно шел в расстегнутом пальто по пустынной улице, и его окружал холодный, влажный рассвет, самый крепкий сон города. Он опять был без дома и без семьи. Шел медленно и еще больше замедлял шаги, ожидая, что она налетит сзади, ударит всем телом и, плача, потащит назад. Так он прошел всю улицу, парк, доплелся до своей холостяцкой обители. Пустая комната враждебно встретила его. Он поискал папирос – не нашел. Поднялся было, чтоб выйти, стрельнуть курева у кого-нибудь. Покачал головой и сел на место.

– Ах-х! – громко вздохнул он и, кривя лицо, зажмурился, замотал головой. – Ах-х!

Он был как солдат, когда, уходя воевать, тот оторвет наконец от себя плачущую любимую жену. Федор Иванович видел много таких солдат. Вот так же они плакали и вздыхали в своем товарном вагоне. Каждый – отвернувшись от товарищей.

«Свободен буду теперь, – шептал он. – Верно она сказала: мы не имеем права на счастье. Сегодня же явлюсь к Стригалеву, все ему расскажу и отныне – прощай личное. Будем действительно двойниками. И в деле, и в личной жизни».

Да, вот и пришли эти дни. Пора рассчитывать за все беды, которые он принес людям за всю свою жизнь, полную ошибок, детской веры и кривых дорог, казавшихся прямыми. Эта мысль, отрезвив и охладив его, даже обрадовала. «Буду свободен теперь для дела. Для искупления, – думал он. – Для дел совести».

* * *

Придя в учхоз, он сначала не заметил никаких перемен в оранжерее. Он подумал, что пришел до срока, раньше всех, и принялся выставлять на стеллажах горшки – для пикирования туда подросших сеянцев. Выставил горшки и на стеллаже Лены.

– Федор Иванович! Трудимся? – крикнул ему Ходеряхин со своего места. И помахал ликующим кулаком.

– Блажко еще не приходила? – спросил он.

– Не-е! – закричал Ходеряхин. – Сегодня все что-то... Как сговорились.

«Может, ищет меня там?» – Федор Иванович побежал в финский домик. В его комнате стояла тишина. В двух других трудились над чашками Петри лаборантки. Краснов еще не пришел. «Все-таки, наверно, пора бы и ему о работе вспомнить», – подумал Федор Иванович и, взглянув на часы, онемел – было уже одиннадцать. Ничего не понимая, встревоженный, он вернулся в оранжерею. Вскоре из финского домика перебежала в оранжерею девушка в синем халатике:

– Вас просят к телефону.

Он опять понесся в домик. Раечка из ректората сказала: «Петр Леонидыч приглашает вас к половине второго. И Ходеряхину передайте».

В начале второго он уже сидел в полной народа приемной. Тут толпились профессора и преподаватели, возбужденный Ходеряхин все время вставал со стула и садился. Полный ужаса Вонлярлярский мешком сидел на стуле и озирался. Он что-то знал. Анна Богумиловна, колыхаясь и наклоняя голову к красным бусам, басистым шепотом что-то уже передавала соседям. Их всех словно ударило электрической искрой. Наконец дошло и до Федора Ивановича:

– Арестовали... Целую группу. Организованную. Связи с другими городами... Утром. Хейфец тоже взят. И Краснов, Краснов! Кто бы мог подумать! Стригалева на квартире не

нашли, кинулись на вокзал. Еле успели, уже в поезд садился. Пленку куда-то вез. И Блажко с ним, была у них ученый секретарь. Все было поставлено как полагается, чин чинарем. Расписание, лекции...

Через несколько минут вся приемная уже знала невероятную новость. Стоял нервный, напряженный ропот. И он сразу стих, когда высокая кожаная дверь кабинета открылась.

– Петр Леонидович просит... – сказала Раечка, улыбнулась несколькими знакомым и отошла в сторону, уступая дорогу.

Гудящая толпа пронесла Федора Ивановича через дверь. В просторном и светлом кабинете ректора за большим столом сидел Варичев, сгорбясь и играя карандашом между двумя пальцами, как папиросой. Под узкими, почти закрытыми глазами его висели мешки, и точно такие мешки висели в других местах лица – как глазки у большой картофелины. Ректор шевелил молодыми широкими губами, роняя тихие слова – то направо, то налево – окружавшим его за этим столом вполосенным деканам, заместителям и профессорам. Там же, около Варичева, стоял незнакомец с женским выражением худого желтоватого лица, с огромной черной шевелюрой, летящей вверх. Он был в черном костюме с фиолетовым галстуком на остром кадыке и странным образом был похож на красивую нервную испанку знатного рода, переодетую в мужской костюм. Незнакомец встречал каждого входящего жарким взглядом внимательных черных глаз. Рядом, закинув одну руку за спинку кресла, замер изящный академик Посошков с бантиком на шее. В кабинете робко гремели стулья, приглашенные рассаживались вдоль стен.

– Товарищи, побыстрей, пожалуйста, занимайте места, – бросил Варичев, поглядев на аудиторию вполоборота и как бы с другого берега. – Я пригласил вас, товарищи, чтобы кратко информировать о некоторых делах. – Тут он встал и начал читать с листка: – Наши академики в который раз уже оказались правы, предупреждая научную общественность... Они не только большие ученые в своей области, но и зрелые мужи, знающие жизнь, знающие человека. Обнажая голову перед великой прозорливостью знаменосцев мичуринской биологии. Не они ли предупреждали нас об опасности, которую таят невинная, на первый взгляд, хромосомная теория наследственности, увлечение скромным колхицином, крошечной мушкой-дрозофилой, мутагенами и другими тому подобными «детскими» игрушками. Сегодня мы все можем увидеть, как, продрав бумажку, на которой нарисован вейсманистско-морганистский голубок, высунулось черное орудийное дуло империализма, не брезгающего ничем для того, чтобы подорвать, дискредитировать советскую науку, оплевать достижения наших ученых.

Варичев умолк, строго посмотрел на присутствующих и продолжал:

– Сегодня органами безопасности обезврежена довольно солидная и, надо это признать, хорошо сколоченная группа, главарем которой был замаскированный враг, известный под кличкой Троллейбус. Он был изгнан в свое время из нашего института, но не сложил оружия. В числе задержанных оказались профессор Хейфец, я бы сказал – лжепрофессор, и Блажко, на которую мы в свое время посмотрели сквозь пальцы, переоценив ее хрупкую интеллигентность, – здесь Варичев тяжело поиграл талией, – и недооценив ее потенциальной опасности как убежденной, фанатичной вейсманистки-морганистки. На ней лежала вся техническая работа по организации их тайных сборищ. Полгода назад мы добились определенной победы над вредным менделеевско-моргановским направлением, пустившим было у нас корни. И, надо честно признать это, почтили на лаврах. А руководители названной группы не дремали, они сумели хорошо расставить сети, и в их улове оказались наиболее слабые, нестойкие элементы из числа наших студентов и аспирантов.

Он умолк, выдержал паузу и продолжал ронять из как бы слегка парализованных губ страшные слова:

– Как видите, враг применяет не только фронтальную атаку. Он выбрасывает иногда и десант. Материалы для своей преступной деятельности группа тайно получала из-за рубежа. Деятельность этих сектантов была частью обширного общего плана сил международного импе-

риализма, плана, направленного на подрыв существующей в нашей стране социалистической системы... Сегодня мы можем говорить о них, об их деятельности уже в прошедшем времени. Но это не значит...

Здесь Федор Иванович как бы заснул. Никто не заметил, что он странно глядит перед собой на резную тумбу ректорского стола. Мысли увели его, он растворился во Вселенной, совсем перестал видеть вещи, слышать звуки. Он чувствовал только чью-то незащищенность, которая предстала в виде узких плеч и тонкой шеи, белых, как у нежного семилетнего мальчика, и еще – в виде лапотка, сплетенного из темных кос. Удивленное белое лицо повернулось к нему, испуганные глаза взглянули сквозь большие очки. На Федора Ивановича грустно смотрела правда, к которой никогда не могла пристать никакая человеческая грязь.

Кто-то толкнул его – раз и другой. Он вздрогнул.

– Да-да, простите, я задумался...

– Что вы нам скажете по этому поводу? – любезно прорычал Варичев.

Федор Иванович встал, провел рукой по лицу, приходя в себя, вспоминая все и напряженно конструируя ответственную мысль, которую он должен был сейчас высказать.

– Я полагаю... Да... – произнес он, откашлявшись. И заговорил ясно и четко: – Что я могу сказать... Работа у нас идет строго по плану, согласованному с академиком. Идет с опережением графика и все время контролируется. На моем участке враг не пройдет...

– Он уже прошел! – сказал сидевший рядом с ректором человек с лимонной бледностью в узком лице и с огромной синеватой шевелюрой.

– Да, не кажется ли вам, Федор Иванович? – подхватил ректор, хищно подаваясь вперед. Он боялся своего черноглазого соседа и подталкивал толкового и языкатого руководителя проблемной лаборатории к еще более громким и четким заверениям.

Федор Иванович сразу это понял:

– Нет, Петр Леонидович. Я уверен, что этот участок недостижим. Даже те, кто оказался... Я не знаю полного списка... Во всяком случае, на своем рабочем месте они работали как волы. И работали на нас. Я могу сейчас же провести всех интересующихся по нашей оранжерее, по их рабочим местам. А что они делали за пределами института... Мы даже не уполномочены нашу бдительность... Город велик... Идущему по улице пешеходу в голову ведь не залезешь, трудно...

– Но можно! – сказал незнакомец, облизнув губы.

– Вы полагаете? – Федор Иванович посмотрел на него с прохладным задумчивым интересом. – В конце концов, физики преподнесут нам свой энцефалограф... долгожданный... И тогда мы будем наконец знать, кто что думает...

– Вы серьезно это говорите? – спросил незнакомец.

– Об этом серьезно говорить нельзя. Это моя шутка по поводу ваших серьезных слов насчет того, что можно... Если уж физикам эта штука не дается... Сегодня, пока ученые еще топчутся, запуганные некомпетентными людьми, лучший способ избежать неприятностей, подобных сегодняшней, – это каждому четко работать на своем участке. Кто куда поставлен.

Ректор послал ему осторожно-одобрительную ужимку и с опасливым торжеством метнул мгновенный, почти незаметный взгляд на строгого соседа.

– Интересно! – загорелся тот и даже приподнялся. – На чьей земле мертвое тело найдено, тот и отвечай? Легко хотите отделаться, товарищ... товарищ заведующий проблемной лабораторией. Не где-нибудь, а на нашей, на советской земле произошло данное чепэ. Мы еще поговорим с вами об этом. Все мы, все в ответе за такие чепэ. И без всяких скидок.

– Я и хотел это сказать, – спокойно согласился Федор Иванович. – Отвечать надо вместе. И тем, кто непосредственно ведет работу, то есть нам, и тем, кто наблюдает... осуществляет строгие функции... но видит не все...

Приласкав упрямого заведующего лабораторией ненавидящим взглядом, незнакомец покачал головой, как бы говоря Варичеву: «Ну и кадры у вас», и все в его лице опять остановилось.

Вскоре речи кончились, загремели стулья, на этот раз смелее, и все, оживившись, повалили к выходу. И Федора Ивановича, опять впавшего в оцепенение, толпа потащила за собой.

Надев пальто, он сбежал с крыльца и быстро зашагал по асфальтовой дорожке, торопясь, чтобы никто не помешал его бегству. В парке, одетом в веселый зеленый туман, он набрал скорость и, чуть прихрамывая, побежал по мягкой просыхающей тропе. Позеленевшее поле он перелетел, даже не заметив. Мост чуть слышно простучал под ним. Потянулись дома. Вот и арка. Он перебежал двор, рванул дверь подъезда. Даже про лифт забыл. Но на третьей площадке лестницы что-то его остановило. Тут было окно, оно все играло в веселых майских лучах. Блестящая, словно алмазная, пыль, осевшая на стеклах, добавляла веселья и жизни в эту игру. Эта-то пыль и встревожила Федора Ивановича. Он подошел поближе и увидел: не пылью были покрыты стекла. На них сидели, брызгали, как искры, скакали и сталкивались сотни мушек-дрозофил. На стеклах, играя в майских лучах, погибал тонко подготовленный материал для изучения законов, поддерживающих все формы жизни на Земле. Погибал многолетний труд десятков умнейших людей. Эти мушки, никогда не знавшие, сколь страшна бывает свобода вне стенок пробирки, были выпущены кем-то, может быть, в ту самую минуту, когда Лена торопливо собирала в узелок вещички, чтобы отправиться с незнакомыми людьми в новую, незнакомую жизнь.

Взбежав на площадку четвертого этажа, он сразу увидел две желтые восковые печати на двери сорок седьмой квартиры. Без колебаний потянул за нитку, соединявшую обе печати, разрезал одну из них. Ключ спокойно скрежетнул, замок щелкнул, и дверь открылась. Рой мушек, как поблескивающий дымок, вырвался оттуда и растворился под лестничным потолком. Федор Иванович прежде всего увидел сдвинутый с места темный шкаф с открытыми настежь дверцами. На столе была груда разбитых и целых пробирок, и над ней колебалось большое облако мушек. Он прошел в спальню и увидел два матраца, брошенные один на другой крест-накрест. На полу лежали подушки. Он нечаянно задел ногой малиновую тапочку – подарок Лены. Поднял и сунул в карман. Вторая почему-то лежала около распахнутого шкафа, где жили мушки. Сунул в карман и ее. Пустынная тишина комнаты гнала его на лестницу, и он, подчинившись, поспешно вышел и вынес на себе десятка два мушек, успевших сесть на него.

Сбежав вниз, он отправился не в институт, а ринулся, почти побежал дальше по Советской улице. Обойдя площадь со сквером и Доской почета, он зашагал дальше. Улица здесь уже называлась Заводской. Он долго еще шел, шевеля губами и глядя далеко вперед перед собой, пока не поравнялся с высоким новым зданием тяжеловатой архитектуры, с лепными портиками. «Ул. Заводская, 62», – прочитал он и вошел в подъезд с вывеской, где золотом по черному стеклу было написано: «Бюро пропусков». Здесь, в большой комнате, стояли у стен деревянные скамьи со спинками, на них сидели молчаливые люди. Федор Иванович прошел напрямик к высокой перегородке – она была окрашена, как и стены, масляной краской телесного цвета – и постучал пальцем в одну из четырех дверей, закрывавших окошки с широкими подоконниками. Дверка со стуком распахнулась, Федор Иванович увидел за нею молоденького уверенного солдата в новой фуражке с синим верхом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.